

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Булат
ОКУДЖАВА

Свидание с Бонапартом



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - МЮНХЕН 2004



ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ РОМАНА. МОСКВА. 1985

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА

— Ой! — сказала Дуня. — Сперва они нас, а после мы их... Так и побьем друг дружку?

Из романа

Минует печальное время —
Мы снова обнимем друг друга.

Н. Кукольник

...А между тем погода стояла прекрасная.
Граф Федор Головкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАМЕТКИ

ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В ОТСТАВКЕ
Н. ОПОЧИНИНА, БЫВШЕГО КОМАНДИРА
МОСКОВСКОГО МУШКЕТЕРСКОГО ПОЛКА

...Если Бонапарт будет идти так, а он будет идти так, то через три, от силы четыре недели достигнет порога моего дома. Когда он явится (а миновать Липеньки он не сможет), я буду кормить его обедом в большой зале. Предвкушаю сладость свидания! Вижу недоумевающее лицо гения, когда я, затаенный в парадный мундир, легким движением руки приглашу грозу Европы отведать деревенских яств. Гробовое молчание. Шорох одежд. Позвякивание железок. С верхней галереи звучит музыка.

Покуда будет длиться этот непродолжительный сытный обед, отечество, истекающее кровью, вздохнет что есть мочи, расправит могучие крылья, спохватится; генералы подавят отчаяние; воины крикнут «ура!», и все покатится в обратном направлении.

Пусть я злослов. Представлять бегущих, не успевающих на ходу креститься и на ходу же глубокомысленно рассуждающих о преимуществах поспешного бегства, — как же не злословить?

Лишь с Варварой я кроток и глуп.

Мне пятьдесят пять. Шутка ли? Я мог бы воротиться в свой старый полк и повести его на врага, но есть ли в этом смысл? Как подумаю, что окажусь на холодном биваке со своим геморроем, без теплого клозета, без укропной воды (три раза перед едой по столовой ложке), без припарок... Военной ночью пугать волков в овраге? Кряхтеть и плакать? Или шагать под полковым штандартом с грелкой, прикрученной к брюху? Или жевать редкими зубами интендантскую говядину вместо легкого супчика с рисом и разварной баранинкой? Князь Петр гостил у меня сутки, послушал все это и сказал:

— Какого командира лишается Россия! Да за тобой будет бегать Филимошка с супчиком и горячим самоваром!.. Ну имей с собой, наконец, воз корпии для примочек!

— Нет, — сказал я шутнику, — с меня довольно. Как вспомню пятый год, как шел представляться государю и принимал из его рук Георгия... какое унижение: командир полка, сжигаемый чем? Раной? О нет — острым приступом геморроя!.. Нет, нет, теперь пусть Милорадовичи да вы, Багратионы, исполняют свой долг. Вы молоды, вам и карты в руки.

Слава богу, он умный человек. Он рассмеялся, поводит длинным носом, но спорить не стал.

Кстати, я тоже положил себе за правило не спорить с людьми. С умным спорить нечего, ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей слепоты. А уж с глупцом или с невеждой и подавно: они всегда столь самоуверенны, что вы для них есть ноль. Спорить с ними — напрасная затея, хотя можно пугнуть. Нет, не пулей, не батогами (глупые бьют отменно храбры), а парадоксами. Например, он будет наскокивать на вас и утверждать, пуская пузыри, что ежели всех дворовых нарядить гусарами, то Бонапарт поворотит обратно, или еще какую-нибудь бессмыслицу. Тут я ему и скажу: «Возможно, возможно... Кстати, есть отличное средство от геморроя...» Он остолбенеет, покроется потом и отойдет в раздумье.

Приятное занятие.

Или вот заехал ко мне толстяк Лобанов. Я его спросил, как он думает о Наполеоне, считает ли он его военным гением.

— Он враг, ваш Наполеошка, — сказал Лобанов раздраженно, — вот и все.

— А ведь придет время, — сказал я ему назло, — и очень может быть, что ему памятник поставят...

— Вы, — крикнул он, — занимаетесь пустыми рассуждениями, когда враг у ворот!

— Да господь с вами, какие там ворота? Где вы видите ворота? Вон уж и Витебск пал... Вы что, мои ворота имеете в виду?

Я понимаю, что обидел толстяка. А ведь он, Титус, отставной майор, недавний лейб-гренадер и с меня ростом. А я его обидел. И черт с ним. Мне претит холодный патриотизм, похожий на нарисованный факел. Эти будут рубиться до последнего вздоха, но колеса не изобретут.

Кстати, один безумец изобрел карету, способную передвигаться с помощью пара. На том месте, где стоит мой форейтор, то есть на запятках, прикреплен железный котел, под которым устроена железная же печь. Вы заливаете в котел воду, кидаете в печь поленья... Вода кипит, пар ищет выхода... С этой целью устроено отверстие, куда пар устремляется с силой, толкает что-то, а то, в свою очередь, толкает другое, и колеса начинают вертеться, и карета движется!.. Конечно, время от времени нужно доливать воду, подбрасывать дрова, но ведь и лошадь нужно поить и кормить... В общем, забавно. Забавно и чрезвычайно глупо, если представить себе, что лошадей уморили, а вместо их приспособили такие колымаги, и вот, представьте, я, генерал, выезжаю перед полком на таком чудовище, шашку вон и... «За мной, братцы!..» Или, например, к Зимнему дворцу съезжаются гости, все уставлено паровыми каретами, дым и пар объяли все вокруг, трещат поленья, кучера в ожидании господ пилят дрова!.. И все-таки какая-то острота ума сквозит во всем этом.

Я люблю шарлатанов. Они незаурядны. Они даже гении, только их гений направлен не на созидание...

Князь Петр так легко примирился с моим отказом! Так любовно обнимал меня, прижимал к сердцу, однако не возражал против моего отказа воротиться в полк... Обидно? Или он имел в виду мою деревянную ногу? Третьего дня я прошел семнадцать верст маршем. Так-то, петербургские красавцы!

Жизнь моя прошла, князь Петр. Я не в обиде... Остается не пожалеть усилий на последний обед. Таких обедов не знала Россия. Тимоша замирает, ровно барышня. Черноглаз, несдержан, насмешлив, но добр, ну вылитая его мамочка. Кого я еще так люблю на свете? Я

и ее любил, его мамочку, красавицу, каких не бывает... Да вот Харон взмахнул веслом и Тимошу оставил сиротой, а меня лишил племянницы. Справедливо ли? Юноша в шестнадцать лет, рожденный для великих дел, единственный мой друг с мудрой книгой и неискушенных руках. «Скажи-ка, дядя, — говорит он мне, — чем можно обворожить красивую, неумную, холодную, как камень, при виде которой я лишаюсь речи?» — «Это хорошо, Титус, — говорю ему, — если ты лишаешься речи. Хуже, Титус, ежели она лишится головы». — «Но почему же?» — притворяется он дурачком. «Меня, Титус, волнуют твои будущие раскаяния. Ты юноша совестливый...» И мы смеемся.

Барышня эта проклятая — это Арина из девичьей. Красивая, двадцатидвухлетняя, зашедшая, надменная... А ему-то шестнадцать! Да откуда эта надменность? Не от моих ли щедрот и попустительств? Да и вообще, все они не из теплых рук Сонечки, Тимошиной мамочки, выпорхнули? Она им книжки читала!.. Да, но, во-первых, Титус, она для тебя стара, мой друг, она тебе не пара, я уж не говорю, во-вторых, что она из девичьей... Сомнительные предостережения. Будто бы мальчик намерен устроить с нею свою жизнь или что-то там иное, высокопарное... Если уж начистоту, она и со мной надменна.

Я все продумал. Мои люди лазутчиками разосланы по четырем уездам. Их легкие неузнаваемые тени колеблются среди губернских лесов, под мостами, на колокольнях и в толпах, бегущих прочь от нашествия, и в толпах, встречающих великую армию в молчании. Я не пожалел им ни лошадей, ни денег, и они, вымуштрованные у меня в людской, живописуют каждый шаг Бонапартовой армады. Да и мы здесь, в Липеньках, стараемся по мере сил не ударить лицом в грязь. И все музыканты моего оркестра, и все повара с моей кухни, и псе лакеи, и всё, и все чистят перышки треножными клювами и прихорашиваются. Я знаю моих людей, они верны и надежны. Соседи синеют от любопытства. Вся Россия осуждает меня!

Откуда в тебе эти неблагородные порывы, спрашиваю сам себя и сам себе отвечаю: разве? Это ли не благородство — приветить усталых гениев, преклоняясь перед их батальным искусством, ввести соперников в свой дом, шутить на их родном языке, не пожалеть всех свечей и в ярком их свете глядеть прославленным врагам в глаза и видеть, как они недоумевают при виде сего загадочного карнавала? Это ли не благородство — посадить великого учителя на самое почетное место и изысканным жестом пригласить и остальных занять подобающие их славе места? И лучшая музыка, лучшие блюда и все последние сорок бутылок «Клико» с привкусом их собственной обезумевшей страны! Это ли не благородство — сдерживая дрожь в пальцах, чтобы не расплескать божественного напитка, выдавить из себя в наступившей тишине слова признания за восхитительные уроки? Эта честь, как никому другому, принадлежит мне, ибо деревянная нога дана мне вместо живой и настоящей, потерянной мною в честном бою под Сокольницким замком на льду Зачанского пруда, когда мы бежали, запоминая, запоминая и восхищаясь, топча чужие пространства... Что же до остального, то это уже вне моей воли. Тут некие высшие загадочные силы владеют мной и определяют мои поступки.

Арина оденется в господское. Пусть украшает стол.

Когда первая мысль об этом обеде блеснула в моей голове и я высказал ее, смеясь и кривляясь, никто не осудил меня, воскликнув: «Как же, будет император Франции сидеть за вашим овальным столом!» А почему бы, черт подери, ему и не посидеть? Почему, если наш российский император мог как ни в чем не бывало ночевать на соломе в простой крестьянской избе на берегу изумрудного Гольдбаха?

Отступление после Аустерлица было не менее драматично, чем и всякие боевые неувязки перед тем. Хотя, Бог свидетель, мы были неплохими учениками. Император Александр находился при четвертой колонне до самого ее поражения. Когда войско побежало, он с трудом перебрался через болотистый ручей. На смертельно бледном его лице лежала печать тяжкой грусти. Во мрак крошечный тянулась наша армия под проливным дождем. В полночь император достиг селения Годьежиц. Оно было переполнено, как это и водится, ранеными, обозами и бродягами. Он искал Кутузова, посылал за ним кого только можно было, и только Чернышеву

удалось отыскать командующего. Не успели император и Кутузов переговорить, как выяснилось, что надо срочно покидать Годьежиц. А где коляска? Искали императорскую коляску, да не нашли. Пришлось императору отправиться в Чейч верхом. Однако, не проехав и семи верст, почувствовал себя совсем дурно. Хворь, привязавшаяся накануне, усилилась. Конечно, тут все навалилось одно к другому: и поражение, и дурная погода, и неопределенность. В это время и подвернулась деревенька Уржиц. В пустой крестьянской избе ничего не было, кроме вороха соломы. Делать было нечего, императора уложили на этот ворох, и он был почти что счастлив, если бы не болезнь и смятение. Тогда дали ему ромашки и тридцать капель опиума. И он уснул. Затем начались бивачные фантазмагии. Лейб-медик Виллие распорядился достать бутылку хорошего вина, чтобы, едва император проснется, дать ему отхлебнуть для подкрепления сил. Что же делать? Лазили по колено в грязи по всему Уржицу — ни вина, ни черта, ни дьявола. И вдруг, уже в полном отчаянии, натываются на дом местного священника, грохочут в дверь чем только можно, выскакивают люди в австрийской форме, и выясняется, что в доме остановился сам император Франц — такой же беглец. Ах, раз так, то тем более: ваш разгромленный монарх — нашему разгромленному монарху, союзник — союзнику одну бутылочку для восстановления утраченных сил... Заспанный обер-гофмаршал Ламберти категорически отказал, ибо у него самого почти не осталось вина для подкрепления сил австрийского императора. Слава богу, подвернулся венгерский офицер, отбившийся от своего войска, который, узнав о нашей нужде, с охотой продал бутылку драгоценного вина. И уже на следующий день оправившийся Александр Павлович въехал в Чейч...

Въехал в Чейч... Нынче, пожалуй, некогда предаваться воспоминаниям. «Скажи-ка, дядя, — говорит Тимоша, — ты очень огорчен, что не можешь сразиться с Бонапартом?» — «Что ты, Титус, что ты... Я бил Наполеона под Диренштейном, он бил меня под Тельницем, я преследовал его у Блазовица, а затем бежал от него в обратном направлении. Где-то там оставлена моя нога, и женщина, которую я любил, отвергла меня — ей не нужен был герой на деревянной ноге...» Так я говорю Тимоше, смешно выпячивая грудь и маршируя по старому скрипучему паркету. Все бrenно. «А не отворотилась ли она от тебя, дядя, — говорит Тимоша безжалостно, — потому, что ты бежал в обратном направлении от Блазовица?» — «Да я бы наплевал, друг мой, на эту ногу и на эту даму, — говорю я, — но жизнь, как выяснилось в процессе моего бегства, слишком коротка, чтобы можно было с легким сердцем презирать утраты». — «А меня ты благословляешь идти в полк?» — спрашивает он выжидательно. «Если задуманный мною обед пройдет удачно, надобность в твоей службе отпадет», — смеюсь я, и он краснеет. «Почему же?!» — почти кричит он, в который раз недоумевая. «Не спрашивай, друг мой! — кричу я. — Есть вещи, о которых не говорят!» — «Ах, дядя, — говорит он тихо, — злодей ты или насмешник?»

Какие у него при этом большие черные глаза, переполненные опочининской тоской! И какие у него при этом насмешливые губы. Я вижу себя молодым. У нас, у Опочининых, в душах всегда бушевало два потока, причудливо сливаясь в конце концов: здравый смысл и сумасбродство или как там еще?.. Вооруженные здравым смыслом, мы старательно и благонаравно исполняли обременительные прихоти природы, покуда не становились отвратительными самим себе и черные наши глаза переполнялись тоской, пугая окружающих.

Сонечка любила майора Игнатьева без памяти. Оба были молоды и прекрасны. И я его любил. Это был молчаливый, задумчивый гигант. Сонечку носил на руках. Она его боготворила. Натурально, злословие шло за ними по пятам. Мужчины злословили, потому что не им досталась эта обворожительная молодая дама, женщины — потому что они обычно впадают в сильное расстройство чувств при виде успехов своих соплеменниц. Маленький Тимоша украшал эту пару. Погода была восхитительна. В каждом письме Сонечка писала мне, что и дня разлуки со своим мужем не выдержит. Он мне говорил срывающимся шепотом, что это Бог соединил их в самом деле и в истории не было тесней союза, ну, может быть, там какие-нибудь Ромео и Джульетта, так ведь они придуманные. В один прекрасный день она явилась

под мой кров с восьмилетним Тимошей. Объяснить ничего не могла. В черных глазах стояла знакомая тоска. Губы насмешливо дрожали. «Ну успокойся, Сонечка, — сказал я, — ежели он чист перед тобой и ты чиста перед ним, значит, все будет хорошо. Это молодость в тебе забушевала...» — «Ничего себе молодость, — сказала она, — опомнись, дядя, мне двадцать шесть, я уже старуха!» Игнатъев сходил с ума. Она потихонечку сохла, но ни в какую... «Да я счастлива, счастлива, — смеялась она, — отцепись от меня, я счастлива, что достало сил... Тебе не понять...» Через год Бонапарт наградил меня деревянной ногой, а Игнатъева в тот же день — вечным покоем. Сонечка сохла, сохла, и мы с Тимошей остались вдвоем.

Скажите пожалуйста, какая загадочная история! Что там в ней, в Сонечке, бушевало, сушило ее, бегущую с черноглазым сыночком по российским равнинам? Мои любезные соседи теряли покой, доискиваясь причин... Дурачье из глухомани! Кто мог раскрыть им эти причины, когда мне и самому не удалось оживить огня, хоть я и сжимал в руках угасающую свечечку. Кинулся я было по следам в ту недавнюю пору, когда Сонечка была еще сильна и счастлива и любила, начал распутывать эту ускользающую серую ниточку ее жизни. Распутывал, распутывал, хромал, хромал, дохромал до момента, как она метнулась прочь от покоя, от благоустроенности, и все затерялось в дымке. Одна неясность. Помню только полные тоски глаза ее покинутого майора, и это словно картина, висящая передо мной: утренний туман, он на коне, лицо неживое, пепельное (мы все из пепла...), его батальон тает в тумане, австрийская мельница отрывается от земли подобно журавлю, незримая, меж нами хлопочет Сонечка. «Тимоша прислал мне картинку, — говорит майор Игнатъев отрешенно, — заяц, похожий на собаку...» И он скачет за батальоном мимо улетающей мельницы, гордо покачивая султаном, а я знаю, что он плачет.

Так я и не распутал этого узелка, как не распутал и другого, того, давнего, завязанного Сашей Опочининым, отцом Сонечки, ибо мой старший брат канул в Лету, покинув наиболее лучшее свое гнездо, как был, в неизменном шелковом стеганом халате, не иссушенный долгами, не в преддверии разорения, а просто выстрелил из пистолета себе в улыбающееся круглое лицо.

Я примчался из Липенек, гнал, почти не останавливаясь, не верилось.

Сонечка приехала из своего молодого дома, из-под Боровска, отдать последний поклон несчастному отцу. Она стояла рядом со мной, измученная дорогой, с искаженным лицом, и потрескавшимися губами шептала молитвы. Тимоша созрел в ее лоне, вот-вот ей разрешиться от бремени, а тут такое несчастье! По завещанию Сашино имение переходило к ней, но ее это будто и не касалось. Я взял дела в свои руки.

В то время я был еще о двух ногах, и голова была посвежей, и сердце жестче. Не рыдал, не воздевал рук к небу. Умылся холодной водой, вышел на крыльцо его бывшего дома. Бывшая дворня сбежалась поглядеть на грозного генерала (неужто я казался грозным?). «Вы все теперь свободны, — сказал я, — покойный мой брат в завещании всем вам вольную дал... Молитесь за него...» Они заплакали. Душа Сашина, я уверен, витала над нами, не в силах расстаться. Я поворотился и пошел в пустой дом, а плач следовал за мною. К Богу ли они зывали, к природе ли, брата ли моего оплакивали, себя ли самих, беспомощное человечье стадо, выгнанное за ворота, в просторы? Уже разошлись они, вечер наступил, а стенания их все не затихали, отражаясь от зеркал, затянутых черным крепом, расплескиваясь меж книжных полок... Вот вам и книги! Что дают они нам, кроме неясного томления, кроме страдания, кроме ожесточенного несогласия с окружающим миром? Покуда он собирал их, гладил их корешки, вчитывался в туманные призывы, они опутывали его душу слабостью и недоумением, вливали в него чужую боль и чужие обиды; они утончали руки и заворачивали кровь. Добро в них торжествовало над злом, Бог — над дьяволом; голос правды и сладостная дружба исходили от их страниц, и Саша погружался в это и, трясаясь от страсти, шуршал страницами, словно мышью в сухарях. «О! — восклицал он шепотом. — О!»

Я любил барабан, дождь на биваке, запах солдатского стада, водку с моченым горохом и ужас на лице врага. «Да чем же он враг?» — лениво щурился Саша. «А всем, — говорил я, — когда ты видишь его искаженное злобой лицо и слышишь его тарабарщину...»

В богатом экипаже, исполненном по его фантазии, он отправился в Европу, задернув на окнах плотные занавески, покуда не скрылась с глаз Варшава. Я вышагивал марши по италийским склонам, покрикивая на солдат, а он медленно и любовно ел голландские сыры, запивал их светлым пивом в Динкельсбюле, горным воздухом в Тироле; сдабривал все это беседами с философами, и его улыбающееся круглое лицо маячило там и сям на европейских пространствах, вызывая восторженное недоумение умытой толпы. Он ездил, тоскуя по России, по своим книгам в своей ярославской, и все это, чтобы, воротившись, пройтись по скотному двору, затыкая нос кружевным платочком. «Так ведь скотный двор — он и есть скотный двор, — наставлял я блудного сына. — Или в Голландии скотных дворов не бывает?» — «Да вони-то нет, Николаша», — говорил он. Будто коровы голландские не пекли своих блинов, а прусские тяжеловозы не усыпали шарами конюшен, попукивая от усердия. «Да вони-то нет, Николаша...» Впрочем, когда я вышагивал по Европе, я слышал лишь запах пороха.

Шелест книжных страниц казался ему шелестом ангельских крыльев, но ангелы разжигали в нем тоскливые страсти и напрасные фантазии, по прихоти которых кудрявились кусты роз в громадном парке и возникали китайские домики, в которых не звучали человеческие голоса, витиеватые мостики над прудом уныло поскрипывали, и бесполезные гондолы догнивали в прибрежных лилиях, а по дорожкам, усыпанным золотым песком, испуганно топтались дворовые, наряженные его капризом в чистые рубахи, и украдкой сморкались в кружевные рукава. Господи, это при его уме и добром-то сердце! А он читал свои книги, с самим собой делаясь и одиноко вздрагивая, словно каждая страница была ему укором, выглядывал в окно, обозревал знакомые пространства и плакал...

И я глядел в эти окна, надеясь влезть в его шкуру варяжского отпрыска, скорбящего при виде унылых рож истинных вятчей, топчущих золотые дорожки. Затем я садился за его письменный стол и перечитывал его завещание, написанное послушным пером.

«...Все окружающее меня в России вызывает ужас и боль. Эта боль привела меня к сему решению. Только книги — мои милые друзья — поддерживали во мне напрасное пламя, но нынче и они бессильны.

Прошу покорно моих наследников отпустить крестьян моих на волю, а книги предать огню, ибо в здешних краях они никому не надобны...»

Так он писал, и я должен был утешить покойного брата. Я предал огню его лукавых друзей, но, Бог свидетель, не вынес их стонов. До сих пор не могу понять, почему я одни из них с ожесточением швырял в жадное пламя, а другие утаивал от него. Спасенные от гибели молчали... И вот я наконец покинул сей скорбный уголок, и за мной потянулись по ухабам возы, груженные уцелевшими виновниками (так я считал) гибели старшего Опочинина. Молчаливые, затаившиеся, все в благородных одеждах, гордые собственной правдивостью разрушители покоя, они вошли в мой дом и тихо разместились вокруг, заманчиво посверкивая корешками, покуда к ним не протянулась тонкая цепкая загадочная ручка Тимоши.

Так погибали Опочинины, вызывая у соплеменников не жалость, а лишь подозрение и ужас...

Впрочем, что это все нынче в сравнении с кровавой прогулкой, затеянной Бонапартом?..

Корсиканский гений шагает по августовской России, не разуваясь, не снимая треуголки, в напрасном ожидании битвы. На фоне пылающего Смоленска, издалека видная, колеблется его громадная тень. Император Александр нервничает в Петербурге, поджимая обиженные губы и негодуя на своих полководцев. Горячий Багратион интригует против осторожного Барклая, Тимоша бьет по щекам липеньского старосту, распорядившегося высечь мужика перед лицом гибели отечества. Я приготавливаю нечто в надежде разом облагородить искаженный

лик истории. Главное заключается в том, чтобы ни одна душа не заподозрила моих истинных намерений. Туманные опочининские страсти не по мне, хотя кто знает, чья властная рука ведет меня и направляет, чей голос, подобный музыке, возбуждает мне сердце?

Мой бедный брат, отчаявшийся и не увидевший вокруг ни одного виновника, кроме себя самого!

Когда обед достигнет апофеоза и все слова будут сказаны, я совершу предназначенное, подожгу фитиль, а сам затрясусь в бричке по калужским ухабам. Счастливая судьба... А ежели оставить бричку гнить на том самом месте, а самому — с гостями?.. Это же не больно — больно живым.

И вот белые губы молвы разносят, что лазутчики Багратиона спасли Россию в тот самый момент, когда старый безумец Опочинин потчевал Бонапарта обедом и расточал хвалу французам?

Князь Петр решит, что это лазутчики Барклая, Барклай же припишет всё ловкости Дохтурова, Бенигсен доложит государю и присовокупит, что это выглядит как кара Господня, ибо старый безумец Опочинин в этот момент кормил и поил узурпаторов и расточал им дифирамбы...

Чем больше размышляешь об сем предмете, тем больше лазеек открывается для тебя... Так ведь жить хочется... А хочется ли?

Возы с крестьянским добром уходят в мою рязанскую, и люди уходят следом. Когда закончится обед, почти все дворовые в моих экипажах будут за пределами губернии. Представляю себе, как будут выглядеть мои дрезденские дормезы, набитые девками, мои калужские брички, переполненные поварами и стряпухами, мои эдинбургские коляски на мягком ходу с кучерами в господских цилиндрах!.. Лакеи же останутся со мной. Я сам причащу и приуготовлю их к райским радостям, ибо ливрейные фраки на них — это лишь так, оболочка, а суть их — солдатская, жертвенная. О, как я боюсь совершить что-нибудь такое, что могло бы помешать исполнению моего замысла. Трепещу, ужасаюсь, холодею при одной только мысли, что неловкий шаг, не вовремя сказанное слово все переверотят и все, все, все пойдет насмарку.

А я?.. Прошагал семнадцать верст, чтобы взглянуть на Варвару и еще раз ожечься о холодное синее пламя ее глаз. «Куда ты все ходишь, дядя?» — спрашивает Тимоша. «Видишь ли, друг мой...» — и несую всякую околесницу... Жить хочется, мучиться...

Гибель зла — разве она не есть спасение добра? Все, что есть в этом доме, должно служить этой идее. Музыка, свет, слова, стенания, и проклятия, и восторженные славословия, и молитвы благодарности, и лицемерие Страшного суда — все должно слиться в единую страстную бурю, которая исцелит род людской от счастливой слепоты, от наслаждения страданием, ибо не это истинный его удел. Не убийство, не гордую месть, а спасение — вот что вижу я и к чему стремлюсь. И тут я, может быть, поднимаю руку на высшие силы, замахиваюсь на само Провидение... Но представьте себе, что откроется нам, когда опадет пепел и птицы запоют вновь.

Я вдоволь пострелял на своем веку и вдоволь поблаженствовал, слыша победные трубы, и я вдоволь позадыхался, спасаясь бегством от преследователей, и наплакался при виде хладных тел вчера еще живых, но и вдоволь позлословил над плачущими. И всякий раз я казался себе самому и правым, и справедливым, и столь же несчастным... А нынче один пронзительный вскрик божественного шалюмо, и тотчас в зеркале передо мною — хромое чудовище ростом под потолок, с благородным круглым мужественным лицом, истоптавшее на своем веку столько чужих земель! О, чужие земли, я топтал их с солдатским тщанием, и синие глаза императрицы Екатерины, и серые императора Павла Петровича, и голубые ныне здравствующего Александра с благосклонностью отмечали мое усердие сквозь пороховые туманы... Се милое отечество благодарит меня...

«А знаешь, дядя, — говорит Тимоша, — я ускачу в Москву, не дожидаясь, покуда Бонапарт похвалит тебя за разварную стерлядь». — «Не торопись, Титус, презирать меня за старческие капризы, — говорю я, — я еще не настолько стар, чтобы не уметь наслаждаться хорошим обедом и видом довольных гостей, но и не настолько уж молод, чтобы не испытывать боли, озираясь на собственную былую слепоту. Знаешь, Титус, там, в одной из чужих земель, сгибаясь под лаврами победителя, я влюбился в одну молодую особу. Она была дочерью плененного нами бригадира, но это не настраивало ее и ее окружающих на укоризны по отношению ко мне. Война, друг мой. Я поселился в их доме и ежедневно был зван к столу. Кормили меня превосходно. Со дня на день воздух в доме теплел. Я рассказывал о России, о Липеньках, они всплескивали руками, и наконец в один прекрасный день я намекнул ей, глупо улыбаясь, что она могла бы стать в недалеком будущем хозяйкой моего дома. (Тогда еще не было Варвары.) Она, представь себе, была столь хороша собой, что это ее не удивило, видимо, достаточное количество отменных прощелыг уже пощелкало пред нею напрасными шпорами, и даже один поэт был среди них, что мне известно. И вот, когда мы стояли над замершим прудом, где лилии гордо выставили белые свои головки, и я, трепеща от сладкого предчувствия, простирал к ней молодые генеральские ладони, она спросила меня, не опуская глаз, совсем еще юная, благовоспитанная, пахнувшая булочками с изюмом. “На каком же языке, — спросила она, — я буду изъясняться с вашими рабами, герр Опочинин?” Я оторопел, Титус, смешался, так это было сказано просто и по-деловому... Ах уж эта прусская черствость, подумал я тогда с тоской... На каком языке... на каком языке... Да покажи ему кулак, и он перекувыркнется от усердия. “Ну, на первых порах жестами, — выдавил я, — жесты они поймут, а уж потом...” Она улыбнулась очень дружелюбно и немного снисходительно и позволила мне, как мальчику, руку у ней поцеловать... Уже впоследствии я вспоминал ее лицо и это “изъясняться с вашими рабами...”. Да это же не рабы, дура, это мои люди, мои! Я вырос среди них, я вхожу в людскую, мне все знакомо: их запахи, их шутки, как они руку мою хватают для поцелуя, как они песни поют, как мы ходим по грибы, по ягоды... Семья! Это у вас, у прусских дураков, каждый сам по себе, а мы вместе спокон веку!

Вот что бушевало во мне тогда. Я был унижен.

Представляешь, Титус, когда я вернулся, и первый нестройный хор в мою честь отгремел, и я взглянул в их чужие лица... “А одна ли у нас кровь?” — подумал я, и пробитое пулей лицо Саши Опочинина возникло передо мною... И та прусская красотка не казалась уже душой...»

Титус при этом краснеет, как Сонечка, мамочка его, краснела.

...Музыка, свет, слова, ароматы...

Список главных инструментов моего оркестра, которым надлежит наиболее торжественнейшим образом выразить всю мою боль, мое восхищение, ужас и гордость по случаю пребывания в моем доме гениев войны.

1. Два шалюмо из грубой груши, в которых заключена хрупкая детская душа. Они отполированы не мастерами, а шершавыми ладонями альпийских пастухов. Эти старинные гости были найдены мною в доме, разрушенном нашей артиллерией. В темном углу, припорошенные известковой пылью, они лежали молча, прижавшись друг к другу, уже без надежды на спасение. Я привез их в Липеньки, передал Федьке, и Федька вернул их к жизни, и однажды они зазвучали. Трудно передать, что заключено в их тихом стоне. Они как две сестры, но у одной голосок чуть потоньше. Кротость и умиротворение бесхитростные, как голоса неведомых птиц, которые могут лишь сниться. Ухо, привыкшее к грохоту побоища, должно насторожиться, душа обмякнуть, грубые руки безвольно повиснуть вдоль тела. О шалюмо, ты божество само!..

2. Охотничий рог (Waldhorn) — медная улитка, доведенная до совершенства неизвестными мастерами. От первоначальных форм остался лишь силуэт. Улитка скручивалась, скручивалась, возбуждаемая предчувствием гона, и из медного горла выкрикивала хриплые призывы и пожелания счастливой охоты. Гордая дичь платила и платит кровью за наслаждение этой музыкою, как платим и мы, когда за нами идет охота, как наслаждаемся, сами охотясь за врагом. Полагаю, что звуки сего инструмента более чем уместны среди прочих звуков в оркестре, предназначенном для придуманных мною торжеств. О охота, охота от чистого сердца, от щедрой души, истомленной сомнением в собственной праведности!

3. Барабан — самый старинный из инструментов. Кожа трехгодовалого быка, а еще лучше буйвола, натянутая на липовую колоду, приобретает загадочные свойства: под ударами колотушки она оживает и произносит то глухое «ах!», будто душа, подвергнутая страданию, а то звонкое «баммм!», приглашающее вас к движению в распахнутые ворота. Когда же в руках барабанщика просыпаются кленовые палочки, тогда рассыпается гороховая дробь, знаменующая либо начало атаки, либо казни, либо счастливой пляски. Да вот в чем штука: свойство этой дроби таково, что если она к пляске, то пляска кажется вечной, если к атаке, то атака — успешной, а уж ежели к плахе, то к неотвратимой. Искусство барабанщика в том и состоит, чтобы понять, как ударить дробь, к чему она более всего ныне надобна...

...Аришу возьму с собой в бричку. Накину ей на гордые плечи Сонечкину шубку, чтобы унять лихорадку ужаса... и покатым... Значит, ничтожный старикашка ковыляет к бричке, обливаясь потом, злодей, а за ним безгласная Ариша, словно тень убийцы, в господской шубке на плечах?.. Значит, я крадусь, как вор, в надежде услышать тот фейерверк отменный... Ах, генерал, какой нелепый вздор рождается в твоей башке военной!..

Однажды в моем доме возникла незнакомая фигура. Я остановился. Спрашиваю: «Ты кто?» Говорит почтительно: «Андрей Лыков». Я расхохотался, глядя на его лакейские доспехи. «Ты лакей?» — «Так точно, ваше превосходительство, — говорит он, — лакей». — «А ты говоришь — Лыков, — смеюсь я, чтобы он не очень робел, — лакей, а ты говоришь — Лыков...» — «Так точно, лакей», — говорит он и сам смеется. Дорогой Титус, с тех пор я его иначе не называю как Лыковым. Другим говорю: «Ванька, подай, Сенька, ступай». А ему: «Лыков, поди сюда, принеси то, зажги огонь, Лыков!» И он зажигает, и движется как лакей, и смотрит по-лакейски, и я не вижу в его взгляде тоски по Бонапартовым посулам о воле. Конечно, Бонапарт — гений. Он гений войны и политики. Устоит ли Лыков?

4. Литавры делаются из американской меди. Эта красная медь с голубоватым отливом хороша для восклицаний. Однако нельзя не упомянуть телячьей, а еще лучше ослиной кожи, хорошо выделанной, туго натянутой на медный котел. Звучит редко, да метко. Особенно в апофеозе. Мы медленно живем и незаметно, покуда не накапливается в нас постепенно сухой, огнеопасный порох прожитых дней, чтобы внезапно всплеснуться синим пламенем и грянуть и возвестить, что вот оно, наконец свершилось то, ради чего все и накапливалось. В сей момент литавры незаменимы, как, впрочем, и тогда, когда необъяснимая тревога задолго до родимого порога вдруг вспыхнет, как апрельская вода... Да что же с нами будет, господа?..

5. Флейта-пикколо. Когда внезапно обрывается густое и плавное течение звуков в оркестре, тогда в паузе возникает ее свист, холодный, упрямый, презрительный, резкий и столь требовательный, что люди кидаются друг к другу, но не за теплом, не с любовью, а чтобы, соблюдая строй, фронт и ранжир, маршировать, выставив хищные подбородки и заострив жестокие лица, стараясь быть похожими один на другого... Странно, маленькая палочка из черешневой ветки, прижавшись к бледным сухим губам флейтиста, превращает нас, теплых, ленивых, сентиментальных, в аккуратные шеренги бездумных чертей, марширующих на железных ногах к ранней гибели, к напрасной славе, к поздним сожалениям. Под сей свист не спляшешь, не поплачешь о ближнем, не улыбнешься любимой женщине.

Дорогой Титус, когда ты прочтешь эти бестолковые записки, меня уже не будет рядом с тобой. Но ты вспомни меня и пойми. И это, наверное, согреет меня там. Когда я дохромаю до святых врат, кто знает, как меня встретят. Я бы лично ни пред кем, кроме Сонечки, их не распахнул. Всю жизнь грешим, грешим, наперед зная, что придет час и отстучим лбом прощение. Как это нехорошо! Все притворщики и лицемеры — живые, двуногие, любимые мною мои братья.

6. Иное дело полная флейта. Тоже ведь из выдержанной черешни или из гренадилового дерева, тоже на клею из оленьих рогов, а подите ж, какое наслаждение, какое опьянение, какая густая чистая кровь! Прислушайся, корсиканец, вслушайся, поникни челом. Ежели литавры в твою честь, то флейты глас — в мучительное раскаяние.

Кстати, Титус, мамочка твоя не просто отказалась от отцовского наследства, а продала это проклятое ярославское с облегченным вздохом со всеми трудами — скорей, скорей, за гроши — какому-то петербургскому выскочке в зеленом фраке с низкой талией и светлых панталонах, каких еще не то что не носили, а и видели-то впервые. Выскочка по фамилии Пряхин был полноват, хохотун с блеклыми северными глазами; потирая ручки, велел выдать дворовым, пожелавшим остаться, по чарке, девок хлопал по заду и хохотал, хохотал и сам выпил предостаточно. Пряхин...

Так как я занимался всем этим, мне пришлось переночевать в последний раз в чужом теперь доме, а утром, уже сев в бричку, увидел, как с крыльца кинулся ко мне новый владелец. Будто и не пил, был свеж, благоуханен, но грустен, даже мрачен. Какая перемена!

Он сказал медленно, с расстановкой, без вчерашних улыбок:

— Весьма сочувствую вам и понимаю. Вчерашний карнавал — произвольная дань легкому безумию, которому меня подвергли обстоятельства. Покорнейше прошу простить меня...

Мы распрощались дружески, тем более что он успел познакомить меня со своими невероятными обстоятельствами, что вызвало во мне к нему даже симпатию.

Представь себе безвестного обедневшего дворянина, у которого, как это всегда бывает, множество детей и большая жена. Связей нет. Служба не получилась. Господский дом — изба. Две лошади, коровенка да три человека в собственности. Родственников никого, кроме бездетной тетки, родной сестры его матери, тоже из рода Киселевых. Тетка богата, живет в собственном доме в Петербурге, племянника знать не желает. А он гордый. Сам свою землю пашет, сам сеет, сам убирает... И вот уже приближается старость, а средств нет, и детей пристроить не удастся. В один прекрасный день умирает суровая тетка, и из завещания выясняется, что он стал обладателем двухсот тысяч! Почему так получилось, понять не мог и немного обезумел. Слава богу, что был он не мот, цену деньгам знал и на пустяки не потратил. До меня доходили слухи, что он процветает. Дай ему Бог всяческих удач. Пряхин...

7. Гобой из старинного шалмея или из восточной зурны. Облагорожен веками, склеен из тукового дерева с двумя тростниковыми чуткими язычками. В нем заключена камышовая трость, проходя сквозь которую воздух приобретает силу и выразительность. Одинокий гобой — не воин, звук этого одиночки даже неприятен. Гобои хороши в компании себе подобных, в хоре собратьев. Тогда их вскрик пронзает сердце счастливой болью, и мысли одна другой слаще посещают вас, хотя какая-то безнадежность все-таки горчит в этой сладости и усугубляет необъяснимое беспокойство.

8. Фагот длинен, как посох странника, и изогнут подобно курительной трубке. Звук низкий, непререкаемый, по-стариковски гнусоватый. О чем он бормочет, сказать трудно. Неудовольствие и даже отвращение слышатся в нем. Он все прошел и все повидал. Крикуны,

которыми он окружен в оркестре, пока еще переполненные самодовольством, раздражают его и унижают. Он знает, что все завершается: империи гибнут, благородные порывы угасают, ослепительные надежды превращаются в фарс, великие замыслы — в кучу навоза; от царей остаются гробницы, победителя ждет возмездие... Пусть гении побед, восседающие за моим столом, услышат этот звук, и пусть бледность покроет их закаленные лица...

Толстяк Лобанов, мой сосед, явился под вечер с выпученными глазами.

— Я знаю, что вы преклоняетесь перед Бонапартом, — сказал он, задыхаясь, — он для вас гений и прочая чертовщина... Для меня же он враг, узурпатор, возмутитель наших устоев. Он топчет нашу святую землю и сеет смерть... и бунт!

— Позвольте, сударь вы мой, — сказал я, не желая с ним единоборствовать, — война протекает в соответствии с достижениями в батальном искусстве. Взятие Смоленска — совершенство...

— А мне-то что за дело до военных совершенств! — крикнул он и заплакал и смуглым кулаком смахнул слезу. — Он посулил моим людям вольную, они открыто говорят об этом... Это что?.. Мы уезжаем в Кострому. Куда? Зачем?.. Я просил в губернии взвод улан, по крайней мере для защиты, для ограждения... они там смеются: какой, мол, взвод улан... Какой?! — крикнул он. — А знаете, как у моей свойственницы под Витебском, едва она уехала, как у нее все понесли из дому? Кто? Ее же люди. Все понесли, все... Тут набежали и наши солдатики, может быть и те самые уланы, и вместе, всем миром, понесли ложки, вилки, зеркала, кресла, фарфор и фраки... Фраки-то им зачем? Не ваш ли гений в том повинен? — Он вновь заплакал. — А уж потом пришли французы, в пустом прекрасном ампирном доме переспали на соломе, насрали по углам и отправились дальше по всем правилам батального, как вы говорите...

— Милостивый государь, — сказал я утешительно, — а помните в Ломбардии райскую долину и майскую голубизну на свежих виноградных листочках?

— Ах, да помню, помню, — всхлипнул он.

— Какой вы были молодой и статный и как украшал вашу голову лейб-гвардейский нимб! (Он вспыхнул, как дитя, и лицо его стало вдохновенным и даже прекрасным.) И как мы с вами, одуревшие от итальянского солнца, краснокожие и непреклонные, гнали французов по виноградникам итальянцев, чтобы воротить австрийцам их владения! Вот была охота! (Он вскинул голову и скромно улыбнулся.) Теперь же, милостивый государь, почему бы не поверить, что возмездие настигло нас среди наших нив и пашен?

Он вскочил. Лицо его пылало. Прежний нимб возник вокруг чела. Он принялся вышагивать по комнате тяжелой гренадерской поступью, и половицы заскрипели, как под пятою завоевателя.

— По итальянским виноградникам, по итальянским виноградникам, — пробубнил он и вдруг умолк.

Стояла тишина. В раскрытые окна видна была августовская звезда над черным парком. Где-то недалече уже шагал нынешний злодей в глянцевах ботфортах и маленькой пухлой ручкой указывал на Москву. И в этот миг ты, Титус, вздрогнул бы, мой дорогой, услышав, как отставной майор Лобанов спросил высокомерным шепотом:

— Возмездие? То есть вы имеете в виду рок?.. Да господь с ними, пусть они идут, пусть, пусть... Но фраки-то при чем? Пусть вражеские войска, понукаемые своим роком, вытпывают чужие поля, покуда им не придется терпеть уже от чужого рока... Но фраки-то при чем? Зачем мужикам фраки-с? Фарфор я еще понимаю, но фраки-с... Или там зеркала, чтобы глядеть на свои рожи, или там шторы, или там кадушка с лимонным деревом, но фраки?.. Они и меня убьют, и членов моего семейства, и француза-гувернера, потому что он француз и потому что французы — протестанты... Да, да, зря смеетесь (хотя я вовсе и не думал смеяться, а, напротив, глядел на него с ужасом, ибо этот добрый дуралей совсем ополоумел от собствен-

ного красноречия)... Они сначала отдадут французам мой хлеб и пустят меня по миру, а после наденут фраки, возьмут вилы и воткнут Бонапарту в брюхо...

(Я застрелил на дуэли прапорщика Скобцова, но мир не переменялся. И хотя я понимаю, что это не средство, с помощью которого можно улучшить человечество, однако оскорбителя прощать нельзя, оскорбителя нельзя отпускать с миром. Уж тут либо он меня в круглое лицо, либо я его — в квадратное.)

9. Кларнет. Одинокий кларнет предназначается для похорон. Так было. Его гренадиловое или эбеновое тело, черное, вытянутое, строгое, напоминало о неминуемом завершении земного пути, его низкий голос, подобный плачу, внушал мысль о том, что если даже пьедестал, на который при жизни был возведен покойный, выше его заслуг, то кончина все поставила на свои места и выровняла несоответствия. Дитя древнего шалюмо (*chalumeau*), доведенное до нынешнего вида нюрнбергским мастером Деннером, попав в толпу прочих музыкальных инструментов, внезапно изменило свое предназначение. Не о вечной разлуке, доносясь из оркестра, поет его низкий медовый голос, а о вечном пребывании в нашем сердце; не о прощании, а о прощении. Простит ли мне Господь задуманную мною дерзость? Но, клянусь, голос кларнета в хоре и помянет, и восславит, и все в равной мере поровну.

...В конце июля в доме Осиповых при большом стечении гостей, почти случайно, знакомых друг другу отдаленно, мой Федька, которого я взял с собой, играл на английском рожке сочинение какого-то древнего веронца, которое Федька сам переложил для рожка; играл под аккомпанемент клавесина, и гости внимали этому дуэту еще со спокойствием мирных времен: рассеянно, добродушно, с прохладцей, излишне не зажигаясь, поглядывая друг на друга, думая о своем. Там, в креслах вишневого бархата, две дамы в старомодных туалетах притворялись погруженными в мелодию, помахивая веерами; там, у растворенного окна, пытаюсь укрыться за прозрачным тюлем, господин в зеленом камзоле подавал легкомысленные сигналы смуглой барышне в розовом платье; там три старухи в екатерининских чепцах кивали с дивана в такт рожку; там группа еще совсем юных армейских офицеров толклась испуганно в углу, не зная, что делать с длинными руками; там стайка угловатых девиц напряглась, словно изготовилась к стремительному бегству... Я стоял у самой двери, опираясь на ореховую палку, отказавшись от предложенного кресла. С высоты своего роста я все хорошо видел. Все было как всегда, и все-таки что-то казалось странным, а что — догадаться я не мог.

Незнакомый старый господин, стоявший рядом со мной, вдруг шепнул мне:

— Все притворяются меломанами. Делают вид...

Многочисленные морщины на его лице изобразили отвращение. В выцветших глазах плавала тоска. Он так взглянул на меня, словно нуждался в помощи. Я видел его впервые. Наконец Федька завершил свой *opus* и смиренно удалился из залы. Я услышал комплименты в свой адрес. Все зашевелились, веера замелькали пуше, вспыхнули откровенные улыбки, разнесся гул воскресших голосов. Все ожило, зарозовело. Слуги бесшумно меняли свечи. Я глянул на старика. Он вздохнул и решительно направился к клавесину, сел и протянул руки. Едва раздались первые аккорды, как все гости застыли с привычной неохотой. Старик играл. Я было подумал, что пора ехать домой, но прислушался. Черт его знает, что он там такое играл, но по всему видно было, что большой искусник. Пьеса была незнакомая, и сидел старик как-то необычно, отворотив лицо от клавиатуры, словно музыка тоже вызывала в нем неприязнь. Постепенно все замерли и напряглись. Тревога разлилась в душе. Вдохновенные пальцы старика, искаженное отвращением острое лицо, полные отчаяния глаза — вот что видел я, уже позабыв о доме. Клавесин рыдал, ей-богу, рыдал, как живой. А что оплакивал? Сердце у меня сжималось, пламя свечей казалось мертвым, лица гостей осунулись и посерели... О чем он рыдал? Этак все сейчас заплачут, заломят руки, побегут невесть куда, толкая друг друга... Палку бы ореховую швырнуть в старика, чертов старик!.. Три старухи на диване мочили ноги в

Лете, смуглая барышня наклонила головку, господин в зеленом камзоле цеплялся за подоконник, юные офицеры прижимались друг к другу тесней и тесней... У, чертов старик, презирающий радости! Тогда впервые я подумал, что пожил, довольно, мол, пора... И тут же вспомнил Сашу Опочинина и испугался.

Я ехал домой один. Коляска катила бесшумно. Стояла теплая летняя ночь, а я задыхался — тревога кипела во мне, изнуряла, душила. Все вокруг выглядело дурным предзнаменованием. Ну, например, лошадь всхрапнула, ветка треснула в лесу, белый заяц пересек дорогу, а я вздрагивал, хотя зайцев этих в нашем лесу пропасть. Душа заныла от горького предчувствия. Я погнал лошадь. Скорей, скорей... И вдруг понял: война же, Господь всемогущий! И мне показалось: все кончено. Нет ни дома, ни сада, ни единой живой души; вокруг лишь холодные равнины... Чертов старик! Я знаю, что это такое! Гигантская волна, которая и меня несла когда-то по италианским виноградникам, по альпийским камням, та самая волна надвигалась неумолимо. Как некогда я сам, так теперь и они, не более того... Быть может, успех моего полка там, под Унтер-Лойбенем, зародил новую школу, и целая толпа подражателей, позабыв мое имя, украсив шляпы султанами, надеется в чужой земле повторить ту мою удачу, не жалея железа и крови... Я подъехал к дому. Слуги приняли коляску. Тимоша спал. Я его пожалел, завтрашнего корнета, губастого и розовощекого.

Самое же странное заключалось в том, что, сколько я впоследствии ни спрашивал о том старике, никто не знал его имени, кто он и откуда, как появился и куда исчез... «А исчез ли? — думаю я, посмеиваясь. — Не ждать ли его в гости в скором времени?» Кто-то даже высказал предположение, что это был чуть ли не лазутчик корсиканца или что-то в этом роде...

10. Мне не хватает басового кларнета. Федька нашептывал мне со слезами о его достоинствах: в нем мрачная сила и загадочная суть — вот каков его звук. Я писал в Дрезден, Вену и Милан. Никто не отозвался на бредовые письма безногого генерала...

«Дедушка, — говорил мне маленький Тимоша много лет назад, совсем маленький, восьмилетний, — дозволейте называть вас дядей и на “ты”, как мамочку на “ты”?» Губернер Мендер в ужасе палец приложил к губам и делает мальчику строжайшие знаки. «Ну что же, друг мой, — говорю я, — будь любезен, зови как знаешь». Господин Мендер облегченно вздыхает, смеется и гладит Тимошу по кудрявой головке. «Скажи-ка, дядя, — говорит Тимоша серьезно, — когда я женюсь на мамочке, ты подаришь мне настоящую лооошадь?» Мендер ахает и говорит: «Тимоша! Тимоша! Тимофей Михайлиш, ви начинайль чепухить. Я сам красневаю от ваши слова!..»

...Франц Иоганн Мендер наслаждался италианским солнцем вместе с полуротой своих бравых тирольцев. Он покорила эту страну, стал хозяином над нею, власть его простиралась далеко и казалась вечной. Внезапно французы вломились в Ломбардино и погнали австрийцев с насиженных мест. Молодой Бонапарт вселил в австрийского лейтенанта такой ужас, что Мендер бросил своих солдат, бежал в родной Линц и вскоре вышел в отставку.

Как случилось, что учитель истории и естественных наук угодил в лейтенанты, я так и не понял из его рассказов, ибо сам в немецком не очень крепок, французский же незнаком Мендеру по причине мистического ужаса перед всем французским и италианским, а русский он освоил совсем недавно, да и то едва, так что понимать его смешно и мучительно. Очень может быть, что звуки военного оркестра, или дамский восторг, или страсть к неизведанному, или патриотические ураганы — все это и привело его к тому, что он нес караульную службу среди завоеванных италианцев. Во всяком случае, вернувшись в Линц, австриец с умилением облачился в цивильное, понимая, что просто изучать историю гораздо приятнее, нежели ее вершить. Однако не успел он отдохнуть от стремительного бегства, как маршалы Бонапарта замаячили на изумрудных берегах Дуная. Он снова затянул мундир, твердо уверовав, что Бонапартово войско явилось за ним, подстрекаемое мстительными италианцами, и решил отбиваться. Под Эберсбрунном он снова растерял своих солдат, и я отпаивал его на нашем

биваке и приводил в чувство. Мы там сами кое-какувиливали от маршала Мортье по ноябрьской грязище, кружа возле Кремса, и Франц Мендер топал вместе с нами, не понимая, где искать свой отряд. Стройный, гладковыбритый, востроносенький, голубоглазый, он выкрикивал цитаты из Плиния и Тацита, словно проклятия в адрес французов, а когда успокаивался, признавался мне, краснея, что почти точно так же кричали ему итальянцы, когда он ворвался к ним с австрийской армией однажды... «Это мы ничего не помним, — шептал он, — а история помнит все. — И еще тише: — Французы преследуют *меня*, поверьте. Стоит мне сейчас исчезнуть, и они оставят вас в покое...» И безумие вспыхивало в его голубых детских глазах. «Ешь кашу, Франц Иванович, — говорил я союзнику браво, — и не болтай вздора».

Мы храбро сражались под Кремсом, но нас побили, и теперь вся наша стратегия заключалась в отступлении. Темной ночью по оврагам и бездорожью торопились мы в Голлабрун, пока известие от Милорадовича не утешило нас: он сообщал Кутузову, что ненастье остановило Мортье у переправы через Дунай, и мы вздохнули с облегчением. Багратион, войско которого оставили в заслон, присоединился к нам, потеряв две тысячи убитыми. Из Петербурга донеслись рукоплескания. По дороге в Голлабрун в спешке и мраке Франц Мендер исчез, но мы не могли позабыть безумного австрийца, ибо французы, как он предсказывал, действительно на какое-то время оставили нас в покое.

Обезумевший от идеи, что возмездие за мелкие пакости на итальянской земле теперь в лице французов идет за ним по пятам, Франц Иоганн Мендер умолк и затерялся где-то в центре Европы. Я прихромал в свое калужское, в Липеньки мои дорогие, где Тимоша обвинил мою шею еще не окрепшими ручками, где Сонечка в розовом платье, бледная и изможденная, рыдала, глядя, как я неуклюже хромаю, разыгрывая легкомысленного вояку, и я понял, что мы теперь одни на всем белом свете, одни, одни, если не считать Варвары... если не считать Варвары... хотя теперь-то считать незачем... Вздорный счет, пустая память, напрасные мои сетования — все со мной, пусть и умрет со мной...

Написал нынче графу Сен-При письмо с просьбой пристроить рвущегося послужить Тимошу к нему в Егерский полк. Все-таки будет мальчик под глазом боевого товарища, отменного командира и доброго человека. Граф Сен-При отличился под проклятым Аустерлицем и даже получил Георгия 4-й степени. Там мы расстались. Впоследствии он наезжал ко мне, однако, будучи из французских эмигрантов, горячо не соглашался с моими пристрастиями к Бонапартову гению. Впрочем, это не мешало нам оставаться добрыми товарищами, мне нравились его порывистость, суровость в бою и почти девичья мягкость в душе. Он был глубоко образован и вообще умен и находил удовольствие в моих склонностях к злословию.

Ах, Аустерлиц, Аустерлиц! И юношеские года, и лет военных череда — все представляется мне вздором, но лед Зачанского пруда — во сне или наяву — всегда перед моим потухшим взором...

...Да, и вдруг на Рождество седьмого года пришло из Австрии письмо в конверте, захватанном хмельными почтарями, письмо с мольбой о помощи от Франца Иоганна Мендера.

Достославный господин генерал, — писал злополучный историк, — я бы никогда не осмелился беспокоить Вас в Вашем заслуженном уединении, если бы не крайние обстоятельства. Господин генерал, я обложен, как волк в логове: французы по наущению ломбардцев преследуют меня по пятам, вся их военная машина, вернее, вся их военная деятельность — не что иное, как стремление осуществить акт возмездия надо мной! Господин генерал, прошли годы, и мне, человеку по природе мирному и доброму, открылось многое из того, чему в молодые годы я не придавал значения. Теперь во мне нет юношеской самонадеянности, былого легкомыслия и слепого доверия к псевдопатриотическому тарараму, что позволяло мне считать итальянцев осчастливленными моим присутствием в их виноградниках. Хотя я был всего лишь жалкой щепкой в море австрийского оружия, однако сознаю, что именно я избран Богом из всех моих

соотечественников, когда Господь решил, что уже пришла пора платить за содеянное. Господин генерал, я не ропщу. Я осознал также, что церковь — лишь ступень, чтобы приблизиться к Небесному Отцу, а для замаливания грехов дается жизнь. Я не боюсь смерти, господин генерал, ее не миновать. Я боюсь, что, когда меня настигнут и провозгласят единственным ответчиком за жестокую бездумную расчетливость остальных, я не вынесу столь громкого титула. Героем и злодеем надобно родиться. Как странно, что именно я, рожденный маленьким человеком, предназначен Высшими Силами для искупления всеобщих страстей... Когда Вы там, под Кремсом, склонились надо мной с высоты Вашего гигантского роста, Ваше круглое лицо показалось мне исполненным доброты, и я прочитал в Ваших глазах не только солдатское участие, но и понимание моей трагедии. Господин генерал, ведь мы были детьми одной Природы и, как все дети, с искренним вожделением претендовали на чужие игрушки.

Господин генерал, я честен и деятелен. Мне не страшен труд. Быть может, в Вашей благословенной стране мне удастся хоть на время обрести покой, собраться с мыслями и с достоинством исполнить свое предназначение. О, какое несчастье, что именно я намечен жертвой общего искупления! Какая тяжесть, господин генерал! Я буду ждать Вашего решения, уповая на Ваше милосердие. Надеюсь, что Вы в добром здравии и все так же великодушны и просьба ничтожного избранника Высших Сил не обременит Вас.

Остаюсь, господин генерал, в страстном ожидании Вашего скорого и справедливого решения, ибо не сомневаюсь, что мои сумбурные каракули будут Вам переведены с возможной точностью и незамедлительностью.

Ваш земной брат по оружию, по страданию, по любви к жизни

Франц Йоганн Мендер.

Р. С. За все, за все надо платить, а где взять?

Что осталось делать бедному хромому отставному генералу, знающему, во что превращается блаженство в чужом винограднике, когда тебе дадут по худенькой самонадеянной шее? Я пригласил этого несчастного страдальца в Липеньки, хотя успел позабыть его лицо и голос. Черт с ним, пусть спасает душу, историк. Ведь это любопытно. Наконец, нас связывало многое, если подумать: солдатский костер, каша, нелепица встречи и расставания, и знакомые нотки, хохотал, однако глаза его при этом подергивались туманом.

Мендер с австрийской дотошностью изучал русский язык, и через год-два мы с ним могли уже спорить, смеясь и похлопывая друг друга по плечам при каждой несуразице, слетавшей с его уст, но в этом райском царстве идиллии, великодушия и любви разразилась гроза, и наши голоса дрогнули, и речи оскудели. Все то же, что и всегда: пора очнуться от грез, земная радость непродолжительна, мой друг, непродолжительна. На что походил Франц Иванович, когда он белыми губами прохрипел мне, что армия Бонапарта вторглась в Россию, благополучно перейдя Неман!

«Да ведь мы, Франц Иванович, предвидели это, предчувствовали, мой дорогой... Ну ничего, ничего, не новость, не новость, бог не выдаст — свинья не съест, эвон какие пространства, мой дорогой, меж Неманом и нами, а армия какая! А Чичагов! А Милорадович! А Багратион! А гусары! А артиллерия!..»

Франц Иванович вежливо кивал мне, а сам тихо плакал, как на том позабытом уже биваке, и утирал слезы батистовым платочком. «О, я не трюс, воззе не трюс, ви меня понимаете? Я вижу старий приговор. Я мешайль бедний аустрийский народ, нынче я опять мешайль русский народ...»

«Да полноте, Франц Иванович, — сказал я ему с напрасной бодростью, — все в наших руках, черт его побери! Ну пусть вы жертва, а я вот калека, и вот мы с вами отправимся Бонапарту навстречу, подстережем его и пристрелим... ха-ха, и разом все завершим...»

«Ви не понимаиль исторически процесс, — сказал Мендер с укоризной. — Ми уби-вайль Бонапарте, но я оставался заложник. Как вы не понимаиль? Есть Провидение, есть Возмездие, чертова побраль!»

...Корсиканец шествовал отменно. Мы увивали. Расстояние до Липенек сокращалось.

...Судя по всему, Богу угодна моя затея и жизнь моя: никто не предостерег ни словом, ни жестом, не всплакнул, не вздрогнул, не удивился. Хотя я единственный хранитель этой тайны, но ведь могли бы, могли бы распознать, ну, по глазам, по лицу, по ночному моему крику «ой-ей-ей-ей!», словно я уже взлетел в черное небо. Впрочем, где им догадаться, дурачью, когда они лишь в себя вглядываются денно и ночью... «Скажи-ка, дядя, — говорит Тимоша, — отчего это иногда кажется, будто ты пришел откуда-то, невесть кто ты, чужой, и всматриваешься во всех, будто не понимаешь, кто перед тобою, и еще кажется, что уже уходит пора туда, откуда ты пришел?» — «Разве? — удивляюсь я и глажу его по кудрявой головке. — Может, я в Губино к Варваре в гости собираюсь промаршировать?» — «Нет, дальше, дальше, — говорит он. — Какое еще там Губино!» — «А может, Титус, это лета во мне, годы, — говорю я, — когда свое начинает казаться чужим, даже не чужим, а думаешь: а свое ли это? А нужно ли? А не пора ли?..»

Господи, дай мне сил! Слышишь, пахнет гарью? «Эй, Лыков, неси мои доспехи!» — «Какие прикажете?» — спрашивает лакей напряженно. «Какие, какие, — отвечаю я, слабея. — Пошел прочь!»

Беру перо в руки — дрожит, и дивные каракули прикрывают несовершенства слога. Вилка отвратительно звенит о тарелку — делаю вид, что выбиваю дробь. Тимоша смеется. «Ты, дядя, начал барабанить в последнее время... Какие марши тебя одолели? Французские?..» — «Дурачок вы, сударь, — смеюсь в ответ и отставляю чашку с чаем, — не французские, а Московского мушкетерского полка». Он уходит, посмеиваясь, а я допиваю чай, расплескивая его на скатерть.

...С первым же обозом отправил я бедного Франца Ивановича в Москву, подальше от его мучителей. Проку в нем теперь было мало. Он весь одеревенел, вытянулся, приготовился, бедный господин Мендер. Тут, прощаясь с ним, я подумал, что, может, это и не безумие вовсе, а голос свыше? «Ступайте в Москву, Франц Иванович, — сказал я, — в Москву-то ваш преследователь не пожалует. Видите, какие пространства перед ним?» — «Нет, — сказал Мендер с кротостью и печалью, — он пожалует. А должен оплачивать грехи австрийский народ, ви понимаиль?»

Мы обнялись, и он уехал.

Хожу по дому из комнаты в комнату, заглядываю в зеркала, в окна — все пусто, как в моей душе, будто я призрак, явившийся из мрака. Старый мой камердинер Кузьма отпрыгивает от меня неловко, по-стариковски. «Ты что, испугался? — спрашиваю старикашку. — Что это ты, очумел?» Он улыбается через силу и шутит подобострастно: «Воон вы какие огромные, а я мааааахонький...» Надоели все, всё надоело. Воистину чужой мир. Сонечки нет, да и она последнее время казалась прозрачной и ходила следом за Тимошей, глядя на него с недоумением... Расставание — не праздник. Расставание — не праздник, говорю я вам; а предчувствие разлуки хуже смерти... Господь все милостивый, укрепи мой дух и возвысь меня над скорбной суетой!..

«Французы пожрать любят, — говорит мой повар Степан, — но не от пуза, а от души».

Список главных торжественных блюд, предназначенных для угощения гениев войны и смерти, добровольно пожелавших посетить мой дом, сироте-ющий, бесприютный, теперь уже постылый моей душе.

1. Стерлядь разварная должна быть оранжевой в сердцевине, подобно китайскому яблочку. Легкий жирок под цвет мяса. Ни зелени, ни, того пуще, каких-либо там пряностей к ней! Варить двенадцать минут на сильном огне. Едва янтарные кружки жира заколеблются в бурлящей воде, тотчас же и снимать. Есть горячую. Можно и пальцами. Едва французские гении прикоснутся к сей рыбе и ощутят запах реки, речной травы, устоявшегося речного дна, покоя — и не то чтобы мысли о тщете всего посетят их, а просто печаль, и еще падет туман с реки, а тут еще и гобой пронзит душу...

...Впервые я пробовал такую стерлядь в Губи не у Варвары. В сорок два года каким я был молодцом! Ни морщинки, обе ноги целы, гнул подковы, голова работала живо. Как быстро все переменялось! Но, главное, дух был неподатливым, не дряблым, как нынче, соответствовал росту и ширине плеч; запястье какое было — шпагу вращал до пятисот раз без усталости! Это было наслажденье, и это меня возвышало в собственном мнении, и Варваре было тогда двадцать три года. Стройна, конечно, ну, темно-русская головка, ну, лицо, что ли, заметное, редкая улыбка с каким-то коварством, что ли, не располагающая к непринужденности... Да зато два синих глаза в пол-лица, взгляд неподвижный, от которого не укрыться: влево отклонись — видят, вправо — то же самое; два синих холодноватых светильника. Красавица? Бог с вами, разве мы красавиц любим? Красавицами мы восхищаемся, мы их придумываем, а любим тех, в ком есть что-то, чего понять нельзя.

В первый раз я попал в Губино после швейцарского похода. Еще отмыться не успел, почиститься как следует, привыкнуть сызнова к навощенным полам; еще все мне в мирной калужской глуши представлялось фантастическим, и был я нарасхват — все бокалы пились тогда за государя и за Суворова.

Любимец барышень уездных, огнем сражений опален, им сгоряча казался он явившимся из сфер межзвездных...

Варваре было двадцать три. С детства жила по своей воле. Родители пред нею преклонялись, никли. Так и скончались в восхищении и преклонении. Она была барышня образованная и весьма самостоятельная во мнениях. В двадцать лет вышла замуж за некоего тучного лесного лентяя, мало приспособленного к нормальной жизни, вышла, надеясь, по примеру всех русских барышень, превратить это существо в человека по своему образу и подобию. Да, видно, Бог жертвы этой не принял, и она, разойдясь с ним уже через полгода, спровадила супруга в его родовое под знакомую музыку пересудов. Я знал его. Он был даже добр, но не любопытен к жизни и равнодушен к окружающим и недавно помер от обжорства, так, кажется, и не вспомнив, что был женат.

Когда мы встретились, она, в отличие от прочих наших дам, не проявила ко мне восторженного интереса, а пустилась со мной в деловое обсуждение недавних европейских битв, и я почувствовал, как мой героический нимб потускнел и растаял.

— И что же, — спросила она, — много ли было крови?

— Много, — усмехнулся я, — крови и пепла. — И подумал, что это, наверное, дурно говорит о юной даме, когда она даже не пытается согреть боевого генерала теплом своих глаз и интонаций, а просто допрашивает, как приказчика, воротившегося из города.

— Как же вам удалось смыть все это? — пожалала она плечами.

— Я вернулся домой, — ответил я снисходительно, — велел истопить баню, наполнить большую кадку мыльной водой. Залез туда, а вылез через три месяца... И вот смыл. — И показал ей руки. — И, кроме того, Варвара Степановна, смешно представлять, чтобы без крови...

Тут она улыбнулась, но как? Едва шевельнула губами, но глазищи были холодны, и мне стало холодно.

— Вы бы посмотрели, как Суворова носили на руках, — заторопился я, — как швейцарцы молились на него, да и вообще солдаты были в таком экстазе от всего, что происходило...

— А что происходило? — спросила она, пожав плечами. — Бегал от французов, терял войско, лазил по горам, наконец убежал, и его провозгласили гением...

— Несправедливо! — поперхнулся я. — Так говорить о генералиссимусе?! Наши войска, Варвара Степановна, преодолели такой переход!..

— Мужик все терпит, а в чем же гениальность вашего любимца?

— Несправедливо, — выдавил я. — Как это можно?! А честь отечества?..

— Старичок водил вас по чужим огородам, и вы почитаете это за патриотизм?

У меня все перевернулось тогда. А это был первый год нынешнего века. И тут она сказала, имея в виду остальных гостей:

— Все эти господа тоже уверены, что топтать чужие огороды — патриотическое занятие.

— Какие огороды? — выдохнул я. — Побойтесь Бога! А слава нашего оружия? А исполнение договоров? А гордость за свою силу?

— Ах, я бы сказала, чем следовало бы гордиться, — она уставилась на меня не мигая, — да, покуда вы в мундире, это все пустое...

Я тотчас же от нее уехал. Едучи домой, ощущал сильный жар. Хорош генерал! Растерялся перед юной дурочкой и мямлил несусветицу. Какой позор... Приехал, несколько остыл. А ведь мы действительно от Массены бегали, и Багратион с арьергардом отбивался от преследователей. Успешно отбивался, не скрою, но ведь отбивался и убежал?.. Чужие огороды? Вот дура! И я вспомнил, как мы ни за что не могли остановиться — из-за этих чертовых союзников по всей Швейцарии с горки на горку, из пропасти в пропасть. У меня даже мысль мелькнула там однажды в приступе отчаяния: а почему, собственно, в Швейцарии?.. И все-таки она заносчива, самонадеянна и избалованна, думал я, остывая, и вдруг сообразил, какая замечательная стерлядь была подана к столу перед самым нашим с нею поединком.

...Нынче утром с последним обозом Тимоша отбыл в Москву. «Не задерживай, сказал он мне, — исполни свой каприз и торопись, дядя, миленький. С врагом шутки плохи...» Мы поцеловались. Последняя телега уже скрылась за взгорком, а мы все не могли расстаться. Тройка давно уже ждала будущего корнета, некоторые из людей топтались у крыльца, приготовившись помахать юному барину на прощание. Ариша не показывалась. Может, и в самом деле что-то у них там случилось? Не знаю. Ах, плутовка, неужто она его все-таки подстергла?.. Не бойся крови, мой хороший, с врагом спознайся наяву. Ты будешь для полка Тимошей, а я вот Титусом зову... Как хорошо отправляться в первое сражение, не зная, что такое боль, а пуще того — смерть! Тогда ты улыбаешься открыто, вселяя в остальных бодрость и юношескую дерзость. Искушенность хороша у вдоволь поживших, которые способны совладать с собою в трудный час, а юноша, рано хлебнувший отчаяния и страха, являет собой печальную картину.

«Францу Ивановичу кланяйся, — сказал я Тимоше, — деньги ему вручи и утешь». — «Ах, дядя, — засмеялся скорый хозяин Липенек, — Франц Иванович не дитя, сам все видит». — «Скажи ему, Титус, что теперь, когда пошли слухи, что Кутузов станет главнокомандующим, теперь французу сроду до Москвы не добраться и бедной австрийской жертве ничто теперь не угрожает, ты скажи ему...» Тимоша кивнул рассеянно. Кутузов, подумал я с горечью, какой пассаж. Вот и останется, что надеяться. Как по Дунаю бегали, как по Альпам, так и тут, теперь уже по своим огородам... Господь все милостивый, пошли мне мужество, укрепи мой дух и руку укрепи, руку мою, еще горячую, сильную, но склонную к коварству, к подвоху...

Ариша мелькнула в окне и исчезла. А Тимоша смотрел на меня. Мы поцеловались. Ничего удивительного, подумал я, эта чертова девка могла и подстеречь мальчика. Браню ее, а

себя ловлю на горьких сожалениях о деревянной ноге, о возрасте... Ничего удивительного: война, суматоха, да при его расположенности, да при его горячем сердце... Однажды я сам, как последний сумасброд, возвращаясь глубокой ночью от соседей, подогретый водкой и мужским разговором, подумал: «А что, собственно, проклятое благородство или что там еще?» И вообразил, представьте, как Ариша входит в спальню, заспанная, горячая, боящаяся послушаться... Вообразил и подъехал к крыльцу. Был уже второй час. Обалдевший Лыков снял с меня сюртук. «Пойди разбуди Арину, — сказал я ему шепотом. — Пусть приходит, да поживей». Он бросился как полоумный, а с полдороги спросил: «В кабинет прикажете?» — «В спальню! В спальню! — зашипел я. — Живо у меня!» Я прохромал в спальню. Луна глядела в окна. Было совсем светло. «Как же я ей в глаза погляжу?» — подумал я. Варваре я не нужен. Может, это обида моя рвется из меня? Мои долгие напрасные ожидания твоего великодушия, а, Варвара? Твоего снисхождения? Опомнись! Унимаю свою вечную боль тебе в острastку! Мы с тобою успели постареть, а эта, видишь, какая молодая, парная, надменная, да моя, видишь? Опомнись же... «А черт с ней, с Варварой! — подумал я. — А эта-то для чего живет на белом свете, эта, жаровня молодая?»

И тут дверь тихонечко приоткрылась и вошла Арина в домотканой рубахе до пят, прикрывая глаза ладошкой. Я стоял, опираясь на проклятую палку. Арина пряталась под ладошкой, будто под лопухом... Умопомрачение... «И ведь не пикнет, — подумал я. Но не шевельнулся. И опять подумал: — Если Лыков под дверью стоит, убью!» И не шевельнулся. А она-то, наверное, поглядывала меж пальцами, они ведь все ах какие многоопытные, эти Арины, взращенные в господских домах!.. Стою красный, потный, отвратительный... «Арина, — сказал я строго, как мог, — не забудь завтра на кухне сказать, чтобы коровьего масла было вволю. Чтобы французам все только на коровьем, поняла? — Она поклонилась и ладошку отвела. — Гляди у меня, не забудь. Ступай...»

И она вышла. Какое масло? Что за масло? Мыслимое ли это дело? Хоть бы придумал что-нибудь поаккуратнее... Ну ладно. Бог с нею. А вот тут на проводы не вышла. Уж не добрался ли до нее Тимофей Михайлович Игнатьев? «Прощай, Титус. Не поминай лихом». Мы поцеловались.

2. С военной дороги, с измора, вдоволь напробовавшись лимонной водки, или полынной, или самой обыкновенной, выцезенной по капле из чистой пшенички, в самый раз ополоснуть обожженное нутро хорошим глотком кислых перевозданных щей. Ешьте, гении блистательных побед, творцы исторических викторий, вы заслужили недолгую негу у моего костра... Именно кислые щи. Все остальное — пустое дилетантство. Молодая говядина средней жирности. Мясо той самой веселой коровенки, еще не потерявшей вкуса к жизни, именно ребрышки ее, сваренные с любовью, украшенные кружками моркови, кольцами репчатого лука, пропитавшие друг друга, и, наконец, сама капуста — квашеная капуста, уже успевшая утратить свою кочанную свежесть, разомлевшая, перебродившая, но не потерявшая хрупкости; прошлогодняя, острая, без изысков, но с брусничинами, но со смородиновым листом и, чтобы в меру, без показной щедрости, а самое главное — натурально, не нарубленная вкривь и вкось, на авось, лишь бы как-нибудь, бездарно, пошло, а нашинкованная тонкими прозрачными лоскутками, вдохновенными полосками... И наконец, все это вместе сваренное вчерашним вечером, истомившееся в печи и поданное к сегодняшнему обеду!.. Куда же вас занесло, мои учителя? Что виною: безумие или жестокая военная фортуна? Честолюбие или неумолимый приказ? Нам всем уготовано блаженство в черном августовском небе. Именно блаженство — пора и отдохнуть. Я не верю в геенну огненную. Черное бархатное августовское небо — и никаких вечных мук...

Великий француз, насмешник, желчный, мудрец, заявил, что умереть не страшно — не жить страшно. Я же добавлю, что страшно умирать: этот недолгий марш по коридору расставаний с легкостью не совершить, а особенно на одной ноге, а особенно сознавая, что все

остальные стараются выжить. Отчего же, спрашиваю. Ради отечества, говорят. Какая, мол, отечеству польза от покойника?

3. ...В Мещерском уезде свалили оленя и привезли. Судя по рогам, еще не успел поединоровствовать с соперником из-за дамы, все еще предполагалось впереди. Лоб чист и возвышен. Глаза с золотистым отливом. Французам оленина знакома, слава богу. Они и охотники, они и гурманы. Я пробовал оленину по их рецептам. Что происходит с человеком, вкусившим этого яства? Сердце замирает от густого пряного аромата специй и трав, и каштанов, и очажного дыма, и уже не поймешь, что это такое: олень или некое неведомое создание, так и сотворенное природой, вот так, чтобы поражать смесью тысячи божественных запахов... И ты насыщаешься, и пот выступает на лбу, и ноздри раздуваются, вдыхая эти облака, и в посоловелом взоре уже ничего, кроме сытого покоя... Великолепно!..

Угощал меня олениной и прусский майор — временный советник. Его денщик, высокомерный, как всякий лакей, от которого зависят, с отвислыми усами и голодным взором, насаживал молодого олененка на деревянный вертел и жарил его над углями, а после обкладывал пикулями и подавал. Было божественно!..

Он делал так, французы этак, а мы поступим иначе. Пленный турок под Измаилом показал мне удобный и нехитрый способ приготовления оленины. Он вырезал из мяса лучшие куски и насаживал их на боевую шпагу, перемежая колечками лука, и все это вращал над раскаленным углем, поливая виноградным вином. Под коричневой корочкой дымилась мягкая плоть, не потерявшая природного вкуса, сок тек по пальцам, оленин дух витал меж нами, и глаз был остр, и голова ясна, и мысли возвышенны, и хотелось вчерашнему врагу руку положить на плечо и сказать: «Прости, брат». А если к такому кусочку подкинуть на тарелку легкую пригоршню моченой брусники, чтобы и истинного вкуса оленины не заглушить, но и как бы добавить ей природного антуража, тогда, кто знает, может, и раскаяния подступят стремительнее...

Трясучка в пальцах нет-нет да и возобновится. Я понимаю, что это старость и пенять не на кого. Но ведь отвратительно! И в Можайске, откуда все бегут, военный лекарь с рыжими бровями, глянув на мои седые космы, уже сидя в пролетке, уже отбывая в неизвестном направлении, выкрикнул безразлично: «Это от повышенного героизма, господин генерал; когда распирает патриотическое безумие, а возраст подпирает, кровь играет, а пролиться не может, господин генерал! Одним словом, возраст, господин генерал, а тут еще и эвакуация...» Пролетка с идиотом покатила, но я крикнул грозно: «Ну и что?!» — «Заварите валерианы! — крикнул насмешник. — По ложке перед едой!..» Скотина.

Велел Лыкову все это сотворить, но, пока то да се, дрожание прекратилось...

...Продолжаю о Варваре. Ужель я мог предположить, что юная дама с очаровательной талией, с синими глазами в поллица, в платье голубого атласа с отделкой из вишневого бархата, юная дама, которой повезло жить по своей воле, распугавшая рой уездных и даже губернских претендентов на ее снисходительность, ужель я мог предположить, что она окажется гвардейцем в юбке, с мужской независимостью суждений в делах, отнюдь не дамских? Действительно, в отличие от прочих наших женщин, перемышляющих косточки друг у друга, одуревших от сна и всяческих примитивных вожделений, рано стареющих от обид, для которых губернский бал на Рождество — грандиозное событие, — и вдруг это существо, поднявшее руку на общие святыни! Тогда я был шокирован, а нынче смеюсь и восклицаю: «Ну и Варвара Степановна! Ан да Варвара!..»

И вот однажды, кажется в третьем годе, зимним днем (еще Игнатъев был цел и невредим, а Сонечка с Тимошей гостили в Липеньках), вдруг Кузьма доложил, что барыня Волкова пожаловали. Ну Волкова так Волкова, натягиваю кафтан... Что?! Какая Волкова?! «Гуубинские...» И тут я снова все вспомнил.

Она была, признаться, хороша с мороза, когда вошла в комнату и легко поклонилась. Все те же глаза, то же неприступное лицо, черт бы ее побрал, и никакого соответствия: с одной стороны, молодая женщина с розовыми щечками, с губами, достойными самых сладостных прикосновений, с плечиками, вызывающими трепет, а с другой — холодный, неумолимый судья, да и только.

— Милости просим, Варвара Степановна, — сказал я, как мог радушнее, и представил ей Сонечку. От племянницы моей тотчас поплыла сердечная волна к губинской гостье, я видел это, прозрачная, почти неощутимая, достигла и ни с чем откатилась. Затем мы сидели за чаем. Я радовался, что Сонечка моя ничуть не хуже знаменитой гостьи. Конечно, совсем другой тип: смуглянка, кареглазая, способная и улыбнуться, и зардеться, и отвергнуть. Опочинина! Но хороша, ничего не скажешь... Ах, Варвара, Варвара, нелепа наша жизнь, нелепа и невеликодушна!

— Николай Петрович, — сказала Варвара так, словно Сонечки в комнате и не было, — вы, надеюсь, помните предмет нашего спора тогда там, у меня в Губине?

Я кивнул. Она отставила чашку. Откинулась на спинку стула. Сказала, улыбнувшись одними губами:

— Не сердитесь, я изменила свои взгляды. Я тогда вас обидела, посмеялась над вашими бегствами, над кровью. Да ведь я дура была, генерал миленький, обыкновенная дура. Я нынче, как узнала, что вы вернулись из войск, решила, что воспользуюсь и скажу вам об этом, а вы тоже камень за пазухой не держите. Скажите, что я дрянь была, или скажите, что презираете меня... Скажите и простите...

Сонечка глядела на нас обоих с недоумением.

Я не мог презирать Варвару: видная молодая дама, большая редкость, знаете ли, не только в наших краях. Такой следует ручки целовать и надеяться на ее благоволение. Но и на дружеское расположение меня покуда не хватало — холодна, себе на уме, что ли... Да и вообще сбила меня с толку: для чего-то, наверное, ведь пожаловала, а поминает какие-то пустяки, глядит так, что отшутиться не смею.

— Да стоит ли, Варвара Степановна, говорить о вздоре двухлетней давности? Я вот гляжу, платье на вас по последней парижской моде. В наших лесах!..

Я тогда подумал, что она все-таки хороша, черт бы ее побрал. Какая-то сила в ней была, в отличие от наших дам, какая-то вольность в рассуждениях... Ну и эти замечательные плечики. И тут я засуетился, помню, на Лыкова наорал, что молоко остыло, начал перед ней извиняться, пожалел, что Сонечка это наблюдает, в общем, всякая дребедень.

— Вы позволите, я буду иногда навещать вас? — спросила она. Сонечка уронила ложечку на скатерть. — И вы тоже приезжайте, и вы, Софья Александровна. Я буду рада. — И поднялась, а взгляда не отводила за весь разговор. Конечно, и я старался глядеть в упор, но как-то было неловко: мы же не враги с нею и не влюбленные, это же сковывает!

Зимние сумерки упали. За окнами метель началась. И тут произошло самое странное. Сонечка осталась за столом, сидела, стиснув губы. Я пошел проводить январскую гостью. Лыков не успел подать ей салоп — она уже была в него закутана и вышла. Я видел с крыльца, как она уселась в сани и кучер ее старательно медвежьей полстью прикрывал... Вдруг все исчезло в снежных сумерках, лишь долго слышались бубенцы.

Мы сидели с Сонечкой молча. При свечах. Прошло с полчаса, а может быть, и поболее, и вдруг я соображаю, что бубенцы продолжают звенеть. Да что ж такое?

— Сонечка, слышишь, бубенцы-то не унимаются? — сказал я. — Да что ж такое?

— Дядя, — сказала Сонечка, — тебе не кажется, что она не очень приятна?

— Отчего же, — сказал я бодро, — это два года назад по молодой глупости да по моде утверждала, что мы трусы, что Суворов, мол, тем и хорош, что от француза бегаёт быстро, — и засмеялся, — что он от страха даже Альпы перевалил, чего, кроме коз, никто никогда... А теперь, видишь, раскаялась... А что это бубенцы все звенят и звенят? А, Сонечка?.. Эй, Кузьма! — крикнул я и распорядился, чтобы он проверил и доложил.

— И все на одном месте, — шепотом сказала Сонечка.

Мы ждали и вслушивались. Вдруг звяканье оборвалось. Теперь только метель едва доносилась. Сонечка вздохнула и заплакала, бедняжка. Как было тяжело глядеть на ее слезы! Я часто думал о ее судьбе. Заплачешь — матери не помнила. Отец путешествовал то по Европе, то запершись в своем кабинете. Она ходила за ручку с гувернанткой, видя, как ее молчаливый родитель сосредоточенно проскальзывал по комнатам, изредка кидая удивленный взор на дочь, некстати произнося пустые ласки. Заплачешь. Благословение прислал из Баварии в коротком письме, и она уехала к молодому супругу с ощущением сиротства, чтобы уже спустя год убедиться из отцовского завещания, что он все-таки у нее был и о ней помнил. «...Все принадлежащее мне имение с угодьями оставляю несчастной моей Сонечке и ее отпрыскам как ничтожное возмещение за мою злодейскую отрешенность от живых и кровных мне людей, благородно и великодушно закрывавших глаза на мой эгоизм и жестокость...»

Вернулся Кузьма. В руках у него позвякивала связка бубенцов.

— Вот, барин, — сказал он, — на липке молоденькой на веточке висели... Кто ж такой повесил? Баловство какое... Уж ежели кто из наших, дознаюсь — выпорю.

...Я тогда сразу догадался, чьих рук это дело. Но для чего губинской хозяйке понадобился сей знак, определить не мог. И это меня мучило до самого утра. Сама унеслась, наговорив вздора, а бубенчики развесила на липке и Сонечку напугала. «Она недобрый человек, — сказала Сонечка, — а фантазии у нее злые». Я согласился, однако покоя больше не было. Дня через два я понял, что сгорю. Сгорю, и все тут. Ехать, ехать, скакать, лететь по метели, бросить поводья, вбежать... Для чего бубенцы?! Что? Почему?.. Сил нет. Сонечка обняла меня, заглянула в глаза, сказала так, будто с Тимошей говорила:

— Ты, дядя, к ней собрался? Туда?

— Да, Сонечка. Хочу, черт возьми, о бубенцах спросить. Что это должно значить?

— Нет, нет, — улыбнулась она печально, — тебе до бубенцов и дела-то нет. Тебе ее увидеть хочется.

— Фу, — рассмеялся я, — Сонечка, господь с тобою! Что ты, дурочка, придумала? Да мне эта холодная дама из губинского леса в античном одеянии... ну что она мне?

— Ты хоть вели возок подать, дядя. Куда же ты по такому снегу верхом и один!

— Ах, Сонечка, и не такое видывал, дорогая моя! — крикнул я в нетерпении с седла и хлестнул коня.

Как мы с лошадкой проделали эти семнадцать верст, передать трудно. Но куда пробивались сквозь метели, два бога — бог страсти и бог сомнения — единоборствовали во мне. Хотелось, хотелось ее видеть, будь я неладен, хотелось и пуще того — видеть наполненной мягким светом, теплом, и я даже на то надеялся украдкой. Но едва надежда принимала стройные формы, как перед моим взором возникала губинская дама со своими синими немигающими глазищами — чего от нее ждать?

В первый приезд, рассеянный баловень военной фортуны, дом Волковой я не разглядывал. А теперь увидел — даже поболее моего. Таких у нас в губернии по пальцам сосчитать. Теперь это был ее дом. Порттик нависал над восемью колоннами, полукруглые флигеля, расчищенная аллея под липами, несмотря на метель. Лакей в галунах...

Она возникла на антресолях, едва я вошел и скинул шубу. В белом платье подобно ангелу, но плечи кутала в золотистую шаль, и волосы собраны в большой узел на древнегреческий манер. Я ждал торжественного сошествия, медленного, мучительного, унижающего случайного странника, как это и должно было быть, но она всплеснула по-детски руками и громко, пронзительно, даже с отчаянием крикнула:

— Нашелся мой генерал! Нашелся! Представляете?

И тут же стремительно сбежала по лестнице и подставила мне высокий лоб, к которому я, зажмурившись, приложился морозными губами. Наступил какой-то неведомый, непредполагавшийся праздник. Она ухватила меня под руку и повела по комнатам.

— Как поживаете? — маршируя, пробубнил я.

Она не ответила. Она вообще отвечала на вопросы, когда того хотела, а могла и промолчать.

Тут навстречу нам выползло из комнаты маленькое хрупкое существо, сморщенное, в елизаветинском чепце, с подобострастием в сухоньких губках, и испуганно закивало, затрепетало, даже попыталось поклониться...

— Моя родственница, Аполлинария Тихоновна, — выпалила Варвара. — Тетенька, нашелся мой генерал!

Я было остановился, чтобы представиться, но Варвара сказала небрежно:

— Ступайте, ступайте, тетенька. Это не для вас...

И ввела меня в кабинет. Это была большая комната со множеством книг, с креслами и софой, с письменным столом, освещенным четырехсвечным шандалом. На столе белел испи-санный лист, и перо с черно-белым оперением лежало на нем, уткнувшись клювом в большую кляксу.

Мы уселись в кресла друг против друга.

Ну, помолчали. И вдруг я понял, почувствовал, догадался, что эта молодая женщина прихотью судьбы, чьей-то властью или как там еще предназначена мне.

Она смотрела на меня не мигая, выжидательно.

— Варвара Степановна, — спросил я так, со смешком, как у ребенка, — а зачем вы бубенчики на веточке оставили? — И ждал, как она зардеется, начнет отпираться, отмахиваться от меня.

— А что, — сказала она легко. — Вы что, испугались?

— Сонечка испугалась, — сказал я. — Сани ваши давно укатили, а звон-то все продолжается, представляете?

Она хмыкнула и сказала:

— Ну, может, затем, миленький генерал, чтобы вы приехали спросить, а для чего это я бубенцы на веточку повесила...

Ах, подумал я, Варвара, Варвара, юная тиранка, себялюбка губинская. Слава богу, скоро в полк! Так и ополоуметь недолго.

— Ну, все это, положим, злые шутки, — сказал я сурово. — А в чем же истинный смысл, Варвара Степановна? Почему вам надо было эдаким странным способом возобновлять наше прерванное знакомство?

— Истинный смысл? — удивилась она. — Уж будто вы не догадываетесь, любезный мой сосед. — И немного побледнела. — Я полагала, что с вами-то можно без излишних ухищрений, откровенно все сказать вам, и вы все поймете и рассудите здраво не в пример иным любезным соотечественникам... — Она куталась в золотистую шаль плотнее и плотнее, уже только глаза и губы маячили передо мною, все же остальное было скрыто, словно под золотой чешуей. — Да хотела, миленький генерал, чтобы вы приехали ко мне по метели. Когда другие не решаются, пусть, подумала, храбрый генерал приедет. Ему же это ничего не стоит.

...Сбылись пророчества моей души, когда, с тобой беседуя в тиши заснеженной глуши, мы были рядом. Твой голос мне казался сладким ядом. И думал я: жизнь коротка — спеши... Тут вся моя долгая сорокапятилетняя жизнь пронеслась передо мною. Я понял, что судьба выкинула счастливую карту. Книжки посверкивали корешками. Свечи стремительно таяли.

— Я догадался, — сказал я, — не скрою, этот знак был мне приятен. Вот я и прискакал. — Тут мне следовало приблизиться к ней, погладить по головке, как и должен бы был немолодой многоопытный мужчина юную взбалмошную очаровательную шалунью погладить, и сказать: «Я ехал к вам, чтобы поведать, как вы, Варвара, мне милы... Я рад, что мы соседи... Эти семнадцать верст приобрели отныне особый мистический смысл, и ваша поспешная шутка с бубенчиками, я понимаю теперь, даже она выглядит уместно...» Мне следовало поступить так, чтобы она чего не подумала, не ощутила бы себя, чего доброго, хозяйкой надо мною самим

и над всем, что вокруг меня, но я не смог поступить так. — Метель-то все пуще, — сказал я, — как разгулялась, чертовка.

— Я должна сообщить вам очень важное, — проговорила она. — Я тут долго думала под вой метели, — и хмыкнула, — и это я должна сообщить именно вам. Тут ведь вокруг не сыщешь людей, с которыми хотелось бы поделиться самым главным; кроме вас, никого, милый генерал, то есть людей много, всяких господ разных возрастов и воззрений, ох как много, но таких, как вы, здесь нету. Вы единственный. — Может быть, подумал я, она хочет направиться в Европу и попутешествовать? Такие молодые богатые дамы колесят по Европе во множестве, забивая кареты модными журналами, не жалея денег на приемы, чтобы поразить прижимистых европейцев и тем придать себе больше блеска, а может, даже и отхватить какого-нибудь принца. — Там, у вас, я не решилась, — продолжила она глухо, — при Софье-то Александровне и потому позвала вас сюда. Я позвала вас, а вы тотчас же и примчались. — И снова она хмыкнула из-под золотистой чешуи. Русалка, да и только. — Однажды я подумала, вспоминая вас: вот человек, которому ничего не стоит и по Европе прошагать, сея огонь и смерть, и женщину обворожить... Многие дамочки за вами кинулись бы, помани вы их...

— Варвара Степановна, — сказал я с легкой укоризной, словно дитяти, — какие дамочки, увольте...

— Многие бы кинулись!

— Я старый вояка, — сказал я, совершенно теряясь перед ее глазами, — может быть, и кинулись бы из корыстных побуждений. Да мне-то что?

Та молодая пруссачка от меня отказалась. Это верно. Но были и другие, которых мое рабовладельчество весьма грело. Однажды я чуть было даже не женился. Мне показалось, что я влюблен. Ей тоже. Это бывает. Наш полк стоял в Твери на зимних квартирах. Обстоятельства сложились — лучше не надо: ее родители отправились гостить к родственникам, я жил на прекрасной квартире. Распалились, разогрелись. Все произошло легко и изящно. Я проникал к ней с помощью ее горничной; наконец и она стала посещать меня. Кузьма был моим денщиком и в назначенный час, ухватив ее жаркую ручку, приводил ко мне на антресоли, откуда открывался чудесный вид на окружающие леса. Дальше — больше. Обстоятельства, говорю я, ибо в благоприятном случае они распалют воображение. Мы ждали ее родителей, чтобы пасть им в ноги, но они не торопились, и слава богу, ибо поближе к весне огонь уменьшился, начались всяческие штучки, обычные в подобных случаях, ну там голос ее показался излишне пронзительным, нос оказался крупнее, чем этого хотелось, она время от времени топала на меня ножкой. Свидания сокращались. Появились письма, исполненные неудовольствия. В один прекрасный солнечный день пришла пора сниматься с зимних квартир, и тут у меня на антресолях возник ее батюшка. Сказать по чести, я не был коварным совратителем, и, оказавшись он беспомощным и мягким и стой предо мной, обреченно опустив руки, и заплачь он, не требуя от меня невозможного, я бы сдался, ей-богу, но он кричал, грозил, голос у него был пронзительный, нос громадный... Я молча сходил по лестнице, он торопился за мной следом. Я сел в седло. Он продолжал угрозы, стоя перед самым моим конем. Кузьма сказал ему: «Ваше благородие, конь-то зашибить может бо-ольно...» Хулитель мой отскочил в сторону, оркестр грянул, и мы покинули Тверь. Признаться, совесть меня мучила.

— Вы себе цены не знаете, — промолвила она, посмеиваясь. Внезапно встала, погрозила мне пальцем и вышла.

Тут я заметил, что пламя всех четырех свечей потекло вслед за нею... «Сея огонь и смерть...» Вольно ж молодым дамам за утренним кофе выказывать свое отвращение к армейским трудам и осуждать нашу вынужденную непреклонность на полях брани... А едва зазвучат флейта и барабан, не вы ли, милостивые государыни, всплескивая ручками, устремляетесь к окнам и кричите, ликуя, и прижимаетесь на балах к мундирам, пропитанным пороховой гарью, и теряете рассудок, чертовки!.. Сея огонь и смерть... Будто бы смерть — наша прихоть, а повержение врага — наш варварский каприз. Нет, любезные дамы, сие есть высший знак, недоступный людскому пониманию, и ваши укоризны смешны-с...

А не был ли я сам смешон в те давние годы, и, хотя сомнения уже начинали меня беспокоить, солдатский барабан гремел в душе моей не переставая, однозначно, упрямо, кощунственно... Так я просидел с добрых полчаса. Пламя свечей сияло, вновь устремленное вверх. Варвара не появлялась. Я даже подумал, что она, переборов себя, явится наконец, приложив загадочно палец к тонким улыбающимся губам, явится, и все сладится... Прошло еще с полчаса, а может, и больше. Я сам кинулся по комнатам. Дом будто вымер. Свет был тусклый.

— Варвара Степановна! — позвал я, но никто не откликнулся, никто не пошевелился. — Есть кто-нибудь?! — крикнул я, и тотчас давешняя старушка, Аполлинария Тихоновна, возникла передо мной. Я справился о Варваре.

— Извините, генерал, — прошептала она, прикрываясь ладошкой, — где ж мне знать? Elle se trouve là où elle trouve bon d'être. А вы что, все ходите и ищете? Vraiment?.. — улыбнулась как дитя. — Может, она в спальне, закрывшись, плачет, et qui sait, peut-être est-elle partie à Saint-Petersbourg?¹

— То есть как в Петербург? — спросил я, раздражаясь.

— Не знаю, — прошелестела старушка. — Извините, генерал, vous marier avec elle² приехали?..

— Да на ком жениться-то, сударыня? Нет же никого, — сказал я...

...Воспоминания, воспоминания. Тому уже лет восемь...

...Навеки Багратион со мной прощался: безногие генералы в седых буклях обременяют поле боя. И лицемерие его было излишним, не правда ли? Мы бы вместе увиливали от Бонапарта, поругивая то скучного Барклая, то лукавого Кутузова; то высший свет, то низших исполнителей; то возвышенные обещания, то низменные вождения... А нынче этим заняты они. И без меня бивачные огни сверкают в августовском мраке, и каждый хочет драки: крестьяне, девки и рубаки. Но так, чтоб Бонапарта одолеть, а вот самим чтоб уцелеть!

Свидетелем быть желаю! Благословляю счастливую случайность с завистливой дрожью обыкновенного ничтожества: мол, вы увидите, а я-то что же? И вот в разгар моих мук, сомнений и самоуколов два моих лазутчика откуда-то из-под Вязьмы привозят мне в телеге схваченного ими полкового интенданта господина Пасторэ!

— Ступайте, — говорю я им, — с вами утром разберемся, — а интенданту предлагаю кресло. Старый человек плачет, оказавшись в безопасности. Я велю накормить его. Он ест и плачет. Мы оба старые. Он пониже меня ростом, и, в отличие от моей круглой рожи, его лицо имеет правильные формы, нос, пожалуй, несколько великоват. Француз, да и только. Полковой интендант — шутка ли? Как же его угораздило?

— О, военные фантазии. — Он утирает глаза не слишком свежим платочком. — Они сунули мне в рот тряпку, и я понял, что пока буду жить. Я молчал. Умирать не хочется! — Он внезапно улыбается, и я понимаю, как он рад, что наконец может объясниться на родном языке. В комнате пахнет гарью, овчиной и еще какой-то дрянью, рожденной военным единоборством. — Вы очень добры, благодарю вас... О, какие чудеса! Прожить пятьдесят с лишним лет, оказаться в роли полкового интенданта, разговаривать с самим императором, пересечь Россию и с тряпкой во рту очутиться у вас в гостях!

— Я отправлю вас завтра утром к вашим, — говорю я (он делает большие глаза), — если увидите императора Бонапарта, расскажите ему о ваших приключениях и порекомендуйте заехать ко мне. Здесь он сможет отдохнуть не хуже, чем в походной палатке... (Он посмеивается. Мне нравятся его умные глаза.) Кстати, вы получите крест из его рук...

— Вы шутите, — говорит он, — крест — это не тот предмет, который способен теперь занимать мое воображение. — И снова смеется. — Крест... Простите, сударь, я вспомнил

¹ Она пребывает там, где считает нужным. ...Ах вот как?., а может быть, в Петербург уехала? (фр.)

² ...вы разве не жениться... (фр.)

эпизод, которому был очевидцем, это действительно смешно и трогательно до слез. — Вдруг он спрашивает растерянно и тихо: — Вы намерены отправить меня к нашим?.. Я не услышался?

— О, конечно! — говорю я. — Конечно... А что же с крестом?

Он снова плачет.

Лакеи, подобно серым ночным летучим мышам, бесшумно порхают по комнате, чтобы разглядеть живого француза.

Когда я провожал Тимошу, я сказал ему, как и полагалось деду, прижимаясь к его гладкой легкомысленной щечке: «Не придавай значения, Титус, мелким обидам и пакостям окружающих. Этого в твоей жизни будет много... Не прощай оскорблений. Оскорблений не прощай, Титус. Слов не трать — берись за рукоять. Обиды наносят от слабости, от ничтожества, Титус; оскорбления — от злого умысла. Обиды наносят, чтобы хоть на вершок возвыситься самим; а оскорбляют, чтобы унижить тебя. Не позволяй, Титус, себя унижать...»

Мой гость сидит тихо, съезжившись. Быть может, он болен. Быть может, у него геморрой или еще какая-нибудь там чертовщина. Легко ли в нашем возрасте вести походную жизнь?

— Я видел, как горел Смоленск, — говорит он. — Мне непонятно ваше великодушие. Вы действительно намереваетесь отправить меня?..

— Это не великодушие, — смеюсь я дружески, — простой расчет. Не больны ли вы? Не надобно ли вам чего? Я, например, страдаю геморроем, и потому мы с вами не встретились там. — И я киваю на окна. Он смотрит на мою деревяшку. — Нет, нет, — смеюсь я, — главная помеха — геморрой.

— Я здоров как бык, — говорит он, — но вот дурные предчувствия...

— Естественно, — говорю я, — в вашем возрасте уже нельзя рассчитывать только на праздники. Мы с вами старики.

Он снова плачет.

— Что же с крестом? — спрашиваю я.

— О, мой бог, — вздыхает он, — это вот что... Случилось однажды вот что. Некий старый гренадер, участник многих походов, явился во время раздачи крестов Почетного легиона и потребовал крест для себя. «Но что ты сделал? — спросил император. — Чем ты заслужил такую награду?» — «В Яффской пустыне, ваше величество, в страшную жару подал вам арбуз...» — ответил солдат совершенно серьезно. «Спасибо тебе, друг, — сказал император, — и еще раз спасибо. Я помню твою доброту. Но этого недостаточно, чтобы быть кавалером Почетного легиона». И тут старый солдат заорал: «Черт возьми! Значит, семи ран недостаточно! Я получил эти раны на Аркольском мосту, при Лоди, Кастильоне, у пирамид, в Сен-Жан-д'Арке, при Аустерлице, Фридланде!.. Одиннадцать кампаний, черт возьми, в Италии, в Египте, черт возьми, Австрии, Пруссии, Польше!..» — «Та-та-та-та... — крикнул император, хватаясь за голову. — Не ори, старый друг!.. Лоди, Кастильоне, пирамиды... Почему же ты начал с арбуза?! Так бы и говорил...» — «Потому, — совершенно спокойно объяснил солдат, — что мне не пристало хвастаться перед императором своими заслугами». Император рассмеялся. «Я делаю тебя имперским кавалером, — сказал он торжественно. — И тысяча франков ренты в придачу. Ты доволен?!» — «Нет, ваше величество, — сказал солдат, — мне этого ничего не нужно, а дайте мне крестик». — «Да у тебя и то и другое, — сказал император, — экий ты тупоголовый, старый друг... Ведь ты теперь кавалер, имперский кавалер!» — «Нет уж, извольте крестик», — твердил гренадер. Император сам прикрепил орден к его мундиру, и солдат успокоился...

«Прелестно, — подумал я, — какие нравы! Он гений не только в баталиях. Пусть там открытия в стратегии, здравый смысл и полет воображения, внезапность и точный расчет, и предвидение, и предошущение, и риск... Пусть так. Но старый солдат орет на него, требуя крестик за кровь, крестик, прости господи, орет, распаяя честолюбие, то самое, императорское, которое и у него в душе, орет, как орал маршал Ожеро, сын лакея и торговки, или великий Ней, отпрыск мастеровых, или престарелый маршал Лефевр, крестьянское дитя. Он

орет, этот старый гренадер, требуя почета, и меж ним и императором, меж низшим и высшим возникают незримые узы, свитые из общей их славы».

Что же меня оскорбляет? Эти узы меж ними?

По утрам прилетают редкие прозрачные серые хлопья смоленского пепла и впиваются во все живое. Потом на белой одежде отпечатываются крохотные их силуэты... Меня унизили в моем собственном доме! И страдания Франца Мендера, боюсь, вот-вот вспыхнут в моей душе. Когда б ты знал, мой гость печальный, как чист соблазн первоначальный!.. Я унижен. Минуй меня безумие, овладевшее покойным Сашей Опочининым. Ни в рот себе я не выстрелю, не иссохну в преддверии парадного обеда. Ни жестом, ни словом не выдам... Все там будем, кто раньше, кто позже. А вы, господа, отправитесь со мной, покуда еще август на дворе и небеса черны, в обнимку, господа, все вместе, и правые и виноватые, будь мы все неладны! Господь милосердный, ежели Ты всемогущ, вели нас высечь, забей шомполами и после, когда мы все соберемся у врат, толпясь, стеная и вина друг друга, Ты снизойди к нам... Стадо, стадо!.. Воистину стадо в лохмотьях, в коронах, позвякивающее железками, опухшее от самодовольства, от тупости... Забей нас шомполами!..

Мой гость сидит тихо. Он вглядывается в меня большими умными вечерними глазами.

— Во Франции, — говорит он, — солдат не бьют. Это запрещено...

Я киваю, а сам думаю, что у нас без этого нельзя. Иного и надобно. Встречаются такие рожи, что, покуда не ударишь, он понять тебя не сможет.

— Рабство отупляет, — продолжает интендант, — я видел множество ваших рабов. Они унылы и коварны. Они убивали своих господ и везли нам продовольствие. Я сам принимал у них хлеб и мясо, и они кланялись мне до земли, и я говорил им, выполняя инструкцию императора: теперь вы свободные граждане, идите и живите на своей земле. Она ваша.

Я вижу круглое лицо бедного моего Саши и на нем два его темно-золотых глаза, полных тоски и отчаяния, и на их дне, на страшной глубине, покоится обессиленное благоразумие. Господин Пасторэ покашливает, не представляя, как сложится его судьба. Он готов, подобно Шехеразаде, рассказывать поучительные французские легенды, стараясь смягчить сердце калужского рабовладельца.

— Это не рабство, — говорю я, — а многовековый союз. Вы все разрозненны, мы же объединены в семью (он улыбается и пожимает плечами). Убивают хозяев недостойных, мстят за произвол. Я не жалею на гармонию (он смотрит на меня с сомнением) и крестьян своих не продаю. — И цитирую чужим голосом: — Ведь крестьяне тоже любить умеют.

Цари существуют для того, чтобы рабы считали их виновными в своей участи, а рабы существуют для того, чтобы цари ощущали себя их благодетелями.

Он молчит. Может быть, презирает, может быть, жалеет, а может быть, ждет, когда же я наконец усажу его в телегу и отправлю по ночной росе к его наступающим братьям. То место моей былой ноги, та черта, за которой начинается деревяшка, то есть пустота, ноет.

— Будет дождь, — говорю я, и мне хочется спросить: «А что вы испытываете, старый человек, топча чужие огороды? Например, я совершал это, будучи молодым, ну, не старым, и меня обуревали счастливые предчувствия...»

— Разболелась старая рана, — вдруг говорит он, — не будет ли дождя? Императора это всегда огорчает. Грязь. Колеса вязнут.

— А вы благоговеете перед ним, — говорю я, — мне это знакомо.

— Я обожал его, — говорит он шепотом, — теперь я ему верно служу. Раньше всё, что он делал, он делал для Франции, теперь — для себя. Он и теперь кумир для войска, но прежде! В прежние времена за одну его улыбку шли на смерть. Его приказ звучал как глас судьбы, гибель по его слову, ради него почиталась за добродетель, жажда славы мучила нас, собачья преданность ничто в сравнении с тем, что распирало наши сердца... Стариков осталось немного, но еще есть «ворчуны». Он брал солдата за мочку уха и говорил: «Ах, старый друг, ты был великолепен в атаке!» И это было как орден. И солдат не сомневался, что император в тече-

ние боя наблюдал только за ним, и у вояки кружилась голова... А генералы?.. О, мой бог, однажды в Австрии в разгар боя к нему подскакал генерал Мутон с донесением. Он начал было докладывать, но император прервал его: «Кстати, Мутон, возьмите эту колонну и выбейте неприятеля из города Ландсгута, это изменит общую картину сражения...» Генерал тут же спешился, и я сам видел, как он бросился по мосту, возглавляя колонну гренадеров. Бой был трудным, и Ландсгут пал. Генерал в разорванном мундире приблизился к императору и как ни в чем не бывало продолжал докладывать с прерванного места... Кстати, — продолжает он почему-то шепотом, — русская армия гораздо слабее нашей, даже нынешней нашей, ибо она сословна по прусскому образцу, это старый образец. Бездарность ходит в командирах, лишь бы над ней сиял дворянский нимб... тогда как у нас в командиры выходит талант, даже если он сын лавочника или шлюхи. — Он снова умолкает, глаза его тускнеют. Затем он выдавливает с трудом: — Но кампания нами проиграна...

И Кузьма не выдерживает: с простодушием дитяти, изумленно, с легким отвращением обнюхивает господина Пасторэ, пораженный, видимо, моим негенеральским поведением, когда бы мне следовало проткнуть противника шпагой, или застрелить, или выбросить из окна, или по справедливости передать его Кузьме с братьями и сестрами, чтобы они могли поучить его на веки вечные... Все заглядывают в комнату поочередно. Я не мешаю.

Вот так в течение веков мы единоборствуем друг с другом, и интендант Пасторэ предстает предо мной то в монгольском обличье, то варягом, то турком... И уже нет живого места на нашем теле, и от потребности преобладать можно задохнуться. Кровь наша давно перемешалась, ведь она стекала в одни поля и одни русла. Мы братья! А вот столетия не излечивают от коварства: стоит нам разойтись на пятнадцать шагов после доброй беседы, как мы вновь готовы к поединку... Я унижен в собственном доме! Унижен со дня рождения! Мои кумиры оскорбили меня!..

Гляжу на часы. За полночь. Звоню. Никто не является. Мой гость вперил в меня насто-роженный взгляд. Я киваю ему утешительно.

— Ну как их не сечь! — говорю я.

— Да, трудная работа, — говорит он, — слуг надо лепить долго, а это трудная работа. — И спрашивает хриплым шепотом: — Вы в самом деле намерены меня отпустить?

— О да, — говорю я. — Ночь черная, и скоро вы отправитесь.

Он смотрит на мою деревяшку, качает головой и грустно улыбается.

— Аустерлиц, — говорю я... Он складывает руки на груди.

— Я был там, — говорит одними губами. — Уже после всего, когда все это уже произошло и черные фуры подбирали убитых, а я еще не умел обобщать и сомневаться, тогда у Зачанского пруда...

— Где?! — почти кричу я пронзительно и строго, словно лжецу. — Вы были там?!

— О, мой бог, — выпаливает он скороговоркой, — я был там, но если это вас огорчает...

Я смотрю на свою деревяшку, приспособленную мне медиками в лазарете, удобную и родную теперь уже до конца дней, провожу ею по полу, как по льду Зачанского пруда, по которому я бежал впереди своего полка, куда меня не начало возносить в небо, и так плавно, так волшебным, что не хотелось открывать глаза...

— Я шел за императором в свите, — продолжает он, — лед на пруду был разбит, и на плавающей льдине, представьте, в центре пруда лежал раненый русский офицер. Он стонал или звал на помощь, не помню. Император слегка кивнул в его сторону, и тотчас два его молодых адъютанта скинули одежды, вошли в эту страшную воду, подплыли к льдине и погнались ее к берегу... У раненого была раздроблена нога...

— Какие отчаянные молодцы, — говорю я как ни в чем не бывало, — и только потому, что он слегка кивнул?.. — И пальцы начинают дрожать.

— Один из адъютантов скончался от воспаления легких, — говорит интендант и не сводит глаз с моей деревяшки, — офицера, а это оказался генерал, отдали вашим медикам. Затем, как я слышал, русские забрали его.

Император кивнул — и судьба моя решилась! Счастливая карта... А ведь кто-то все-таки пекся об сем и, продумав все варианты, выбрал этот. И два молодых адъютанта с горящими взорами кинулись в ледяную воду, а я поплыл, не подозревая, какой пасьянс разложен провидением, я плыл и плыл.

— Это были не вы? — шепчет господин Пасторэ. — Не вы? Не вы?

— Нет, — говорю я легко, — было бы слишком примитивным стать должником вашего императора, вот так воскреснув по его кивку..

— Но почему? — удивляется он. — Ведь это же почти знамение!

— Нет, — говорю я, — другому повезло, что делать?.. Не забудьте, сударь, что я пригласил вашего императора. Здесь будет отличный обед и отдых. Я его восхищенный ученик. Не забудьте.

Господь милосердный, я уже направлялся к Тебе на этой льдине, но они спасли меня. Они спасли меня на свою погибель. Император мог бы пройти мимо, и я бы плыл к Твоим вратам. Он мог бы миновать Зачанский пруд, и я бы плыл, кружась вместе с зеленой льдиной и приобщаясь к свиданию с Тобой!.. Так, значит, я его должник и все мое предприятие — лишь пошлое коварство, которого не искупить даже собственной гибелью? Зачем же Ты велел императору кивнуть? Я бы плыл, плыл, больше уже не помышляя о сведении счетов, бездыханный славянский воин, уже не опасный, не способный ни на месть, ни на благородное великодушие... Зачем Ты спас меня?! А если спас, значит, я избран Тобою...

Пока писал все это, перо хромало, как я сам, погнулось. Зову Кузьму, черта, дьявола, чтобы дали мне валерьяновой настойки и чтобы не ложку, а стакан! Выпиваю, хватаюсь за перо. И это гнется. «Надо бы обождать», — учит Кузьма. Чего мне ждать, Кузьма? Каких еще наслаждений?.. Мне надо дописать все это для Тимоши, ежели ему не уготован свой лед... Нет, господин Пасторэ, это был не я, не я!..

...1. Наполеон Бонапарт действует всегда сосредоточенными силами. По примеру древних греческих и римских армий (Александр, Цезарь...).

2. Объектом действия своей армии он всегда ставит живую силу противника, а не крепости. Если главные силы разбиты, то крепости сами сдадутся.

3. Он всегда стремится к одному большому сражению, которое сразу решает участь войны...

Ивашково, близ Гжатска, сего 19 августа

Сейчас получил, любезный Николай Петрович, Ваше письмо от 8-го сего месяца. Число отправления его несколько давнее по причине наших быстрых отступлений. С сегодняшнего дня займусь судьбой Тимофея Игнатьевича по устройству его в мой полк. К тому сроку, как все устроится, надеюсь, что он прибудет. Могу уверить Вас, что ему не стыдно будет носить мундир 6-го Егерского полка. У полка, слава богу, репутация безупречная и заслуженная: он получил известность в Италии под начальством князя Багратиона, я имел честь командовать им в Молдавии и был свидетелем его действий, а теперь он покрыл себя славой под Могилевом и Смоленском. Я тем откровеннее говорю об этом, что не я им командовал в последнее время и что это голос всей армии. Впрочем, как Вы хорошо понимаете, Ваш племянник будет при мне, а остальное пойдет своим чередом. Сегодня же принимаю относительно этого необходимые меры.

Прошу простить, любезный Николай Петрович, что мало пишу Вам сегодня, но мои занятия едва оставляют мне время беседовать с теми, кого душевно почитаю.

*Признаюсь по совести, что о Вас часто вспоминаю, ибо отсутствие Ваше в армии очень заметно. Надеюсь, что Вы в добром здравии и все так же насмешливы.
Остаюсь Ваш верный товарищ, любящий Вас*

граф де Сен-При.

Вот, господин Пасторэ, продолжение нашего спора. Вот граф Сен-При, российский дворянин, пусть не по рождению, а по душе. Как же не ему командовать, ежели он верх совершенства? Нет уж, лучше пусть дворяне, чем дети лакеев и шлюх, как вы выразились. Конечно, и среди дворян есть экземпляры, которым не то что командование, но даже себя самих доверить нельзя. А среди остальных — и храбрость, и благородство, и образованность, и понятие чести... Пусть дети лакеев сначала читают книжки, но так, чтобы впоследствии не выстрелить себе в рот из пистолета, начитавшись и придя в отчаяние.

Как я поступлю, ежели некто с холодным сердцем и пустым взором оскорбит мое достоинство? Я пристрелю его на поединке, чему в моей жизни бывали неоднократные доказательства.

...Прощай, Титус! Будь славным корнетом, благородным и храбрым. По кивку императоров в ледяной пруд не лезть спасать французского генерала, пусть он себе плывет на зеленой льдине, куда ему назначено... По мановению императора не лезть, а по мановению собственной души — хоть в пекло, хоть в черное августовское небо!

4. Гречневая каша. Зерно к зерну. Сколько их, ароматных, граненых! Ежели высыпать их из чугуна, к примеру, на большой лист бумаги, они зашуршат и рассыплются, будто сухие. Ах, вовсе нет, они мягкие, горячие, переполненные соком и паром, вобравшие в себя ароматы лугов, июльского полдневного зноя и вечерних засыпающих цветов и соки росы... Привкус грецкого ореха ощущается в этих зернах. Гречка!.. Кушайте, мои учителя. От черной каши лица становятся белы и холены, а в душе пробуждается милосердие...

...Ариша с другими девками полы натирает, лакеи свечи меняют. Спрашиваю, как в ту-мане: «Зачем же по всему дому свечи меняете? Гости только в зале будут». Они отвечают, мол, так велено, чтобы, ежели свеча оплыла, заменить, вы, мол, сами так велели, так уже заведено, эвон оплыли как...

Мной самим так и заведено. Когда я это заводил, разве я знал, что нас ждет всех вместе с этими свечами, с этими полами? Тогда казалось, мир стоит на трех китах неколебимо, а киты взяли и струнулись! А эти, воистину рабы, не знают и меняют свечи, когда нам гибель суждена. Трут, трут, наводят лоск, как в давние годы. Но в давние годы я был молод, и дерзок, и самонадеян, и в Варвару был влюблен, ах, да и до Варвары; представить себе не мог своего ничтожного одиночества, именно вот нынешнего, вот этого одиночества в окружении заискивающих холопов. «Кузьма, старый черт, где мои доспехи?!» — «А вот тутотка, барин, сей же час, сей же час...» — «Что сей же час?.. Чего ты мелешь? Ты хоть понял, что я требую?» — «Никак нет, барин, виноват...» — «Так какого черта ты суетишься?» — «Больно грозно велите, сразу-то и не ухватишь...»

Вот так. Впрочем, скоро мы все отправимся по одной дороге в молчании, без чинов, без воспоминаний, вперемежку. Бонапарт и Кузьма, Лыков и Мюрат, я и Федька с кларнетом, ровным шагом, отныне никогда больше не уставая, не заискивая, не спрашивая пути, к Лете бездонной, к безъязыкому Харону...

Велел Арише идти за собой. Пошла, на ходу руки о подол утирая. Тихая, покорная. Где ее недавние надменности? Вскрабкались по первой лестнице. Она молчит. На второй я говорю: «Ну что, Арина, скучаешь по Тимофею Михайловичу?» — «Скучаю», — говорит откровенно. «Он ведь своенравный был, Тимоша, не правда ли?» — «Ваша правда, барин». Мне все

хочется узнать, было у них что или не было. «Наверное, он и тебя целовать пытался, а, Арина?» — «Целовал, а как же», — говорит она тихо и просто, как об утреннем кофе. «Часто?» — спрашиваю, задыхаясь от подъема. «Часто, — говорит она, — где встретит, так и целует». Мне бы раньше ее об этом спросить, а после Тимоше пригрозить пальцем... «Любил он тебя, что ли?» — «А как же, — спокойно соглашается она, — он еще маленький был, все со мной в жмурки играл, а покойница Софья Александровна ему говорили: мол, наигрался? А теперь поцелуй Аришу в благодарность... а после мне говорили: мол, спасибо тебе, душечка, за игру...» — «Нет, нет, — торопливо говорю я, — я не про то, Арина. Я спрашиваю: теперь, а не в детстве, целовал он тебя?» — «А как же, — говорила она, — целовал». — «Ну что, как мужчина тебя целовал, да?» — «А то как же?» — удивляется она...

Распахиваю дверь в Тимошину комнату, И мы входим. Все как было. И Арина стоит передо мной в белой холщовой рубаше, в старом сарафане из выцветшей крашенины. Вот эта целовалась с Тимошей как ни в чем не бывало, обнимала небось его, рабыня, шептала мальчику что-нибудь соблазнительное, наверное, несусветное что-нибудь, а теперь стоит, опустив руки, не понимая, что красива.

«Арина, — говорю я, — когда будет обед, мне понадобится хозяйка. Оденешься в господское, будешь сидеть за столом, улыбаться, распорядиться, как истинная госпожа, понимаешь?..» — «Воля ваша», — говорит она и краснеет и оттого становится еще красивее... Рабыне с высокой грудью, со светло-русой косой нельзя предстать пред гостями в простой рубаше, босой, в рубише этом сиротском, голову низко клоня... Она должна быть в господском и слева сидеть от меня... Я велю ей открыть сундук, где покоятся Сонечкины платья. Прости меня, Господи! «Это голубое наденешь сейчас, — говорю я, — а в этом белом выйдешь к гостям». Она берет эти платья и стоит, ничего не понимая. «Я же сказал, — объясняю я, — голубое сейчас наденешь. Снимай свой сарафан дурацкий!» Она глядит на меня с отчаянием и суетливо раздевается. Я отворачиваюсь, наблюдаю в окно Тимошины пейзажи и слышу, как шуршат шелка, потрескивает холстина, как молодая женщина за моей спиной тяжело дышит, охает, шепчет что-то, молится или плачет... «Будешь ходить в этом платье с утра и до вечера, — говорю я, не оборачиваясь, — а работать не будешь. Я велю, чтоб тебя слушались». — «Воля ваша», — говорит она, и голос ее срывается. «Сходишь в баню, Ариша. Я тебя к соседским дамам свезу, они тебе покажут, что да как с этими платьями, как причесаться, туфли и прочая дребедень... Завтракать, обедать, ужинать будешь со мной... Ну, готова ты?» Она не отвечает, и я думаю, что она умерла со страху, и оборачиваюсь.

Какая картина! Голубое платье фулярное точно по ней, будто в нем и родилась. Под ноги брошены холщовая рубашка и выцветший сарафан и грудятся там подобно грязной морской пене, из которой только что возникло это побледневшее создание. Губы закушены, прекрасная голова вскинута, как бывало, глаза полузакрыты, прохладный небесный шелк струится, облекая круглые плечи, высокую грудь, и только руки, вцепившись в расшитую золотом гирлянду на подоле, выдают ее ужас.

«А ну-ка поворотись, Арина». Со спины — госпожа, да и только... «Пройдись-ка, Арина, да медленно, медленно...» Походка плавная, крестьянская, только из-под подола мелькают грязные босые пятки... «Туфельки подбери, туфельки, — говорю я, — и все, что надо, слышишь? И в баню, в баню немедленно. Вели Лыкову приготовить. И шляпки подбери». Она оборачивается ко мне лицом. Ах ты господи, а это что же?! Это что такое?.. Руки ее теребят расшитую золотом гирлянду на подоле, красные руки рабыни с широкими запястьями, сильные, с потрескавшейся кожей, обветренные руки, которыми она обнимала Тимошу и отбивалась от назойливых лакеев... «Что это, руки у тебя красные какие?» — «А я их в молоке держать буду, — говорит она по-хозяйски, — перчаточки надену, как Софья Александровна носила». Умница. Проклятый интендант Пасторэ, осипший от страха французик, смел делать мне наставления и рабством укорять, не понимая, что лучше пусть это рабство, чем их кровавые бесчинства и гильотины, их пугачевщина, анархия французская... «Ну-ка, Арина, улыбнись, сударыня». Она показывает белые зубки.

Перед тем, когда все должно будет случиться, я велю ей незаметно выйти, сесть в приготовленную бричку, отъехать до развилки дорожной, откуда не видны Липеньки, и ждать меня. «Ежели не дождешься, не возвращайся. Скачи в Москву, что бы ни случилось. Вот деньги. Найди Тимошу или господина Мендера. С ними и воротись, когда время придет». И поцелую ее, прижмусь к губам, руки сведу на горячей спине... Впрочем, и Кузьму отправлю. Бог с ним. В вознаграждение. Там он мне не понадобится.

Утром вхожу в столовую. Стол накрыт. Кузьма прислуживает. «Где же Арина?» — спрашиваю я. «Арина Семеновна велели сказать, сей же час будут». — «Какие новости?» спрашиваю я. «Так что, сказывают, ден через семь гости туточки будут», — говорит он. «А в доме?» «Так что Арина Семенова, докладывает он, — Лыкову тростью наподдала бооольно...» Тут входит Арина, и я встаю и легким поклоном даю ей понять, что игра всерьез, и она говорит: «Бонжур, месье», — и протягивает мне руку в перчатке, и я, представьте, целую! «В чем же, Арина Семеновна, Лыков провинился?» — спрашиваю я. — «Говорят, вы его тростью, тростью?..» На ней все то же голубое платье, коса убрана, чепец кружевной, лицо прекрасно, но несколько утомлено, серые тени под глазами. Она намазывает масло на хлеб, чайную чашечку берет двумя пальцами, деликатно откусывает, медленно отхлебывает... «Он в баню подглядывал, хам, — говорит она, — я его тростью и поучила». Я смеюсь, а самому страшно. «Вы что же, — говорю, в баню с тростью ходите?» — «Нет, — говорит она и отхлебывает из чашечки, — я уж после, когда вышла, взяла трость, Лыкова разбудила, и все...» Прекрасно, прекрасно, думаю я, замечательно. Вот так, господин интендант, как холопов своих ни оденешь, цвета красного рук не изменишь и французский талант в нашей русской избе не применишь. «А что он?» — «Прощения просил», — говорит она спокойно. Кузьма стоит окаменев. Дом замер. «Что же у тебя лицо усталое такое? От битья, что ли?» — «Да я ведь ночь-то не спала, говорит она, — мылась, гладила, туфельки подбирала, перчаточки вот, чулочки». Позавтракали с богом. «Ну-ка, пройдишь еще раз, посмотрю», — говорю я. Она оборачивается к замершему Кузьме. «Ступай, Кузьма, — говорит ему, — я позову тогда». И идет вокруг стола. Рабыня чертова!

Рабы существуют для того, чтобы их ленью и нерадивостью можно было объяснять отсутствие благоденствия, а цари — для того, чтобы в глазах рабов служить единственной на благоденствие надеждой.

Какой-нибудь непритязательный, пропахший пороховой гарью бравый капитан ахнул бы при виде этой Евы и увез бы ее к себе в родовое, и обвенчался бы с нею, и, задыхаясь в ее прелестях, не подумал бы, наверное, размышлять над ее родословной... Будто наша добрая, развеселая, переполненная женственностью былая императрица не соблазнила самого Петра Великого, едва успев смахнуть (и даже не до конца) со своей застиранной юбки солону после утех с пьяными солдатами. А ведь злые языки говорят, что была она не в меру добра, великодушна и спесью не страдала... Мне нынче все равно. Я записал в завещании вольную Арине. Лети, птичка! Авось долетишь до заветных зерен, наклюешься, и тогда я тем утешусь и Саше Опочинину на тебя укажу: вот, мол, Саша, твоя боль и твои муки и до Липенек докатились.

«Ну, Федька, — спрашиваю я, — готовы ли твои музыканты?» Он встряхивает седой гривой, и на хорах рассаживаются его мастера. Посвистывают флейты, шалюмо, бубнят валторны, вздыхают фаготы.

Я велю накрывать большой овальный стол. Все как должно, как будет на том скором сытном недолгом последнем обеде. Последняя репетиция. Кузьма командует, Лыков командует, Арина в белом одеянии прохаживается по залитой солнцем аллее, вздымая зонт над головой; в белых атласных туфельках, в белых же перчатках, с диадемой на голове. Овальный стол покрыт белой крахмальной скатертью. Двенадцать приборов... На этом краю спиной к окнам буду сидеть я. По левую руку от меня — Арина. На противоположном краю — император Бонапарт, его лицо будет освещено заходящим августовским солнцем. Меж мною и им всего лишь шесть шагов, слишком недостаточных для поединка, но вполне пригодных для обмена мыслями. Рядом с Аришей посадим Мюрата пусть ей будет лестно соседство неаполитанско-

го короля. За Мюратом по порядку маршал Макдональд, затем маршал Удино, а уж за ним, рядом с императором, маршал Ней, сын безвестных ремесленников. С противоположной стороны, рядом со мной, то есть по правую от меня руку, мой противник под Диренштейном маршал Мортье, следом за ним Вандамм, затем Монбрен и Бесьер и, наконец, по левую руку от императора маршал Бертье... Посуда выставлена. Хрусталь играет. Простые радости жизни. Перед каждым гостем маленький сувенир от меня лично на долгую память, на дальнюю дорогу кисет из телячьей кожи, наполненный сухой горькой калужской землицей... «Позовите Аришу Семеновну», — веляю я. Она является без зонта. Бледна и строга. И садится по левую от меня руку. Наивные предположения — везти ее к Варваре. У рабыни и у самой все точно, все возвышенно. Боюсь, как бы Мюрату не пришлось с легкой радостью позабыть свой неаполитанский девичник!

Я киваю напрягшемуся Федьке, и торжественная «Жимолость» Холборна заполняет залу. Ливрейные холопы замерли вокруг стола. Кузьма и Лыков, оба в черных фраках, окаменели, готовые на подвиг. На мне мундир, эполеты сияют, все регалии как напоказ, шейный платок свеж и благоухают. Ариша глядит на меня с недетским интересом, даже с восхищением... Я поднимаю пустой бокал.

МОЯ РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В НАЧАЛЕ ОБЕДА

— Господа! Позвольте мне среди моих пенат восславить ваш военный гений. Я стар, господа, и нынче для военных упражнений не очень-то гожусь. Но в молодые годы, когда Вы, Ваше величество, начинали поражать мир батальным искусством, я был Вашим старательным и восхищенным учеником! Покуда всяческие зоилы злословили о скором Вашем упадке, покуда политиканы просеивали через сито все совершенное Вами, упуская главное, а оставляя горсть обычных человеческих слабостей, свойственных даже великим, и глумились над этим, я запоминал каждую Вашу удачу, каждую Вашу победу, потому что меня ослепляло сочетание риска, дерзновенности и холодного расчета, запоминал и думал: погодите, придет время, и мы ахнем, когда перед нами предстанет ожившее и еще более совершенное искусство Аннибала, Александра, Цезаря.

Как школьник, высунув кончик языка, я заучивал, запоминал, записывал, зазубривал Ваши живые лекции, и мои военные совершенства становились зрелыми, мой мозг обогащался, рука крепла, а дух мой приобретал силу и значительность. Настал наконец тот самый день, пришла пора держать экзамен, и господин маршал Мортье, досточтимый герцог тревизский, если он помнит, если Вы помните, Ваша светлость, внезапно остановились под Диренштейном и попятнулись и даже принуждены были отступить, с большим умением, но отступить! Если Вы, конечно, можете вспомнить подобную мелочь, то это я с моим полком ударил не в лоб, как это было ранее общепринято, а нацелясь на дальний, слабо защищенный фланг, где не предполагалась опасность, и я отбил у Вас двенадцать орудий и двинулся за Вами!.. Ваши пленные рассказывали, что у вас в штабе предположили даже, будто это целый резервный корпус совершил удар... Нет, Ваша светлость, какой уж там, к черту, резервный корпус... Его и в помине не было, а все мой полк! Успех наш был непродолжителен, но это был успех, рожденный из ваших уроков, господа. Мы учились медленно, трудно, но прилежно. Мой друг Багратион, отбиваясь в Альпах от наседавшего Массены, учился тоже. Кстати, где же маршал Массена, герцог Риволи, князь эсслингенский? Я был бы рад увидеть и его в своем доме...

Ваше величество, господа, войны будут всегда, и всякий раз, склоняясь над военными картами, полководцы не преминут обращаться к вашим великим теням, ибо, хотя Добро и Зло переплетены в военной фортуны, по прошествии времени для посвященных остается лишь чистое искусство. Не мне нынешнему, пристрастному и отставному, выносить свои приговоры, но только восхищение и признательность за суровые ваши уроки!..

Ариша царствует. Мои остолопы, ничего не понимая, глядят на меня с почтением и страхом. Пустой бокал мелко дрожит в руке. Отставляю его, но пальцы трясутся. И Лыков, проглотивший осинового кола, торжественно подает мне стакан с валерьяновой настойкой... И сквозь слезы, наворачившиеся мне на глаза, сквозь эту откровенную дымку прощания и ужаса перед предстоящим я вижу расплывшееся тучное тело господина Лобанова, изумленно застывшего в дверях. Как вездесущи эти калужские патриоты, собирающие обозы в дальние восточные края! Как не вовремя возник толстяк!

— Бонжур, месье, говорит ему Ариша.

Ты бы посмотрел, Титус, на его физиономию! Рот полуоткрыт, толстые щеки колеблются при всяком движении, в глазах тоска, недоумение и неприязнь к возникшей перед ним картине. Я киваю Федьке. Звучит увертюра Люлли.

— Напрасны ваши затеи, хрипит толстяк, не сводя глаз с Ариши. Бонапартишка пройдет севернее...

— Черта лысого, — говорю я. — Он пройдет здесь, и нигде более. Здесь дорога открыта, уж поверьте.

И это он говорит перед корсиканцем, прихлебывающим мои щи, и перед его маршалами, уже взявшимися за мешерского оленя. И это он говорит мне, готовому взлететь в черное августовское... Оставьте нас, сосед милейший, с бездарным юмором своим: один неверный знак малейший, и все рассеется как дым! Сколь влезет вам, врагов порочьте, а надо мной суда не прочтите. Чем здесь топтаться у дверей в эвакуацию скорей!..

— Не мешайте, сударь, — говорю я ему, — нам предстоит дальняя дорога. — И рукою обвожу стол. — Нам нынче не до ваших предположений.

Он дико смотрит на Аришу. Она царствует. Федька машет руками на хорах, и визгливые звуки флейты-пикколо начинают господствовать в поднебесье. Я лихо выпиваю еще стакан валерьяновой настойки. Ранние сумерки возникают за окнами. Последние блики света упадают на стол, и золотая стерлядь вспыхивает на мгновение и гаснет.

— Ну, Ариша, шепчу я ей, толстяк совсем свихнулся.

— Вам бы отдохнуть, — говорит рабыня, — вон как руки-то дрожат.

— Вся губерния гудит о вашей безумной затее! — выкрикивает от дверей Лобанов.

— Вас осуждают за предательство... — И не сводит глаз с Ариши. Я гордился соседством с вами, а вы хоть и генерал, хоть и тех же щей — да пожиже, оказывается, пожиже! — И он смеется с отвращением.

В иные дни пощечина такому гренадеру не помешала бы, и завтра мы все быстренько решили бы с пистолетами в руках, а нынче бог с ним, тайна дороже. Не могу же я, в самом деле, ради удовольствия оскорбить его, человека незлого, пожертвовать главным. И я пытаюсь вновь взять бокал в руки, но он не дается. Он, словно живое существо, отказывается от моих ненадежных пальцев. Флейта-пикколо захлебывается, напоминая о крови и развалинах, и лица моих гостей покрываются бледностью. Кто знает, что в мыслях у них? Что в памяти, отвыкшей хранить картины живой, трепетной жизни? Приготовились ли вы, господа, вместе со мною — в обнимку, в обнимку — туда... Туда?..

Лобанова уже нет. Оркестр умолк. Лишь звон бокалов, да звяканье вилок и ножей, да не слишком деликатное солдатское сопение. И мягкая горячая рука Ариши в белой перчатке ложится на мою трясущуюся руку... Вот новость!

— Ну что, Арина Семеновна, — говорю я, — как будто все идет хорошо?

Она улыбается мне и гладит мою руку...

Император слегка посоловел. Он откинулся на высокую спинку стула. Его большие карие глаза теряются в сумраке.

— Свечи!.. — велю я.

Зажигаются свечи, но так, чтобы хрусталь на столе сиял и переливался загадочным пламенем, а пятна на белой скатерти были бы затенены и чтобы мы все, поблескивая орденами и эполетами, с помертвевшими от сытости и славы лицами изготовились к долговому маршу по

небесным просторам... Стол колеблется, словно льдина на Зачанском пруду. Рука моя спокойна и холодна. Я поднимаю бокал.

МОЯ РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В КОНЦЕ ОБЕДА

— Ваше сиятельство, господа! Имея счастливую возможность размышлять на досуге о своей почтенной деревяшке, я понял уже давно, что в недрах самого горчайшего разгрома на поле брани зарождается самая сладчайшая из побед, во чреве которой, к великому прискорбию, уже созревают ростки будущего поражения. И так всегда. Поражения злопамятны, победы мстительны. Что стоит великодушие к тысяче в сожженных храмах! Самодовольство победителей и отчаяние побежденных — два ручья, впадающих в одну реку... — Я киваю Федьке.

Одинокий гобой пронзает наступившую тишину, затем к нему присоединяются три других, затем душераздирающие голоса кларнетов и тяжелые глухие удары большого барабана.

— Наша жизнь, господа, короче честолюбивых надежд, и потому мы забываем о возмездии. Но на узком пространстве меж дьяволом и Богом успевают отпечататься следы наших сапог, и конских копыт, и орудийных колес, и крови... Что же дальше? Дальше-то что? Я никогда не спрашивал себя, топчя чужие огороды, а что же дальше. Нужно было упасть на лед Зачанского пруда, чтобы подумать об этом.

Император не помнит о ничтожном давнем пустяке, но плачущий хор гобоев и траурные выкрики валторн усиливаются. Бокал выпадает из моих пальцев.

— Ах, кричит Ариша. Да что с вами, Николай Петрович, родименький!

В общем, я все сказал... Бокал разбит. Рабыня плачет и руки целует господину.

— Ну что? — спрашиваю у Кузьмы.

— Красииво, — говорит мой завтрашний спутник.

Затем я, видимо, скажу, что у хозяйки, мол, разболелась голова и что я, мол, должен ее проводить, покуда гостям будет подаваться десерт. Я тотчас же вернусь, господа, и мы выпьем еще на посошок, на посошок...

Остальное — дело несложное. Фитиль к бочонку, и все...

А может быть, моя душа, как учат индусы, и впрямь оживет в каком-нибудь новом облике? Но где же тому подтверждения? Верю в загробную жизнь, но это вовсе не означает, что она для меня привлекательна...

...Продолжаю о Варваре.

— *Et se que* вы приехали *vous marier avec elle*?¹ — спросила старушка.

— Да на ком жениться-то, сударыня? Нет же никого, — сказал я.

Она пожала плечиками и по-мышинному засеменила прочь от меня. Я вознамерился, плюнув на все, бежать из этого гнезда, но разве убежишь от того, что рядом, что в душе, что сжигает? «Еще одна попытка, — подумал я в отчаянии, ежели эта женщина создана для того, чтобы испытать мое терпение. О, Варвара! Покорных горлиц пруд пруди, а эту природа вытаскивала с тщанием, высунув кончик языка, утирая пот, задыхаясь от вдохновения. Она вложила в нее душу загадочную, своенравную. Это не усталая, понурая олениха со слезящимися глазами». Так подумал я и почти бегом воротился в гостиную. Никого не было. И тут же вошла Варвара. Вошла и села в кресло и устала в меня.

— Вы торопитесь? — спросила спокойно. Почему вы вскочили? Сядьте, мой генерал, и давайте все обсудим.

— Что же нам обсуждать? — сказал я обиженно. Я ничего в толк не возьму: вы исчезли куда-то, я вынужден был объясняться с вашей тетушкой... Прошло два часа. Я вас жду, ничего не знаю...

¹ ...вы разве не жениться?.. (фр.)

— Вы разве приехали, чтобы узнать, почему бубенчики на ветке звенели? — спросила она строго. — Я хотела все вам сразу сказать, но сразу у меня не получилось. И вот я пошла обдумать, мой милый генерал, как мне все сказать вам. Сначала я решила, как это водится, начать издали, как принято у нас, ну, подумала, начну издали, с бубенчиков, — и усмехнулась, — а там дальше, дальше, слово за слово... и доберусь до главного. Она помолчала и спросила: Вы меня любите?

— Кто? — спросил я по-дурацки.

Она вцепилась руками в подлокотники, закусил губы, глядела прямо в меня. Стояла такая тишина, что было слышно, как где-то в доме Аполлинария Тихоновна, словно серая мышка, шуршит и скребется.

— Все так сложно, — посетовала Варвара, я хочу вам сказать, что вы мне нравитесь, то есть вы мне подходите, мне приятно вас видеть, и я совсем измучилась одна. Конечно, вы можете это воспринять как блажь, или капризы, или фантазии взбалмошной барыньки, но возьмите в расчет, как быть? Ездить на московские балы или, того пуще, — на калужские, чтобы найти себе пару? Это же унизительно, да? Предположим, я воспользовалась услугами родственников, наострила всяких свах, допустим, но ведь это тоже уже последнее средство, просто умереть, и все? Ну, хорошо, ко мне ездят вздыхатели, как это бывает, но они либо чудовища, либо расчетливые льстецы, у меня ведь кое-что есть. — И она обвела рукой пространство. — Молодая богатая дурочка с большими глазами и с маленьким опытом, да? Но вот я встречаю вас и вижу, что вы мне подходите. Мало того, вы еще, ко всему, и любите меня!..

— Да, сказал я, холодея, — что-то произошло...

— Но главное впереди, — перебила она, — главное удручающее, милый генерал. Когда мы с вами столкнулись тогда из-за всяких батальных предметов, я вздумала вас подразнить немного, и это не со зла, а, напротив, из расположенности, чтобы как-то приблизиться... Ну это не совсем кокетство, а скорее сигнал: умный поймет, почувствует, запомнит... и заедет спросить, почему бубенчики оказались на дереве... Впрочем, может быть, и кокетство, женское дело, да суть не в этом... А потом я поняла, и нельзя было этого не понять, что вы влюблены в меня. Конечно, подумала я, это от пороховых дымов, от одиночества, от тоски по живым людям, да и почему бы в меня и не влюбиться? Я не дурнушка, она говорила все это без улыбки, будто выговаривая мне, — не глупа и молода еще, и все такое, все такое... И вот, когда я подумала, что вы мне подходите, из всех вы мне подходите, я ужаснулась... Конечно, мы могли бы превосходно устроиться с вами: вы меня любите...

— Я обожаю вас, — сказал я громко.

— ...Вы меня любите, я выбираю вас в кумиры, никаких свах, не так ли? Никаких сводней, никакого лицемерия, союз? Прочный честный союз до конца, союз двух умных, благородных, высоконравственных людей, не правда ли?... И вот тогда, получив все это, вы наденете мундир и отправитесь размахивать саблей, пить жженку, пускать кровь себе и другим, а я, мой милый генерал, не из тех, кого возбуждают военные оркестры, звуки флейт и барабанов, и я не маркитантка какая-нибудь... И вдруг произнесла властно и отчетливо: — У меня должно быть много детей.

— Каких? спросил я, еще пуще цепенея. Я был повержен, как ни разу в жизни, но она не торжествовала. Золотистая шаль, словно живая, все время была в движении: то сползала с плеч, то обвивалась вокруг шеи, то стекала почти до самого пола, поблескивая. Мундир на мне был холоден, как из железа, шейный платок душил. Впервые вдруг мое гордое военное одеяние показалось мне отвратительным, смешным и лишним и даже злонамеренным; мои ранние редкие благородные седины — ничтожными; я сидел в кресле, маленький, испуганный, сухонький, еще не потерявший надежд, но близкий к отчаянию. Союз, который она мне предложила, казался недостижимым блаженством. Я буду носить на руках эту будущую царицу, и одно прикосновение к ней, наверное, воскресит меня! Так думал я, примериваясь в полубреду кинуться пред нею на колени, целовать ее ручки, пока она не успела нафантазировать

еще чего-нибудь... В этот момент отворилась дверь, и Аполлинария Тихоновна проскользнула по комнате к столу, опять почему-то прикрываясь ладошкой, кивая нам дружески и поощрительно. Она принялась лихорадочно снимать нагар со свечей... Какой нагар? Почему это?

— Что вы делаете? не очень любезно спросила Варвара. — Ступайте, ступайте... Кто вас звал? Ступайте же!

— *Oui, oui, tout de suite*, суежилась мышка, празднично улыбаясь. *Notre général est si beau!* Какой высоченный, бравый... вышагивает, ровно Петр Великий, даже половицы скрипят... Ты, Варенька, обрадовалась, когда они вошли... Щипцы в ее прозрачной ручке посверкивали, позвякивали. *Que vous êtes gentils à voir!*¹: ровно два голубка...

— Ступайте же, — сказала Варвара грозно, — Николай Петрович у меня по делу.

Мышка юркнула к двери и уже оттуда, исчезая, спросила сокрушенно:

— Такой молодой, видный, *aller à la guerre*² иттить?

Дверь затворилась. Варвара рассмеялась невесело. Все стало как-то проще, мягче. Турман рассеялся. Союз наш будет крепок и сердечен. Уж ежели она так решила, то так тому и быть, и, как говорится, никакие силы... О Варвара, мы свободны, и мы нужны друг другу, и на мундире свет клином не сошелся... И тут я в ослеплении уже был готов сорвать с себя эполеты и швырнуть к ее ногам — в подтверждение прочности нашего союза, ибо он не рукотворен, внушен свыше, он от Бога... И мы бессильны что-нибудь изменить... от Бога этот союз... И тут я подумал, оторопев: «Какой союз? Почему союз?..»

— Я люблю вас, — сказал я, — я выйду в отставку. Вы же видите... — Я вскочил и шагнул к ней: — Все для нас, вы же видите...

— Нет, нет! — вскрикнула она и отгородилась шалью. — Погодите, сядьте. Я не сказала главного... Одинокой дуре в двадцать шесть лет пора бы одуматься и устроить, как это говорят, свое счастье. Почему же я так все запутываю? Мучаю и вас и себя... Довела себя до того, что пальцы дрожат, взгляните. — И она протянула ко мне руки.

Из-под золотистой шали выпорхнули две руки, белые даже в желтом тусклом озарении чающих свечек, десять спокойных пальцев, длинных, прижавшихся один к одному, по-столичному холеных, не обезображенных уездной неприхотливостью, приученных к перу, перелистыванию страниц и клавикордам. Даже самые опытные и изощренные ведьмы бессильны достичь подобного совершенства. Эти белые женские пальцы, от которых исходило мучительное тепло, застыли предо мною, и даже легкая дрожь не колебала их.

— Вот видите?.. И смутилась. — Впрочем, сейчас не очень, а бывает что-то ужасное. — Она быстро и неловко убрала руки, по-прежнему не сводя с меня глаз. — Я вот что хотела вам сказать: я стараюсь быть предельно откровенной, чтобы вам потом не пришлось корить себя, или, того пуще, меня, или весь мир, — она усмехнулась устало, — как это иногда бывает в позднем отчаянии... Разумеется, все, что я говорила о нашем союзе, я говорила всерьез и голову почти сломала, размышляя об этом, но есть один человек на этом свете, более, чем вы, одинокий, отчужденный от мира, с искаженным воображением, затворник, обиженный судьбой... — Глаза ее были уже совсем огромны, неправдоподобны.

Тут я по-генеральски резко поднялся, теряя сознание, и отчеканил, не помню, что-то, кажется, вроде того, что она вольна в своих приверженностях, что я ценю ее искренность, хотя, конечно, эти долгие откровения могли бы быть покороче и вразумительней, и вообще стоило ли развешивать бубенчики по веткам: мне скоро в полк, а там, знаете ли...

— Сядьте, — приказала она, — я не договорила.

И я сел, представьте. И оттого, что она так сказала, а не проводила меня, подобие надежды зашевелилось в душе. Свечи догорали. Сонечка ждала меня в тревожной лихорадке. Мир рушился, а я вновь сидел в чертовом кресле, вместо того чтобы бежать из этого дома, от этой холодной, расчетливой, вздорной эгоистки. Мне слышались призывные звуки труб...

¹ Да, да, сейчас выхожу. ...Наш генерал такой красавец!.. Как мило на вас смотреть... (фр.)

² ...неужели вам снова на войну?.. (фр.)

Мой полк готовился к походам, от зимних отупев квартир, поближе к солнечным погодам он выступит... А командир, погрязший в этом диком кресле, сидел, раздавленный судьбой, единоборствуя с собой, с надеждой жалкою: что, если...

— Я думаю не столько о себе, — продолжала она безжалостно и властно, — сколько о вас. Наш союз с вами (будем называть это так) — не фантазия. Я даже предвижу его восхитительные преимущества в будущем, поверьте. Тут и я увидел их в пламени догорающих свечей. — Тем более что этот человек — кладезь неисчислимых пороков, отвергающий мое внимание, пренебрегающий мной... — Надежда во мне разгоралась пуще, я даже позволил себе подтрунить над собой, над тем, как я вскочил с кресел и понес всякий салонный вздор, притворяясь не потерявшим мужества. Что же делать? — вздохнула она. — А кроме того, он оскорбил меня однажды... Впрочем, это все лишнее...

— О чем вы мучаетесь? — сказал я бодро и покровительственно. — Утешьтесь, утешьтесь. Вы еще встретите в вашей долгой жизни множество чудовищ почище вашего. Не тратьте себя понапрасну, мы еще...

— Но он нуждается во мне, — вздохнула она.

— Пустое это все, Варвара Степановна, пустое...

— Вы сильный человек, — сказала она шепотом, — с вами спокойно. Я устала от этих бурь...

Я понял вдруг, что наш союз обрел плоть, родился из ее усталого шепота, из всяких там житейских неразберих, из нынешней ночной метели предвестницы весны. Кинулся к ней и стал целовать ее руки. От них струился аромат зимнего леса... Она прикоснулась губами к моему лбу (я помню это)!

— Он же не любит вас! — почти крикнул я, задыхаясь. — Не любит...

— Не любит, откликнулась она, — в том-то и штука.

— Так отвергните его притязания! наставлял я. — Тем более что не любит. Гоните его прочь! Не унижайтесь... — И продолжал осыпать ее руки поцелуями...

Она внезапно отстранила меня, встала, подошла к окну и оттуда, почти уже невидимая, медленно проговорила мне, оставшемуся коленопреклоненным:

— Да, но я его люблю...

Как-то я все-таки поднялся с колен, оправил проклятый мундир, догадался как-то, что дело давно за полночь, что она по-прежнему дорога мне, что слов ее, словно высеченных на камне, уже не забуду... Вот так и помру.

Уже перед тем как выйти в метель, мертвыми губами приложившись к ее чужой ручке, я все-таки спросил:

— Вы оставляете мне надежду?

— Разумеется, друг мой, — сказала она, не сводя с меня своих громадных глаз, о да, да!.. Я только хотела, чтобы вы знали обо всем, чтобы у вас не было... Он меня презирает до любви ли тут?.. Однако я хотела сказать вам... что если однажды он сделает вот так, все перевернется... — И она сделала своими белыми длинными пальцами движение, будто поманила.

И тут я понял, Титус, что глаза у нее громадны от ужаса перед загадками жизни, которых она не властна разрешить...

Батюшка Генерал

Всемиловитый Николай Петрович!

Ваше Превозходительство!

Лехко ли, что более счастье Вас не буду иметь видеть, но надежда оставляю и хочу Вас благодарить за все Вашей милостей и лаской. Дай Бог, чтобы вы были здоровие и благополучие зо всею своею фамилия. Мой историшески момент приближает, и ни какой Кутузофф и никакой другой сила не может меня спасти от Божий пред-

назначений. Однако я не плачу, а przygotowляюся с честью исполнять свой долг. Мне стукнул 37 лет, и я уже не есть маленький дурашок. Все понимайль.

Мы устраивались Вашем доме отшён карашо. Кухарки, лякей, форейтор и все протиие люди живут змирно и делают звой дело. Но вот что не карашо: из Москау всяк бежит на разные сторона, продукты из лявки доставать дорохо, а что мы привозиль з собой пока есть. Тимофей Михайлиш полючил горяшка и наш друх дохтор Ваусе его карашо опекайт.

Милостия Божия надеюсь, кагда Тимофей Михайлиш становится карашо, он и всея люди успевают уехать Ваша Ризанский Хлопуша, подалей от Французски враг. На что теперь Москау похож сказать не смею, хотя уже не малой время прошло, и взякой день на нее гляжу, а бес злезы глядеть не могу.

Один французски актрисе Бигар молодое красотка и веселушка взякой ден навещает Тимофей Михайлиш и носит шоколатт. Тимофей Михайлиш любит женски ласка, и его здоровий надеюсь полютчиет.

Когда наступаает мой Главный День, я беру Звятой Хрест и иду прямо на французски войско, и пуств меня убивайль, но Розия пуств оставляль в покое, как тогда около Голлабрунн Вы вспоминайль?

Озтаюсь Вам премного благодарны за вся Ваша милостея

Франц Мендер.

...Ходим с Кузьмой по Липенькам грусть и запустение. Ни одной живой души. Все живое ныне, наверное, уже приближается к рязанским угодьям... А Липеньки родимые мертвы. Молчаньем грустным веет от Протвы. Ни баб, ни мужиков своих не встретишь и на поклон поклоном не ответишь. Не верится, что близко до Москвы!.. Ржаной сухарь в солдатском претет ранце. Прощание нейдет из головы, все разговоры лишь о корсиканце... о засранце!

Внутренний карман моей поддевки оттянут пистолетом — мало ли что... Кузьма шествует на полшага за мною. В крестьянском кафтане, в сапогах и кожаном картузе. «Ты что же, Кузьма, в крестьянское вырядился? — спрашиваю я. — Не мог дворовое надеть?» «Так что, ваше превосходительство, таперя все едино...» Пожалуй...

А его отправлю с Аришей, отправлю. И Тимоше польза будет.

Мы люди старой закваски, и новых веяний мы не понимаем, вернее, понимаем, но разумом, а не душой. Не представляю, как смог бы выдавить из себя: «Кузьма, подайте мне валерьяновой настойки, пожалуйста...» А ведь Сонечка говорила: «Кузьма, принесите, пожалуйста, шаль, она в гостиной на кресле», «Феденька, сыграйте, бога ради, ту пьеску. Помните, на Пасху разучивали?», «Ах, Степан, сегодня вы с обедом себя превзошли! Спасибо, дружочек...» Я был с тобою, Сонечка, но язык — инструмент упрямый, поворачивается по неведомой прихоти...

Стою на берегу Протвы. Она здесь уже. Недалече отсюда истоки ее, однако окуней и плотвы в ней!.. Мальчиком в жаркие июльские полдни входил в ее мелкую прозрачную воду, подав ручку гувернеру, мочил ножки и обратно, а хотелось нырнуть и плыть, плыть ловко, по-рыбы среди стебельков водяной травы, покачивая плавниками; хотелось, выпучив глаза, вглядываться из-под воды в испуганный силуэт гувернера... Вот так-то, противный!.. И слышать его заглушённые вопли: «Коко утонул!» Из-под водяного листа, топорща жабры, счастливо выкрикнуть только что выученное: «А вот хрен тебе!..» Ах, гувернер был добрым малым, когда в своем жилете алом и в светло-синем сюртуке со мною подходил к реке... А все ж с военной колесницы одним движением десницы не он мне жизнь вернул тогда на льду Зачанского пруда...

Здесь истоки Протвы. Протва исток моей жизни. Гувернер воспитывал во мне сочувствие к добру и старательно отвращал от зла. «Кузьма, куда впадает Протва?» — «В Окууу, ваше превосходительство». Дурак. Откуда ему знать, что она начинается здесь, затем течет по

Смоленской дороге, по европейским пространствам, притворяясь чужой, меняя имена, чиста и коварна, и кончается подо льдом Зачанского пруда за австрийским городком Кремсом?

Как быстро постарел, как неожиданно! Прозреваю. Вижу каждый стебелек, всякую травинку. Деревца хочется гладить по шершавой коре, приложиться к ней щекой, потереться, к цветам принюхаться какой аромат! Какие существа восседают среди лепестков, раскинув пестрые крылья! Раньше ничего этого не замечал, жизнь ведь была вечной, а нынче хромаю по берегу и все вижу, и все передо мной раскрытое, шуршащее, поющее, и все ради меня цветет, плещется, благоухает...

Господи, хоть бы поздняя осень стояла на дворе, снег с дождем пополам, голые деревья, гадость всякая, уныние, тоска, чтобы возненавидеть эту природу, с отвращением глядеть в окно, с ужасом соприкасаться с нею! Хоть бы обернулась ко мне иссохшей гнилой рожой, равнодушная, чужая!.. Легче было бы... Легче было бы!.. Так нет же, кажет свой солнечный лик, благоухает, опутывает прелестями, навеивает сладкие воспоминания, привязывает к себе, не отпускает, держит!.. «Жить хочется, Кузьма?» «А как же, ваше превосходительство, благодать какая!» — «Благодать? — спрашиваю грозно. — А Бонапарт?» — «Воля Господня», — говорит он. Лукав раб! «А мог бы ты, Кузьма, например, взять пистолет и застрелить Наполеона?» — «Да вить как к ним подберешься? Они вить одни-то не хоодят...» — «Ну а ты словчил бы, извернулся бы...» «Ваше превосходительство, гляньте, тучки пошли...» «Ты мне отвечай, смог бы?» — «Да вить они меня застреелят...» «Россию бы спас, дурак!» — «Слышал я, говорит Кузьма, — будто Кутузова ставят вместо немца нашего...»

Лукав раб! И я тянусь к нему за настойкой. Он достает фляжечку, откупоривает ее, подносит, и все по-денщицки точно, быстро, заглядывая в глаза и морщась от духа валерьянки, сочувствует... Но пальцы продолжают дрожать. Как говорил Эсхил: масло и уксус — две жидкости, которым не слиться. Не сливается с кличем победителей вопль побежденных.

Вернулись к дому по знакомой дорожке, где следы маленького Коко еще не совсем стерлись. Перед самым домом застали военный лагерь. Взвод драгун, не меньше. Молоденький офицер широко улыбался, выслушивая Аришины речи. Оборотился и пошел ко мне. Все так же улыбаясь, представился:

— Поручик Пряхин.

Блеклые северные глаза. Красные губы. Усталое желтое лицо. На сапогах грязь. На мундире соломинки. Молод и многоопытен.

— Ваше превосходительство, от батюшки своего наслышан о вас, мы тут из рейда возвращаемся, и решил завернуть, у меня с моими драгунами обычные походные нужды, если позволите... Кое-куда заворачивали уже, но нас не жаловали, да и вообще пусто...

— Кузьма, — сказал я, — всем баня и обед, и чтобы драгунам по чарке. Идемте, поручик. Вашего батюшку помню.

— Соколы, — крикнул поручик драгунам с радостью, ну вот видите? Потерпите еще самую малость! — И браво зашагал к крыльцу.

После бани мы пообедали втроем: я, Пряхин и Ариша. Молодая молчаливая красотка поручика весьма подогрела. «Взять да и сосватать, — подумал я, дам за ней тысяч шесть, пусть увозит...»

— У нас после того чуда, после тех фантастических денег, которые на нас свалились, — сказал Пряхин, — все обернулось вот как хорошо. Батюшка смог и мне, старшему, сельцо прикупить в Пензенской. Сто душ. — И он оглядел столовую. Хорошенький уютный дом господский, тоже с кабинетом...

— Вы женаты? — спросил я.

— Женат, женат, — засмеялся он и глянул на Аришу.

Она была царственна, как никогда.

— Теперь бы только выпутаться из этой истории, — продолжал он, потому что это постоянное отступление просто душу вымотало, уже нет никаких сил, просто вся армия унижена... И пообтрепались мы изрядно... Слава богу, ноги еще носят. Все с духом не соберемся,

бог ты мой, дать решительное сражение, почему это так, не понимаю; может быть, потому, что француз так силен, что никто решительно не знает, как давать это решительное... Хотя что значит силен? В отдельных стычках, в мелких, мы не уступаем. Вот вам и решительное сражение... Сначала намеревались под Смоленском, но это было смешно, с ходу, не продумав, ну и не стали, продолжали пятиться. Теперь встали у Царева Займища, позиция хороша, француз будет как на ладони, да вот беда, воды нет, а без воды пропадем. Вы согласны, ваше превосходительство? Только моим лошадям, считайте на круг ведер по двадцать в сутки, да и то это как мне рюмочка. И он засмеялся и поглядел на Аришу. А уж обо всем войске я и не говорю. Значит, опять пятиться. Наверное, придется. А пока дым коромыслом: копаем, укрепляемся...

— Значит, Москву отдавать? — спросил я, хотя, Бог свидетель, я это предвидел, предвидел: там единый кулак, а здесь разрозненные соединения, там единая воля, а здесь интрижки и сведение счетов.

— Бог ты мой, ну уж этого не должно случиться, — сказал он тихо, — мы все костями ляжем! (Кому нужны наши кости?) Это что же, значит, армию предать? И вообще все? Москву... Все надежды разрушить... Теперь, говорят, с Кутузовым дело переменится. Все, конечно, сгорают от нетерпения: все-таки Кутузов, и, может быть, перестанем пятиться, потому что если подумать, то француз ведь больше половины состава в пути растерял, а к нам подкрепления идут и идут; генерал Милорадович, например, уже в двух шагах с корпусом, да и вообще земля вокруг своя — это же преимущество? Как вы полагаете? Из Калуги и Тулы, например, идет ополчение, и, когда мы с моими людьми делали рейдик для рекогносцировки, сами видели, а из той же Калуги и Орла везут продовольствие, он засмеялся, — правда, провиантские начальники — все воры, почему так получается в такой момент?

Утром я молился о ненастье. Тучки набежали со стороны Протвы, а сейчас уже они напоззли сплошным покрывалом, обложили небо... От Царева Займища войска будут уходить, ежели совсем не ополоумели, будут отходить на Гжатск, а тут и Липеньки. Какое будет лицо у этого красногубого драгуна, когда над Липеньками взвоется черный дым и загадочные слухи поползут по ночным бивакам сквозь молочный туман...

— Получается странная картина, — сказал Пряхин, отставляя тарелку, по которой прошелся хлебным мякишем, — с одной стороны, сплошные выигрыши в стычках, с другой беспрерывное отступление. Вдруг выясняется, что французы совершили вероломное нападение: вы, конечно, знаете, что они напали вероломно, и все такое... Я понимаю, конечно, что это с их стороны бестактность, — он засмеялся, — но ведь война же! И вот, представьте, отступаем, маневрируем, сжигаем магазины, чтобы не достались врагу, такие запасы, что трудно передать! Бог ты мой, мы ведь шли от самого Петербурга в надежде, что при столкновении с противником устроим им баню, и дело с концом, ну, не баню, а просто исполним свой долг, но от Витебска как покатались, и начинаются такие картины: вечером на биваке счастливое известие, что Платов где-то там перед нами вошел в соприкосновение, потрепал дивизию и взял тысячу пленных. Кричим «ура». Утром просыпаемся. «Господа, быть наготове, скоро выступаем». Все наготове. Выступаем... но не против француза, не добивать его, а от него! Да как быстро! В иной день пятьдесят верст... И снова та же картина: «Господа, радостное известие. Кульнев опрокинул авангард, взял три тысячи пленных и десять орудий. Ура...» А утром все в седло... и в дорогу... И заметьте, что все цифры круглы, как наливное яблочко. Вот так, торжествуя, катились до Смоленска, потом до Вязьмы, теперь, наверное, и от Царева Займища покатаемся... Мы тут в рейде с моими драгунами надеялись столкнуться с каким-нибудь французским авангардиком: руки чешутся, да к тому же не по общей команде, а сами, сами. Кровь бурлит сил никаких! — И оборотился к Арише: Представляете, Арина Семеновна, что значит — у драгун кровь кипит? Она удостоила его благосклонным кивком. — Да какие авангардики? В одном лесу, тут неподалеку, наткнулись на землянки. Какой-то помещик Лубенщиков со своими людьми, тут и бабы, и детишки, и старичье, нарыли землянки, выставили караулы... Да, и скот с ними! Бог ты мой! Куры, гуси, овцы... Сам Лубенщиков — отец-командир, сам командует, сам сечет батогом за всякие провинности, сам грехи отпускает, просто

комедия. Я ему говорю: «Бога побойтесь». А он мне: «Я сам отставной поручик и свое дело знаю, а ежели их не держать в страхе, они меня и семью тотчас же изведут». Я ему говорю: «Война, сударь, опомнитесь...» А он мне отвечает: мол, не лезьте в чужие дела, а то воон нас сколько... И даже не покормил, барбос... Какие люди!

Пошел дождь! Мелкий, обложной, затяжной. Вот они, мои молитвы. Чего же теперь тебе не хватает, мой генерал? А все-таки ищу, словно таракан, какую-нибудь щелочку, высматриваю, надеюсь!..

— Кузьма, — сказала Ариша, — вели десерт подавать.

— Я так наелся, — засмеялся Пряхин, — я как только узнал, чья это усадьба, ну, думаю, здесь-то нас не обидят, здесь не только каша будет. Мы когда подошли к Смоленску и остановились в полуверсте от него, многие наши офицеры отправились в город, чтобы хорошенько покушать. Я же, болван, отказался, хотя и по серьезной душевной причине, потому что было грустно, что этот прекрасный город вовсе и не собираемся отстаивать и он тоже перейдет к врагу. Я остался в лагере, написал к батюшке моему письма, и тут воротились мои товарищи, начали меня корить за лень: мол, патриотизм не в том, чтобы хорошенько не покушать и прочее, просто стали требовать, чтобы и я ходил, город посмотрел, расхваливали обед, а особенно смоленские конфеты и мороженое, и я, конечно, не утерпел и на следующее утро отправился, и сразу же, первым делом, в кондитерскую Саввы Емельянова. И вздохнул: Но мне не повезло, потому что не успел я опробовать всего, что закупил, как забили генерал-марш, пришлось бежать, и через полчаса уже выступили. Прощай, Смоленск!.. Голод плохо, а сытость лучше? Мне теперь лень рукой пошевелить, а как же с французом рубиться? Бог ты мой, после бани и таких блюд только и спать где-нибудь в тепле и уюте. — И оборотился к Арише, и она, чертовка, оборотилась к нему. Он был пригож собой, весел и молод.

— Вас устроят отдохнуть, — сказал я, — чего беспокоиться?

— Я велю устроить господина офицера? обернулась ко мне Ариша.

— А соколы мои как же? — засмеялся он. Им-то уют найдется?

И тут она изволила улыбнуться и снова посмотрела на меня.

— Пусть люди отдохнут, Арина Семеновна, — сказал я.

Тут он замахал руками.

— Э нет, ваше превосходительство, — проговорил сокрушенно, покорно благодарю вас, но мы и так засиделись, закружились... Нам пора. А вы, я знаю, всего уже хлебнули, и по Европе походили, я слыхал, а я вот только начинаю.

Почему-то он начал меня раздражать. Не знаю почему, и чем дальше, тем больше, и когда мы сошли с крыльца прямо в дождь, мелкий и затяжной, и он вновь, уже попросившись, начал тараторить, как все у него пока удачно и наша с ним встреча — большая удача для него и его соколов, и при этом размазывал капли дождя по щекам, как, впрочем, всякий нормальный человек, я подумал, что, узнай он о моем завтрашнем обеде, эти соколы пошли бы на нас в атаку...

Он долго и томно целовал ручку у Арины. Козырнул мне. Все его драгуны были уже по седлам.

— Желаю побывать в деле, — сказал я, — но чтобы успешно и батюшке не в горесть.

— Под Вязьмой, сказал он, три раза в атаку ходили, Бог спас. У нас говорят: каждому своей не миновать...

И помчались. Пряхин.

...Продолжаю о Варваре.

Тогда я торопил коня сквозь ночную метель, осыпая себя укоризнами за слабость. Что мне были какие-то союзы, пусть даже из ее царственных рук? Разумеется, насильно мил не будешь, но жестокость губинской отшельницы в платье модного покроя превышала мою генеральскую стойкость. Кто же он был, тот неведомый мне счастливец, так завладевший ее сердцем? Мое лихорадочное воображение рисовало мне полужнакомые лики возможных моих

соперников, но ни на одном из них я так и не остановился. Ее таинственный мучитель был недостижим для моих фантазий и пребывал где-то там, подобно собаке на сене, отвергая Варварины притязания, но и не уступая ее никому. Почему я не спросил его имени, не закричал истошно: «Кто же он?!» — этого я не понимаю, но, быть может, по той же причине легкого полночного помешательства, вынуждавшего меня говорить одни лишь глупости и двигаться ненатуральными шагами... Язык присох к гортани, шейный платок душил. Я добрался до Липенек под утро, и все остальное в дальнейшем происходило как бы не со мной, и очнувшись я уже в полку, уже покинувшем зимние квартиры, сопровождаемый, как всегда, поваром Степаном и Кузьмой. Мы, оказывается, передислоцировались. Мимо проплывали какие-то города, деревни, цвела вишня, под копытами лошадей клубились облетевшие лепестки, затем наливались плоды, прозрачные груши глухо падали в траву, зачастили дожди, все помертвело, покрылось белым, остановилось. Остановились и мы в хмуром Полоцке.

Я почти выздоровел. Варвару вспоминал отчетливо и сдержанно. Любил, но без безумства и даже сочинил ей письмо, по-моему вполне достойное, благоразумное, даже несколько шутливое, с шуточками и в свой адрес. Ответа не было. Сонечка в своих частых письмах о ней не вспоминала. Была мирная, обычная зимняя военная жизнь с неизменным бостоном по вечерам, с редкими унылыми уездными балами, которые были с охотой посещаемы ближайшими помещиками и моими одичавшими молодыми офицерами. Как всегда, кавалеров было на одного меньше, чем это требовалось для ровного счета; к счастью, красавицами уезд не баловал, и, стало быть, не было никаких недоразумений, споров, а тем более поединков, короче, никаких чрезвычайных хлопот. Степан изошрялся как мог, чтобы стол мой был хорош, Кузьма служил надежно. Но что-то все-таки, видимо, со мной произошло, что-то случилось, если в своем привычно устроенном мире я вновь перестал ощущать себя устроенным.

В один прекрасный день внезапно понял, что вовсе не исцелен, какого черта! Все мои надежды на исцеление самообман, а испытание, посланное мне, только и начинается. И действительно, служба опять потускнела, а образ губинской царицы, напротив, вспыхнул во мне с прежней силой. Бог дал мне временную передышку, чтобы не добить окончательно. Зачем я ему, безумный и слепой? Кому мы нужны вообще, лишенные способности остро чувствовать, равнодушные, раздавленные? Кому мы нужны, не умеющие кричать от боли, плакать от горя, стонать в унижении? Мы и себе не нужны, а уж другим и подавно. Разумеется, я и виду не подавал, что во мне вновь что-то рушится и горит, что мундир меня обременяет, что крики наказываемых лозой солдат оскорбляют мой слух.

«Лозончиками не увлекайтесь», — говорил я своим офицерам как бы между прочим, зная наперед, что это мало поможет. Командиры отдавали приказ всыпать лозончиков, делая вид, что не сомневаются в пользе этой меры, солдаты натягивали штаны, делая вид, что поделом ошастливлены. Тимоша бил по щекам старосту, потому что староста велел высечь мужика, господин Мендер грозил кулаком покоренным италианцам, представляя, что это и есть высшая историческая справедливость. Бог рискнул дать нам толику воли, и мы тотчас ею воспользовались, чтобы топить друг друга, унижать, и мы так распоясались, что пришлось время от времени насылать на нас чуму, мор и прочие мировые катастрофы, чтобы мы опомнились, ибо лишь перед лицом общих бедствий, как выяснилось, мы способны объединяться. Как грустно... И тут я набрался решимости и написал Варваре второе письмо.

Милостивая государыня Варвара Степановна!

Тешу себя надеждой, что Вы не захотели на письмо мое ответить, а не смогли. Расставшись с Вами и приложив все усилия, чтобы вычеркнуть вас из своей жизни, я тем не менее бессилён позабыть ваш январский возглас, которым вы однажды встречали в Губине меня: «Нашелся мой генерал!» Ведь не только из детской восторженности родился он? Наверное, за ним что-то все-таки скрывалось, столь он был сердечен. Не претендуя ни на что, а тем более на Ваше расположение, я знать хочу: ежели это не озорство, так что же это такое? Не может быть, чтоб я для Вас совсем ничего

не значил. Я бы охотно в это поверил, когда бы не столь частые признаки Вашей ко мне приязни, в чем обмануться невозможно. Как видите, я с легкостью пренебрегаю своим возрастом и проклятым генеральством, откровенно рисуя Вам свою слабость, и даже рад этому и не сомневаюсь, что Вам будет приятно лишний раз убедиться в моем к Вам абсолютном доверии.

Только одно письмо, несколько строк, написанных Вашею рукою, с любым разъяснением!

Остаюсь в терпеливом ожидании Ваш покорный слуга

Николай Опочинин.

Я знал, что ответа не будет, и все же возбужденное воображение рисовало мне в часы бессонницы прелестные фантазии из нашей с Варварой грядущей счастливой жизни. Это были нагромождения каких-то смешанных пейзажей, липеньских и губинских, долгих совместных поездок куда-то, зачем-то, прогулок вдоль Протвы, чаепитий, объятий, многозначительного молчания, и при этом никаких горестей, а тем паче предчувствий скорых катастроф, зачанской льдины, нынешнего нашествия и прочего, прочего...

Я знал, что ответа не будет, но он пришел и поверг меня в трепет.

Мой дорогой генерал!

Видимо, я ошиблась, полагая, что моя откровенность не сможет причинить Вам боль. Не рассчитала. Я испытываю к Вам более чем приязнь, как Вы скромно заметили, и я могла бы, не раскрываясь перед Вами, ответить на Ваши чувства согласием, как это и случается сплошь да рядом в нашем мире. Вообразите, мы жили бы с Вами, наверное, не хуже многих, и Вы, может быть, так никогда и не узнали бы, что я кого-то там люблю, кто даже и не догадывается об том — подумать только, какой вздор! и кто неоднократно выражал мне свое презрение... Но, мой генерал, не в моих правилах держать камень за пазухой, а особенно если это касается Вас. Вот я рассказала Вам все, надеясь, что это нам помешать не должно, что мы просто забудем об нем, тем более что никаких реальных сигналов «оттуда» последовать и не может. Потом я поняла, что поступила жестоко, не нашла нужных слов, мучилась. Вы мне стали еще дороже, когда отвергли всякий несусветный вздор, всякие там союзы, которыми я старалась покорить Вас. Сначала у меня была надежда, что, выслушав весь этот бред, Вы махнете рукой и скажете, что Вас это не касается. Но я ошиблась. Вы прекрасно знали, что он (тот) никогда меня не позовет, что он больше в моем воображении, мираж, недолгая болезнь. Вы это понимали, я видела, но дело было сделано. Язык мой — враг мой, но совесть моя чиста...

Ваша Варвара Волкова.

Р. С. Первое письмо Ваше было слишком шутливым, чтобы походить на правду.

...Вот и дождались! Мои люди видели французский разъезд — офицер и два кирасира. Они выехали из лесочка по проселку, ведущему в Хващевку, помаячили на опушке и воротились в лес. Дорога на Липеньки открыта, господа, и там вас ждет обезумевший и коварный инвалид с дрожащими руками, наполовину распрощавшийся с миром, готовый одинаково и взлететь вместе с вами в августовское небо, и молча ускользнуть, исчезнуть, спастись, выжить, не дать себя обмануть минутным эмоциям и лишиться вас райского блаженства здесь, на задворках вашей Европы. Вы думаете, это легко, обмякнув вдруг, упасть на пороховую бочку с огнем в руке и все оставить в прошлом, отвергнуть вдруг все, что есть моя жизнь?.. Они там потом припишут себе честь этого счастливого таинственного избавления России от французской чумы, соберут новые полки и пойдут в обратном направлении по чужим огородам! Чего же я добьюсь?.. Но отечество истекает кровью, и думать должно нам, еще живым, как уберечь его своей любовью и что ответить недругам своим... Пью настойку проклятого

корня уже по несколько раз в день — слабое снадобье. Господин Мендер клялся, что Бог избрал его среди многих, но я-то ведь еще не обезумел... Неужто и меня Всевышний разглядел в липеньской глуши и отличил? Так отчего же он не закалил мою душу и не избавил меня от лукавства, от сомнений, от страха?..

Продолжаю о Варваре.

Это была большая радость — ее письмо. Я перечитывал его много раз и знал наизусть. Сгорал заживо, истомился, садился за ответ, но ликование проливалось на бумагу бессвязно, невразумительно; отправил какую-то тарабарщину, но снова ответа не было. Затем собрался прорваться в Губино сквозь снега, но судьба снарядила меня в Петербург по армейским делам, а воротился, опять ничего, кроме нескольких писем от Сонечки, из которых я узнал, что Варвара Волкова уже несколько месяцев как живет в Москве в доме своего нового супруга, неизвестного какого-то сочинителя или актера, небогатого, даже, скорее, бедного, немолодого, даже лысого, черт бы его побрал! В утешение Сонечка писала как бы между прочим, что рассказывают, будто во время венчания он походил на заморенную лошадь, а она кусала губы и была бледна. Вот я и утешился! Быть может, иная дама, вздыхающая по мне, пожалала бы плечами, проведая о моей страсти: мол, не сошел ли он с ума, пылая к этой невыразительной самовлюбленной ненатуральной барыньке, у которой и есть что выпученные глаза? Да в этом ли истинное достоинство дамы, супруги, спутницы навек?.. Не любите сумасбродок, даже если взгляд их кроток. Разве мало в наши дни тех, что ангелам сродни? Отчего ж они в тени?.. Вы правы, милые дамы, но велеречивость меня отвращает, торжественные заклинания и трагические жесты оставляют меня холодным. Мы все послушные ученики природы, даже, скорее, ее безгласные холопы. Она повелевает, и мы разбиваем головы, мы все, и вы, милые дамы. Когда же мы наконец добиваемся того, чего желаем, мы убеждаемся, что это далеко не то, чего мы желали. Будем откровенны. Я был откровенен перед самим собой, клянусь, и я понимал, что моя песня спета, но душа моя была запродаана, а тут уже бессильно все.

В августе пятого года мы получили приказ и двинулись в поход. Перед самым походом я узнал из Сонечкиного письма, что губинская владелица воротилась к себе с маленькой дочкой по имени Лизавета. Ходили слухи о шумном разводе. Я любил Варвару Волкову, а эта была другая, чужая, призрачная; по той страдал, а эту и представить себе не мог, покуда не дошел в письме до строк о том, что «губинская помещица наведалась с дочкой и с кормилицей, интересовалась нашим житьем-бытьем, спрашивала, не нужно ли чего, сетовала, что вновь война близко, что вот-вот и пушки ударят, жалела себя и диву давалась, что ты и не думаешь выходить в отставку...» И я, слабое животное, ополоумев, не дожидаясь очередного бивака, буквально на ходу, буквально на полковом барабане торопливым пером вывел страстные каракули своей любви. Конечно, нынче все это может показаться смешным и ничтожным на фоне того пожара, которым охвачена Россия. Что моя маленькая жизнь и моя маленькая вчерашняя безответная любовь пред всеобщей сегодняшней катастрофой, скорбями и унижением? Но это, однако, как посмотреть! Шагать по Европе опять в мундире уже не хотелось, на чудеса расчета не было, но и Губино удалялось. Было не до Губина.

Милостивая государыня Варвара Степановна!

Судя по всему, Вам выпала нелегкая участь. Дальнее расстояние меж нами не позволяет мне на правах старого друга подставить Вам плечо. Но, может быть, мысль, что у Вас есть друг, готовый ради Вас на все, одна эта мысль послужит Вам утешением в житейских огорчениях и неурядицах. Надеюсь, что по возвращении смогу быть Вам вновь полезным, и если Вы не совсем меня забыли, и если окончательно не охладели, может быть, кто знает, и услышу вновь: «Нашелся мой генерал!»

У меня все по-прежнему, и я живу надеждою на чудо.

Всегда Ваш Н.Опочинин.

Спустя некоторое время, уже находясь в пределах Австрии, я получил от нее ответ.

Милостивый государь!

Благодарю Вас за прежнее неизменное расположение, но что скрывать? Меня не любили, но у меня дочь от того, кого любила я по велению свыше. Этим я счастлива и вполне успокоена, а посему утешать меня не в чем. Ваше плечо — очень трогательная деталь, но, боюсь, сквозь жесткость эполет не ощутить тепла живого тела. Вы пишете о возможном чуде. Увы, чудес не бывает. Молю Бога, чтобы он уберег Вас.

К сему В. Волкова.

Мне показалось, что на меня обрушилась стена. Последняя ниточка была оборвана. Холодом веяло от страницы. Теперь уже свободный, я двигался напролом, куда подо мной не вздрогнула и не закачалась зеленая ненадежная льдина Зачанского пруда.

...Портрет, подсвечник, звяканье ключей. Блажен, кто умер на своей постели среди привычных сердцу мелочей. Они с тобой как будто отлетели, они твои, хоть ты уже ничей... портрет, подсвечник, звяканье ключей, и запах щей, и аромат свечей, и голоса в прихожей в самом деле!.. А я изготвился, изогнувшись всем телом, вытянув руку с огнем, припасть к пороховой бочке и, заорав истошно, исполнить свой долг, придуманный в бреде, в благополучном сытном уединении, по-воровски! Потешил себя, уколол соседей, разыграл комедию — сам волен и надумать, и отвергнуть, возгореться и остыть...

«Кузьма, вам умереть страшно?» Он разглядывает меня с изумлением. «Я, кажется, вас спросил. Ответьте мне, сделайте милость». У него на лице испуганная улыбка. «Вы, барин, насмехаетесь али еще чего?» бормочет он тихо. «Я серьезно, — говорю я, — жить-то ведь хочется?» «Хочется», — говорит он. «Вот я и спрашиваю у вас: помирать страшно?» Он молчит. «Тогда пошел прочь!» — говорю я.

Французский разъезд маячил на лесной опушке! Какие пространства протоптали орды европейских кочевников (а ведь и впрямь кочевники — кочуют столько лет!), чтобы угодить капризу низкорослого гения с челкой на лбу! Пройдут времена, небось потомки по глупости и лени торжественно вознесут его на пьедестал, как давно уж вознесли Аннибала убийцу в кожаной юбке, как Александра, залившего кровью полсвета. «А сам-то ты как?» спрашиваю себя с содроганием. «А что? — отвечаю. — Я был учеником, куда меня самого сие не коснулось. А ныне я беспомощный житель России на деревянной ноге, что-то вроде свихнувшегося домового».

«Нынче утром, шепотом сообщает Лыков, обратно драгун французских видели. В Протве коней поили-с». — «Вот и славно, — говорю я бодро и спрашиваю: — А что это Арины не видно?» — «По саду гуляют с зонтом-с, говорит он. Больно строги-с: туда не ходи, сюда не гляди, хозяйка, одним словом-с». — «Хозяйка, — подтверждаю я строго, — вас, чертей, без хозяйского глаза только оставь...» Он смеется. «Да рази нас можно? Никак нельзя-с...»

Смерти я боялся до тридцати лет. Затем страх смягчился, поприутих, погас совсем. Ведь то, что со мной произойдет, это произойдет как бы уже не со мной...

Ночи нынче душные, а полдни чистые, ясные, жаркие! И бричка уже приготовлена в дальний путь. Весь дом пропах валерьяновым корнем и еще какой-то чертовщиной: все для меня, для меня, для меня! Для покоя, для успокоения, утешения и утишения, чтобы пламя мимо бочонка не пронес, чтобы себя не пожалел в последнюю минуту; пускай рабы живут, надеюсь, что я их на собак менять не стану, успею упорхнуть в августовское небо, и все тогда исчезнет: и моя одинокая жизнь, и поздняя совесть, и Варварины преступные глаза, и все, и все... Господь всемогущий, дай мне сил вытерпеть, и не уклониться, и не отчаяться!.. Кузьме вольную.

...Продолжаю о Варваре.

Рассказывают, будто корсиканец одним лишь манием руки отвратил меня от путешествия к райским кушам, и я, награжденный деревянной ногой, вернулся в отчий дом. Меня встречали как истинного героя, много слез было пролито. Но все становится на свои места, и у нас все постепенно успокоилось, особенно тогда, когда я впервые отправился будто бы прогуляться, а сам пошел в Губино.

Коляска медленно тащилась следом. Боже мой, какая была боль! А я шел и шел, хромал и хромал, опирался на палку и шел, весь в крови и поту... Вот тебе, губинская хозяйка, все итоги моих блужданий по чужим краям, вот тебе окончание честолюбивых надежд, офицерского тщеславия, иноземного патриотизма. Полюбуйся, как ты была права, насмехаясь над святынями идиотов в разрисованных мундирах! Я шел упрямо, по-бычьей, казня себя, наверное, и к звонам поздней весны добавлялись мои громкие стоны и укоризненные поскрипывания моей деревяшки.

С полдороги пришлось сесть в коляску, и наконец Губино предстало моим глазам. Все было прежним, да только я уж был не тот, будто та жизнь оборвалась, а новой не суждено было начаться. Я оставил коляску в березовой рощице, а сам, скрываясь за стволами, дохромал до кустов сирени и, затаясь, скрючился за ними. Сквозь листву крыльцо просматривалось отлично. Варвара, Бог меня не уберег, несмотря на твои молитвы (надеюсь, они были искренними), Он позволил мне, как и всем прочим, вдоволь понаслаждаться умением носить мундир, ходить в атаку, колоть по первому же знаку. Он позволил мне поболеть самомнением, поверить, что без меня рухнет мир, а затем оставил у разбитого корыта. И ежели ты, прогуливаясь в тени парка, вдруг обнаружишь меня в сиреновой норе, ты ведь не закричишь с ликованием: «Нашелся мой генерал!», ты ужаснешься, всплеснешь руками и велишь своим людям помочь мне подняться. И все...

После лазарета в Москве меня встречали как героя во всех домах, куда бы я ни заглянул. Все те же милая сердечность, и отрешенное сочувствие, и проклятия в адрес коварного врага: «Изверги! Изверги!» Как славно выглядеть героем, придя с войны — не перед боем. Как славно проклинать врага, виновного во всем и всюду... Но деревянная нога... Отныне с ней в обнимку буду: она как память дорога!..

«Наполеон-то — гений, — говорил я им, да мы-то при чем? Нам поручили приструнить его, и мы, брэнча железом, объединились, да с кем? С австрияками? А послал-то нас кто?..» — «Вы рассуждаете как частное лицо, — терпеливо и снисходительно твердили мне, — а есть еще высокая политика, которая выше нашего с вами разума... Наполеон, конечно, гений...» Тогда все французское еще было в моде, общество, опустившее было свои крылышки после Аустерлица, скорбело недолго, от пространств российских захватывало дух, рабов хватало...

Часа три я просидел за кустом. Хотелось хоть краем глаза увидеть тебя, Варвара, жесткие черты твоего лица и догадаться, каким он был, твой гений злой, покуда пеплом и золой меня, как снегом, заносило, покуда смерть нас всех косила... Еще не очень старый зверь с деревянной лапой плакал в сиреновой тени — все было в прошлом. Еще нашел бы я в себе силы обнять тебя и ходить за тобой, хромя, стуча деревяшкой и палкой, и вглядываться в твои огромные глаза, ища в них сочувствия, жалости, милосердия. Какое-то древнее, позабытое холопство зашевелилось во мне на мгновение, но я его задушил. Сел в коляску и отправился восвояси.

Уж ежели о двух ногах я был не для нее, то с этим примитивным орудием из свежей липы зачем я ей? Теперь я нужен был чистым белым листам бумаги, чтобы запечатлеть на них все — от раннего ликующего взлета в образе счастливого избранника Божия до тяжкого падения и жалкого инвалидства. Я должен был все это запечатлеть, выложиться, вывернуться наизнанку с горечью, с кровью, ничего не утаив, и передать все это молодым... Зачем? Какие предположения казались мне справедливыми? Или я полагал, что они, начитавшись о моих собственных смятениях, познав глубину моих разочарований, в один прекрасный день внезапно изменили бы свою жизнь, нравы, поступки, приобрели бы скромные одежды, в иные

вдруг поверили б надежды и, злом друг друга больше не губя, всё разом изменили вокруг себя?.. Перо, чернила и клочок бумаги! Как верим мы в застольные отваги: мол, вы в своих прозрениях поздних правы и это молодых изменит нравы!..

А что же сделают молодые, поначитавшись этого запоздалого вздора? Наденут кирасы, зарядят ружья, наострят сабли и палаши, глянут на себя в зеркала — ба, как они красивы, бесстрашны, необходимы, нетерпеливы, победоносны и правы — и устремятся в счастливые битвы, каждый в свою! Не выстрелят себе в рот, не вздрогнут от сомнений, меня же почтут за случайного неудачника... Кому были нужны пустые опочининские прозрения, когда империя нуждалась в героизме, дамы ахали от вожделения, флейта-пикколо пронзала уши и сердца? Я не пытался быть им судьей, я просто сожалел...

В молодости как страстно я готовился к балам! Сгорал от нетерпения, предвкушал их шумный, блистающий праздник и свои удачи. О том, что им наступит скорый конец, думать не умел. Казалось, что каждый бал вечен. Не дай бог попасть в те дни в лапы какой-нибудь безжалостной хвори! Я пропустил празднество — жизнь кончена! В зрелые годы перед балами наперед знал, как все будет и что к утру празднество непременно завершится и в тряской бричке или холодном возке уеду обратно. Все пройдет, как все проходит. Молодым ведомо начало, пожившим — каков будет конец. Да, но то балы, а тут пролитие крови, всемирное кровопускание; все мнят себя искоренителями зла, могущественными врачами, отворяющими затхлую кровь с помощью оружия... Лечат человечество, а сами больны...

И вот я сел в коляску и укатил, не желая выслушивать Варварины соболезнования. Но однажды, как обычно, уже в начале лета вошел Кузьма в мой кабинет и доложил, что барыня Волкова пожаловали. Ну Волкова так Волкова. Оглядел себя в зеркало, поправил то да се... Что?! Какая Волкова?! «Гуубинские». Тут я совсем ополоумел. «Скажи, нет меня! Нет меня». «Софья Александровна за вами послали». Я шел, и стук моей деревяшки далеко разносился по дому.

Две дамы сидели на веранде. Одна в черном, другая в светло-голубом. Дама в черном была Сонечка, но уже почти чужая, будто соприкоснувшаяся с вечностью, в глубоком трауре по убиенному супругу, и по себе самой, и по мне: пергаментное лицо, пергаментные же руки, отрешенный взгляд, на лице легкое неудовольствие, оттого что нужно все-таки разговаривать, поддакивать, пожимать плечами... Голубая дама была свежа, как прежде, время для нее одной остановилось, в ее королевстве господствовали мир и тишина, генерал, ее любивший, не воротился с поля брани, по чьей-то там недоброй воле остался он в чужой земле, глаза ее не выражали ни сокрушений, ни терзаний, и лишь печать загадки вечной лежала на ее челе... Да, это ей не прибавило ни морщин, ни скорби. Зачем же я воротился? Тогда я еще не знал о тайном сговоре меж Богом и Бонапартом, чтобы сохранить мне жизнь и погубить меня снова, но уже в компании великих безумцев, неспособных остановиться самостоятельно.

Когда я возник перед ними, голубая дама встала (какая честь!).

— Нашелся мой генерал, сказала она просто и отчетливо.

Я старался выглядеть молодцом и не очень ранить Сонечку, хотя мне это стоило страшных усилий.

— А куда бы ему деться? — спросил я небрежно, по-гвардейски и склонился к ее ручке, и тут же ее горячие губы коснулись моего лба.

— Мало ли, засмеялась она одними губами, — чего не бывает в сражениях?

— Пустяки, сударыня, — засмеялся я. — Как видите, обошлось, если не считать вот этого. — И демонстративно пристукнул деревяшкой об пол.

Сонечка извинилась и покинула нас. Мы остались наедине.

— Какое замечательное изобретение, сказал я, — две палки, на ноге и в руке, и человек преображается, будто родился заново!

Ее глаза уставились на меня, как прежде. Мы уселись в кресла друг против друга.

— Представьте себе, сказала она легко, будто мы встречались ежедневно, — моя московская подруга, вы ее не знаете, дождалась человека, которого любила (некий кавалергард,

лишившийся тоже ноги, а может быть, руки, неважно...), и обвенчалась с ним. Я присутствовала у них на свадьбе. Было весьма торжественно и сердечно.

— Возможно, возможно, — сказал я, упрямо разглядывая свою деревяшку. — Один немецкий мастер, большой, говорят, умелец, даже, говорят, в основном мастер по скрипкам представляете? соорудил мне сей предмет из чистой немецкой липы, звонкой и вечной, так что мне ничего не стоит промаршировать до Губина, опираясь, натурально, на палку, но самому, без посторонней помощи...

— Я поняла из вашего последнего письма, — вдруг сказала она без улыбки, иным тоном, что вы как бы простили мне мою давнюю ненамеренную жестокость. Что же случилось нынче? Вы не рады видеть меня? Я вас раздражаю?

— Да разве я вас когда-нибудь осуждал?! заорал я, словно фельдфебель, но она и не поморщилась. Но получилось так, сударыня, что мое путешествие по Зачанскому пруду закончилось этой деревяшкой из чистой немецкой липы, и я наслушался стольких соболезнований по этому счастливому поводу, что устал их выслушивать!

— Какой пруд вы назвали? — спросила она рассеянно.

— Какой пруд, какой пруд, — сказал я, — пруд под Кремсом. Вам не следует того знать, это не для женских нервов.

— Отчего же вы не спросите, как сложилась моя жизнь?

— Меня это не интересует, сказал я с трудом, — я люблю вас при всех обстоятельствах. — И заплакал.

Сидела передо мной живая и почти прежняя и не какая-нибудь там бывшая госпожа Чупрыкина, наехавшая навестить, а губинская, не отводящая взгляда, не всплеснувшая руками при виде моих слез, та самая, союз с которой я некогда с гордостью отверг, а зачем — и спросить не у кого; сидела передо мной, не соболезнуя, не порицая; какие-то неведомые мне страсти бушевали в ней, а на поверхности не отражалось ничего чистая, умиротворенная, холодноватая...

— Интересно, — сказала она, — сможем ли мы вернуться к нашему прежнему разговору, когда вы немножечко успокоитесь и потеряете охоту так ненатурально пугать меня вашей раной?

Я стер слезы со щек, чтобы хозяйка губинских лесов даже на минуту не заподозрила во мне желания разжалобить ее. Имея деревянную ногу, легко ли сохранить бравый генеральский вид перед той, которую ты любишь? Но, имея деревянную ногу, можно, оказывается, превозмочь в себе слабости влюбленного и свои былые порывы и можно, оказывается, возвыситься над собою же, не продаваясь за снисхождение, хотя и это зачем? Зачем, Варвара, мы склонны так усложнять короткую нашу жизнь? Какой бес заставляет постукивать меня деревяшкой об пол, покуда ты производишь будничные, трезвые женские слова?

— Надеюсь, — продолжала она, — вы успели убедиться, что жизнь прекраснее даже самой блистательной победы, я уж не говорю о поражении. Вдали от собственного дома победы выглядят преступлениями...

— Видите ли, Варвара Степановна, существует точка зрения, — сказал я сухо, будто над штабным столом, — что с Бонапартом необходимы предупредительные войны. Он показал, что умеет распоясываться...

— Да глупости все это! — сказала она раздраженно. Вы все объединились и обложили его, ровно волка, потому что вы не можете выносить, когда один из вас поднялся на пьедестал, и тогда вы начинаете стягивать его оттуда, воображая, что тем самым вы выглядите мировыми благодетелями, вам надо доказать свои преимущества...

— Ну, не повезло, сказал я, глупо хихикнув, военная фортуна переменчива...

Стоял июнь. Ароматы свежей травы и цветов распространялись всюду. Любимая женщина в голубом сидела рядом, и от нее исходило тепло, жар, невидимое пламя, сжигая меня, давшего себе клятву быть неприступным и чужим. Вдали от собственного дома... Вдали от собственного дома, на льдине из чужой воды — следы осеннего разгрома, побед несбывшихся

плоды. Нам преподало провиденье не просто меру поведения, а горестный урок паденья, и за кровавый тот урок кому ты выскажешь упрек пустых словес нагроможденье?

Воистину некому. Я был как все, и едва там где-то аукнулось, как я тотчас же и откликнулся. Теперь же она сидела предо мною, подобно судье, самая прекрасная из всех, расчетливая, сдержанная, не отводящая своих синих блюдец, требующая, влекущая и неспособная побороть мою торжественную клятву!

— Теперь вы сочли, что ваша жизнь никому не нужна, — сказала она грозно, — что жизнь кончена, что я ваше прошлое, да? Ведь я догадалась? И вы понимаете, что я приехала не для пустых слов, что я не из тех, кто швыряет векселями по небрежности и лени, вы даже обижены на меня, что я не придаю значения вашей ране, обижены, как ребенок, что я не придаю значения, какое вы ей определили, и это после того, как вы более трех часов просидели в сиреневых кустах, кряхтя и постанывая... Что я должна об этом думать? (Тут я покраснел, как юный паж, и, видимо, лицо мое выглядело преглупо, отчего она даже усмехнулась.)

Вечером Сонечка сказала мне с грустью:

— Она тебя любит. Я думала, что она сумасбродка, но она тебя любит. Конечно, она сумасбродка, но уж очень хороша.

— Это не тема для разговора, Сонечка, — сказал я, — отставной генерал пристроился содержанкой! Этого не было и не будет. Ты меня жалеешь, Сонечка, как мать — свою единственную дочку-дурнушку, отвергнувшую притязания принца.

Варвара внезапно укатила в Петербург. Воротилась через год и снова ко мне пожаловала, как раз после смерти Сонечки. Очаровательная Лизочка бегала по дорожкам за Тимошей, и ее кружевные панталончики мелькали там и сям, и смех ее счастливый разносился по парку, а мы с ее матерью сидели друг против друга, она мне что-то выговаривала, а я шутил, кажется, что-то по поводу своей ноги: если долго стоять на сырой земле, то эта немецкая липа может пустить корни, и тогда...

Что-то в лице ее переменялось, вернее, во взгляде, как-то она смотрела на меня уже не с прежней неумолимостью. «Ах, сударыня, думал я, подставляя солнцу щеки, то ли еще будет... Жизнь и не тому учит...» Глаза ее были по-прежнему уставлены в меня, но, казалось, стали они светлее, поголубели...

Я не спрашивал ее о недавнем прошлом, кем она была — госпожой Чупрыкиной или Куомзиной, а может быть, и вовсе мадам Ламбье. Не спрашивал, потому что, отказавшись от счастливой возможности обременить ее своим инвалидством, не имел никаких прав на ее историю. Я не был берегом, от которого удалялся ее невозмутимый корабль, мы были с нею двумя кораблями, медленно расходящимися в житейском океане. Зачем?.. Зачем?.. «Зачем? — спросила она. — Это же нелепо...» Я пожал плечами.

В девятом годе, помнится, она вновь уехала. Покружилась по заграницам с Лизочкой и гувернанткой. Снова возникла, опять укатила. И вот уже нынче, едва донеслись слухи о Бонапартовом нашествии, появилась в Губине. Все эти годы я, словно приговоренный, совершал время от времени путешествия до ее дома, и мне казалось возле губинских стен, что еще не все потеряно, и лик ее прекрасный проглядывает сквозь листву, и домыслы тревожные напрасны, и я еще живу...

И нынешним июнем я вновь совершил свой скорбный марш, простоял под окнами, не решаясь войти, покуда меня не пригласили... Руки, Титус, тогда у меня еще не тряслись, но горло сдавило, едва я увидел ее. Как просто она меня поцеловала, как легко! Как добрая соседка или родственница. «Где же оно, ваше хваленое воинство?» сказала так, будто мы ни на миг не расставались. — Стоило им остаться без вас, как они тотчас и побежали! (Я рассмеялся, так это было внезапно. Она оглядела меня придиричиво и вместе с тем ласково, словно мать, провожающая сына на первый бал.) Впрочем, и с вами было не меньше беготни, не правда ли? Теперь остается уповать на стены да на пространства, как это принято...»

Пожилая тридцатипятилетняя дама объяснялась со мной так, словно я один был виноват в постигшем нас несчастье. В голосе ее появились незнакомые мне доселе интонации,

какие-то колкие, крикливые, сумасбродные полутона, отчего я проглотил язык, а весь дом будто вымер, хотя ее стремительные упреки касались лишь высших сфер, а не кого-нибудь по отдельности. На ней была не очень изысканная душегрея, какие носят престарелые провинциалки, претендуя на звание разве что уездных королев. О, где же ты, юная мадонна в античных одеяниях, за которой, будто змеи, поворачивали языки пламени?! И все-таки она была прекрасна, ибо под поникшей маской я, именно я, а не кто другой, различал дорогие ее черты, не тронутые временем. Вот так мы встретились.

Затем по уезду поползли слухи о моем безумном предприятии, то есть об обеде в честь узурпатора и его приспешников, и однажды, когда тоска моя сделалась невыносимой и я уже было изготовился к своему неперемому маршу в Губино, она явилась сама, одна, помолодевшая, сильная, стремительная, как бывало, сама судьба. Покуда я возился в кабинете с непослушными одеждами, в доме моем произошло перестроение: Лыков выскочил в парк и затерялся среди деревьев, Кузьма в людской укрылся. Из всей зловещей тарабарщины, услышанной мной в свой адрес, я ничего толком не запомнил, но свое предательство, изменничество свое воспринял стоически, как должное, и нимало не удивился, и не пытался ей возражать, хотя это еще больше ее распяляло: и неподвижность моя, и кротость во взоре, и виновато поджатые губы... Вот и вся любовь... Я хотел сказать ей, что моя жизнь завершена, что, вместо того чтобы осыпать проклятиями корсиканца (а сами-то не больно чисты!), пора изготовиться к самопожертвованию...

Уж коли брошена перчатка и все бегут, я подниму ее, я один, хромой и старый, без малейшей надежды на вашу благодарность, на пьедесталы и посмертные почести... Я хотел сказать ей все это, а сказал лишь: «Позвольте мне удалиться...» — и захромал прочь с клеймом изменника на челе...

Лыкову вольную...

Его благородию господину
Игнатьеву Тимофею Михайловичу
на Поварской в собственном доме.

Драгоценный Титус!

Наконец собрался и пишу тебе в надежде, что ты здоров и отправляешься...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОРЕСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О МИНУВШЕМ ЛУИЗЫ БИГАР

...На мне была кашемировая шаль и великолепная шляпка из итальянской соломки, когда я вышла из экипажа. Кто бы мог подумать, глядя на эту восхитительную молодую особу, что у нее в маленьком мешочке, висящем на руке, жалкие гроши и что перспективы ее весьма расплывчаты. Из Петербурга меня снарядил князь Долгорукий, давший своего провожатого, без которого я до Москвы не добралась бы. Прощай, императорский театр, прощай, Петербург. Что ждет меня в Москве? Я должна была перебраться в Москву, ибо роли, которые я исполняла, были заняты, а голос мой недостаточно велик, чтобы продолжать петь на петербургской сцене, где все партии написаны на четверть тона выше, нежели в *Opera Comique*. Я подумала, что в двадцать четыре года это не трагедия, и попросилась на сцену московского театра. Беспечная и вечно смеющаяся, я не слишком заботилась о завтрашнем дне. Не скрою, я получала хорошие деньги, но необходимость устраивать приемы для высокопоставленных почитателей и многочисленных друзей иссушала мой кошелек, что, впрочем, меня не слишком огорчало.

Я сняла прехорошенький флигель меж двором и садом в доме русского попа на Поварской. Помещение было, конечно, недостаточное для моих затей, но выручало отсутствие дверей меж проходными комнатами, вместо которых висели занавеси. Их убрали вовсе перед приходом гостей, и получалось довольно удобное пространство, которое весьма нравилось моим гостям. В салоне по правилам хорошего тона стоял стол с альбомами (каждый приносил свой), листами первоклассной бумаги, перьями и карандашами. Те, кто сам не играл, слушали музыку, рисуя, или писали в альбом какие-нибудь шуточные послания.

Особенно изощрялся итальянец Тончи, исторический живописец, человек большого таланта, любезный, веселый и остроумный. В моем альбоме, например, он изобразил однажды черта, убегающего в окно, причем пририсовал ему портрет нашего общего друга, придворного архитектора Гваренги, на таком месте, которое лишь черти и любовь могут показывать обнаженными.

Я имела претензию кормить свое общество ужинами, хотя мое хозяйство было в плохом состоянии. Дам я сажала вокруг овального стола, а мужчины ели, где могли: на рояле, на туалетном столике, на жардиньерке, на которой безжалостно мяли мои цветы. Если разговор заходил о какой-нибудь музыкальной вещи, Дюкре, большой меломан, оставлял крыло цыпленка, садился за рояль, отгоняя ужинающих, и пел:

Тебя, Фронтен, я презираю!

Дамы ему от стола отвечали:

Ты веришь, как дитя, в приманки,
гордясь своею красотой...

После этого обладатели рояля прогоняли артиста и занимали прежние места. Особенности трудности были с ножами, их у меня было всего четыре, поэтому постоянно слышалось: «Одолжите мне нож. Будьте добры, нож. Полжизни за нож!..»

После ужина я пела, и тут наступала тишина. С тех пор как я утратила часть моего диапазона, я стала работать над средними нотами и особенно старалась усовершенствоваться в романсе. Романс требует выразительных слов, музыки простой и подходящей к словам. Он требует также особых, вкрадчивых интонаций, что, как говорят русские, «берет за душу». Это, главным образом, и действует на толпу, и не нужно быть знатоком, чтобы восторгаться романсом. Салонные таланты особенно ценятся в чужих краях. Я привезла из Парижа новый род музыки, которая стала модной в салонах Петербурга, а тем самым успех был ей обеспечен и в Москве. Мои шансоны производили фурор, и сюжеты их зарисовывались в альбомы: рыцари, молодые девушки, знатные дамы, трубадуры. У меня был легкий талант, который, снискав мне успех, позволил также приобрести множество верных друзей.

Уже шесть лет, как я жила в России. Не скрою, время от времени мне вспоминалась моя милая бурная родина, я испытывала чувство гордости, узнавая о блистательных победах моих соотечественников, и клич «свобода, равенство и братство» воспринимала как нечто целое, не особенно вдумываясь в суть, в каждое слово, а просто благоговей перед гордым сочетанием, поющим в душе под какую-то ликующую музыку. Правда, многочисленные французские эмигранты в России не разделяли моих восторгов, но и не осуждали, любуясь моим искусством, а не моими политическими заблуждениями. И все-таки, общаясь с этими людьми, я никак не могла взять в толк, почему эти люди, обожающие свою родину, должны быть изгнанниками и почему они, находя себе место в русской империи, не могут найти его во французской... Мне пытались объяснить, что уравнение сословий в правах чревато гибелью нации, что учрежденное природой и Богом не может быть упразднено человеком безнаказанно, и тому подобное... Для меня все это было слишком туманно, и я обычно отвечала: «Ах, господа, не мучьте меня. Я не философ — я актриса».

Я любила Россию, как может ее любить иностранка, приехавшая надолго и умеющая ценить прекрасное. У всего в жизни, конечно, есть свои дурные стороны, но умение видеть достоинства — одна из моих особенностей, и я нисколько о ней не жалею. С первых же минут своего пребывания на этой земле я была окружена вниманием и заботой, и хотя я вовсе не обольщаюсь на свой счет и сознаю, что французское было почитаемо в этой стране, но не только пристрастие к моде и клеймо француженки на моем челе вынуждали этих людей относиться ко мне столь дружелюбно и щедро, но и мои личные качества: мое умение нравиться, мое умение любить, наконец, без высокомерия и чванливости, мои доброта и отзывчивость и душевная легкость, столь несвойственная русским и потому так почитаемая ими. Короче, я жила полной жизнью и не очень-то горевала от разлуки с родиной, хотя меня невозможно было бы упрекнуть в отсутствии патриотизма.

Помню, как в восхитительном Петербурге, где все свидетельствует о богатстве, в котором все удовольствия, и самые новейшие моды прибывают туда через десять дней, как там, окруженная моими русскими друзьями, я проводила свободное время, получая наслаждение и пользу. Все было для меня ново, мне охотно показывали все, что могло меня заинтересовать. Прогулки по Неве июньскими белыми ночами в венецианских гондолах трудно описать. Разве опишешь этот чистый воздух, эту тишину, этот пейзаж, видный сквозь дымку сумерек, словно сквозь легкое покрывало, эти звуки рогового оркестра, присущие лишь России, гармония которых, несясь вдоль воды, кажется льющей с неба!

В июле наступал Петергофский праздник — предмет восхищения всех иностранцев, представляющий собой целую феерию, где природа приходит на помощь искусству. Двор всегда присутствует на этом празднике, который длится всю ночь. Все в костюмах, как для бала, но ни на ком нет масок. Эти национальные костюмы очень богаты и элегантны. Богатые люди нанимают целые дома на неделю, ибо иначе трудно найти приют. Так всегда поступали дамы, которые возили меня на этот праздник. Во время жатвы мы ездили по деревням с княгиней

Куракиной, разговор которой так приятен, знания так велики и ум так полон поэзии. Она обращала мое внимание на костюмы крестьян, которые переносили нас в славные дни Древней Греции. Когда видишь на ржаном поле жниц в коротких туниках изо льна, подвязанных выше талии, с разделенными и заплетенными в косы волосами, мужиков, также в туниках, подпоясанных кожаными поясами, с голыми ногами, обутыми в сандалии из березовой коры на кожаных ремешках, с волосами, подстриженными в кружок, чувствуешь, будто находишься на полях Аркадии...

В России времена года сменяются крайне стремительно, если не считать зимы. Зима — царица, у русских она матушка. Некоторые иностранцы пытаются иногда презреть принятые обычаи и одеваются как в умеренном климате, но часто становятся жертвами собственного тщеславия и дорого платят за урок. Зима — это зима, но мороз не опасен, если только предохранишь себя от его действия.

Однажды Долгорукие повезли меня в свое имение, расположенное в шестидесяти верстах от Петербурга. Кибитка моя была обита шкурами сибирского волка. Одежда была медвежья. Обер-егермейстер предложил мне живого волчонка — греть ноги, но я отказалась. Я ехала как кладь, ничего не зная, ничего не понимая, спала в кибитке, как у себя на постели, и выходила, только чтобы поесть, немного походить и размять затекшие члены...

Это зима. Но солнце обычно ярко светит, небо ясно, воздух чист. Гулять в одежде из легкого теплого меха очень приятно. В ходу очаровательные прогулки при лунном свете или утром перед изысканным завтраком. Двадцать или тридцать саней летят, вздымая снег. На передних санях музыканты. Я до сих пор удивляюсь, как у них не замерзли пальцы! Я часто задумывалась, как же должны защитить себя от холода бедные люди? Но дело в том, что все они принадлежат господам, которые обязаны заботиться об их нуждах, и нищие почти не падают. У них у всех земля, за которую они платят своему барину. В крестьянских избах кирпичные печи таких же размеров, как кафельные, и топятся постоянно, поэтому в избах трудно дышать, но, видимо, поэтому русским не страшны переходы от одной температуры к другой. Я видела дворников, убирающих снег в одной рубахе. Кончив работу, они закутываются в тулуп, забираются на жаркую печь и оттаивают.

Постепенно моя жизнь в Москве влилась в нормальное русло, петербургские рекомендации сделали свое дело, и я перестала замечать отсутствие недавних друзей, ибо новые, московские, были несколько не ниже в своих совершенствах. Меня полюбила графиня Строганова, особа пожилая, больная, но любезная и веселая. Она устраивала летом очаровательные праздники, и, когда она среди блестящего общества быстро катилась в кресле по садам, лабиринтам и лесам, можно было принять эту маленькую добрую старушку за фею, так она была миниатюрна и своеобразна. У нее в московском доме был китайский павильон, в котором мебель, обои и картины были привезены китайскими купцами, ежегодно приезжавшими на макарьевскую ярмарку.

Рядом с павильоном помещалась великолепная оранжерея, в которой происходили зимние празднества. Оранжерея была громадна. Ее украшали апельсиновые деревья в кадках, многочисленные заморские цветы. Все это сверкало и благоухало. Тут был еще один маленький секрет: к некоторым деревьям искусно привязывались различные плоды, и создавалось впечатление настоящего юга. Толстые стекла лили тускловатый свет, как в июньские сумерки. Не были видны ни печи, ни трубы, воздух был по-весеннему мягок и свеж. По веткам порхали птицы, и от времени до времени раздавалось их пение. А ведь за стеклами стояла зима, виден был снег на крышах, слышался скрип полозьев, мелькали бороды кучеров, покрытые инеем. Восхитительная сказка!

Конечно, Москва была в своих увеселениях более широка и обильна, нежели блистательный и строгий Петербург. Чего стоило, например, одно московское дворянское собрание, с которым вряд ли могло сравниться какое-либо другое. Вообще московские вельможи напоминали мне восточных сатрапов. Они были баснословно богаты, а путы столичного этикета

выглядели здесь значительно слабее. Многие из вельмож имели собственные театры, на которых давались оперы и балеты. Актерами были крепостные, и роли им назначали господа. По воле барина одного делали актером, другого музыкантом, этого певцом, а того танцовщиком. Крепостного можно было продать, и это меня всегда несколько шокировало. Воля господина не должна быть столь широка — в искусстве не может быть назначений! Но я не хочу распространяться по поводу этих грустных и неприятных для меня сторон: я все же иностранка и не могу быть судьей в столь щепетильном вопросе. Во всяком случае, я счастлива, что мои успехи определяются только моим собственным талантом, а не прихотью более знатных, и поэтому не могу не ценить собственную независимость и возможность ее отстаивать.

Графиня Л., у которой я была хорошо принята, однажды написала мне, что хотела бы устроить мне встречу с моим соотечественником, находящимся проездом в Москве, и посему пришлет за мною около шести часов. Такой способ приглашения показался мне странным. В русских домах, ежели вы там приняты, бывают без приглашения, и вами были бы недовольны, делай вы это реже, чем принято. Таков старинный обычай гостеприимства. Когда я вошла, графиня мне сказала: «Я так много говорила о вас господину Лажару, так хвалила вашу любезную готовность петь и ваши прелестные романсы, что возбудила в нем живейшее желание услышать вас». Это звучало не очень любезно. Я не хотела иметь вид приглашенной для развлечения графа Лажара, а так как приглашение было сделано в форме, к которой я не привыкла, то я твердо решила не петь. За столом меня посадили рядом с Лажаром, оказавшимся, кстати, очень любезным человеком, и мы болтали весь обед. Тотчас после обеда графиня приказала принести гитару и собственноручно передала ее мне... «О графиня, — сказала я огорченным голосом, — я несказанно расстроена, что не могу отвечать вашим ожиданиям: у меня болит голова, и я никак не смогу петь». — «Вы не устанете, моя милая, пойте вполголоса и что хотите», — сказала графиня. «Если я запою, — ответила я, — то погублю ту блестящую рекомендацию, которую вы были добры дать мне, потому что не могу сегодня издать ни одного звука». Все просьбы были бесплодны. Графиня кусала губы. Я ждала колкостей, но решилась на них отвечать хотя и вежливо, но так, чтобы не дать себя унижить. Если певца приглашают для концерта, ему не подобает заставлять просить себя, но когда его принимают как друга дома, то следует более приличным образом просить его об одолжении. Наконец графиня сказала: «Когда хотят возбудить в обществе интерес к себе, то для этого следует что-нибудь делать». — «Я думала, графиня, — сказала я, — что до сего времени я в этом не была грешна, и верила, что готовность услужить не должна быть во вред моему здоровью».

Графиня была достаточно умна, чтобы в самом скором времени, не превращая этого ничтожного конфликта в трагедию, простить меня, за что я была ей весьма признательна. В доказательство своего расположения она пригласила меня и графа Лажара посетить Кремль и осмотреть его достопримечательности. Прогулка наша оказалась чудесной и крайне полезной, ибо я увидела воочию историю России и ее несметные сокровища. Правда, и там чуть было не возник маленький конфликт, вовремя погашенный господином Лажаром. Дело в том, что мы осматривали царский дворец. В этом дворце множество ваз, канделябров, чаш из литого золота и такой же трон, подаренный одним персидским шахом во времена коронавания Екатерины II, короны Сибири, Астрахани, Казани и многое-многое другое. И вот в тот момент, когда графиня подробно рассказывала о покорении Грозным Казанского ханства, которое теперь представляется вечным достоянием Российского государства, я с присущим мне простодушием воскликнула: «Ну вот, прошло время, и все улеглось, и ханства не существует, какая прелесть. Значит, если кто-нибудь покорит Россию, то по прошествии двухсот лет ее корона станет музейным экспонатом?» — «Но для этого ее надо покорить», — засмеялся граф, делая мне знаки. Однако графиня засмеялась тоже, и мы перешли к шкапу, в котором хранились коронационные одежды многих русских царей. К счастью, графиня Л. не была злопамятна, и мы продолжали видеться.

И вот наконец наступил несчастный двенадцатый год. Накануне был долгожданный костюмированный бал в доме той же графини. Приглашительные билеты сообщали, что бал на-

чнется в восемь часов вечера, а в полночь все снимут маски. Я оделась уличной певицей. Зеленый фартук с большими карманами вызвал всеобщее восхищение. Все веселились, но меня мучила грусть. Какие-то недобрые предчувствия не покидали меня, и, когда я, взобравшись на стол с гитарой, спела шуточную песенку, слезы неудержимо хлынули из глаз. Меня утешали, но я не могла успокоиться. Пришлось удалиться, чтобы не портить общего веселья. Меня вызвал Андрей Строганов, внук моей доброй знакомой, красивый тридцатилетний полковник конной гвардии. Мы были давно и по-доброму знакомы и в редкие его приезды из Петербурга обязательно виделись. Ему нравилось, как я пою, мне же был просто симпатичен этот видный и довольно молчаливый великан с добрым и мужественным лицом. Никогда между нами не возникало и тени двусмыслицы, ни малейшего намека на какие-либо чувства, кроме дружеского расположения. Шел мокрый снег. Ветер пронзал насквозь. Была середина ночи. Мне вдруг показалось страшным остаться в одиночестве, и я предложила ему обсохнуть и обогреться. Он согласился.

Мы устроились в моей маленькой гостиной. Постепенно я успокоилась, натура взяла свое, и недавние тоскливые предчувствия представлялись уже пустой фантазией. Я поймала себя на мысли, что очень рада его присутствию, и посмотрела на него. Он улыбнулся мне как-то странно и сказал: «Госпожа Бигар...» Я замахала руками: «Что вы, что вы! Здесь вы можете называть меня просто по имени». — «Луиза, — сказал он, — я всегда был вашим почитателем, даже обожателем... — Он вздохнул и продолжал: — А нынче понял, что люблю вас...» Я вздрогнула и попыталась рассмеяться. «Уж не слишком ли много шампанского вы выпили, милый Андрей?» — «Разве я похож на человека, выпившего много?» — спросил он, бледнея.

Миновавшая тревога снова нахлынула на меня. Я не знала, что отвечать прекрасному моему собеседнику, я боялась глядеть на него, но я совсем не жалела, что он здесь и что говорит со мной, волнуясь. «Я люблю вас, Луиза, — продолжал он. — Ежели говорить о шампанском, то оно просто способствовало моей откровенности». Нет, я была даже рада, что он здесь и что горит всего лишь одна свеча и он не может видеть, как я дрожу. Но я собрала всю силу воли и сказала сдержанно, но доброжелательно: «Боюсь, что между нами затевается опасная игра...» Я сказала это, еще не окончательно потеряв голову, сознавая, как располагают к объяснениям и клятвам ночь, полумрак и даже крохотная взаимная симпатия.

Мне очень не хотелось, чтобы это оказалось пошлой попыткой соблазнить милую, но бедную певичку, однако, с другой стороны, мысль о том, что меня можно заподозрить в корыстном желании овладеть его доверием, а пуще того, богатством, приводила меня в ужас. Я набралась мужества и сказала ему об этом. Он обнял меня и с жаром прошептал: «Дорогая моя, разве ты меня соблазнила? Это я пал тебе в ноги, я сам и сам за все отвечаю!» Уже рассвело, когда я вышла его проводить. Но в сенях мы никак не могли расстаться. Грусть и отчаяние перемешивались с радостью. Андрей возвращался в Петербург, обещая в скором времени примчаться вновь... «Чего бы это мне ни стоило», — сказал он на прощание. Опять шел снег, снег двенадцатого года, когда мой конногвардеец в накинутой шинели шагнул от флигеля к воротам.

Да, дурные предчувствия — это, видимо, то, что первоначально кажется пустым вздором, а впоследствии осуществляется, приобретая плоть и имя. Теперь-то я понимаю, как одно ложилось к одному, знаменуя будущие скорые несчастья. Почему-то у религиозных русских есть поверье или, скорее, примета, что уличная встреча с попом сулит неприятности. Я не раз была свидетельницей этих несуразных представлений и всегда глубоко изумлялась, сталкиваясь с этим, хотя не смела судить со всей строгостью, понимая, что каждый народ по-своему выражает тайные мистические силы, руководящие им. Наверное же, неспроста в тот день мы очутились в Кремле и завели разговор о коронах и покорениях других земель, и я высказала предположение, правда шуточное, о возможном нашествии; и, наверное, неспроста мой милый Строганов так лихорадочно и торопливо открыл мне свое сердце, словно чувствовал, что мы перед катастрофой. Теперь я вспоминаю множество крупных и мелких событий, которые в

скором времени слились в одно наше большое страдание. Я верю в предчувствия и отношусь к ним с должным почтением и страхом. Сдается мне, что в каждом из нас имеется некий неведомый орган, предназначенный предвидеть нашу дальнейшую жизнь, и он-то и подает нам время от времени свои таинственные сигналы и намеки, предостерегая нас или пророча радости. Что же такое тогда сны, ежели не те же сигналы? Почему, смеясь и ликуя в ту ночь под Новый, двенадцатый, год, я внезапно прервала смех и подумала, что это не к добру? Почему, когда граф Ростопчин расточал свои поучительные, язвительные и остроумные шутки, вызывавшие всеобщее веселье, он увиделся мне малосимпатичным и даже страшным? Теперь-то я понимаю, что должен был знаменовать его казавшийся тогда просто экстравагантным шутиливый ответ Разумовскому. Граф Разумовский жаловался, что не может избавиться от одной семьи, которой он предоставил флигель своего Петровского дворца, пока не будет свободен их собственный дом. «Я всячески старался заставить их уразуметь, что флигель нужен мне самому, — сказал он с премилой улыбкой, — но так и не нашел приличного предложения выселить их оттуда». — «Ну, — сказал Ростопчин, — я вижу только один выход, и я бы к нему прибегнул». Все вопросительно уставились на него. «Я бы поджег флигель!» И он рассмеялся, довольный своей шуткой, и все рассмеялись следом, а я вздрогнула... Не тогда ли вспыхнула и загорелась Москва и горела невидимым пламенем, покуда губительному огню не суждено было возникнуть воочию?..

Проводив моего возлюбленного, я рассеянной рукой вписала в альбом, казалось бы, ничего особенного не значащие фразы: «Почему же этот 1812 год занимает меня больше предыдущего? Нельзя рассчитывать на продолжительность счастья. Посмотрим».

Итак, я вступила в двенадцатый год. Внешне все оставалось прежним, но предчувствие беды усиливалось и лежало на сердце тяжким грузом. От Строганова пришло пылкое письмо, которое меня несколько подбодрило, но затем наступило молчание, а в довершение всего поползли слухи о возможной скорой войне! И вот миновало весеннее кратковременное ненастье, и Москва покрылась зеленью листвы и цветами, и садик, в котором находился мой флигель, заблагоухал, и вот уже в самом разгаре июнь, и ночи душноваты, и пришло известие, что французские войска перешли границу и вторглись в Россию.

Не могу передать чувство отвращения, охватившее меня от одной мысли, что бывшие мои соотечественники осмелились нарушить столь благословенные дотоле мир и тишину. Что нужно было им? Какой злой гений руководил их поступками? Правда, среди моих знакомых французов, живущих в Москве, встречались и такие, что восторженным шепотом передавали вести о стремительном шествии Бонапарта. Но таких было немного. Большинство же были охвачены унынием.

Французская армия двигалась на Москву, и я из меры предосторожности решила выехать в Петербург. Но, увы... Никто не имел права уехать без личного разрешения камергера, даже почтовых лошадей нельзя было взять. Я попросила в дирекции московского театра отпустить, но и в отпуске мне было отказано, так как я его имела. Салоны затихли. Не могу сказать, чтобы мои русские друзья хоть как-то изменили ко мне свое расположение, но меж нами все-таки возникла легкая завеса, какая-то печальная полупрозрачная дымка, что-то такое совсем новое и необъяснимое. Мгла... Взятие Смоленска не способствовало успокоению умов. Все дворянство удалялось. Из Кремля и Воспитательного дома вывозили сокровища и драгоценности. Тянулась непрерывная вереница телег и экипажей, нагруженных мебелью, картинами и всевозможными домашними вещами. Город становился пустынее, и по мере приближения французской армии бегство усиливалось.

Война... Из боязни очутиться без съестных припасов каждый запасался провизией. Беспокойство скоро овладело всеми, так как поговаривали, что Москва останется в развалинах. Слухи о гигантском пожаре не затихали, и оставшиеся жители начали искать отдаленные районы города, чтобы избежать огня. Надеялись, что огонь затронет в основном ту часть города, по которой пройдет армия. Так как Москва велика, можно было предположить, что пламя не

коснется ее отдаленных углов. Деревянные кварталы становились пустынно. Казалось, лишь каменные дворцы, покрытые железом, устоят в жертвенном огне.

Поварская была не лучшим местом, где можно было рассчитывать на спасение, и я тоже начала с душевной болью подумывать о перемене жилья, но внезапно взор мой остановился на соседнем двухэтажном каменном доме генерала Опочинина, большого, как рассказывали, чудака, жившего безвыездно в своей деревне. Его сад примыкал к нашему, и однажды утром я увидела, как к дому подошли возы и коляска, забегали люди, начали таскать в дом вещи, к вечеру в окна вспыхнул свет, и от него распространялось такое умиротворение, такое мирное спокойствие, что на минуту забылись грозящие нам несчастья.

Этот свет поразил меня. Мне показалось, что этим спокойным людям, накануне нашествия въехавшим в пустынный город, известно, наверное, нечто, о чем я даже и не догадываюсь и что может меня утешить. Как бабочка, я полетела на этот свет. Меня провела в гостиную горничная деревенского вида, босая и молчаливая. Уже не было следов недавнего приезда. Все покоилось на своих местах, пахло обжитым домом. Свечи сияли в изобилии. В гостиной меня встретил невысокий господин с добрейшей растерянной улыбкой на румянном лице. Я кинулась к нему, как к родному.

— Милостивый государь, — сказала я, — будучи вашей соседкой, я наблюдала ваш приезд, который меня крайне поразил на фоне бесчисленных отъездов, поэтому я сочла своим долгом предостеречь вас...

— Сударыня, — сказал он по-немецки, — я не знаю французского. Кто вы?

Снова, уже по-немецки, я повторила ему все сказанное.

— Москва пустынна, — добавила я, — все бегут... Или вы ничего не знаете?

Он тяжело вздохнул. Это был вздох отчаяния.

— Молодой человек, которого я сопровождаю, — проговорил он, — внук генерала Опочинина, заболел в дороге, и я не вижу возможности продолжать наш путь. Я послал за доктором, но все напрасно, никто не откликается.

— Что же случилось с молодым человеком? — спросила я.

Он встал и поманил меня. Мы миновали несколько благопристойно ухоженных комнат. Губернера звали Франц Мендер. Он был австриец. Перед очередной дверью он попросил меня обождать. Сердце мое почему-то сильно забилося. Наконец меня пригласили.

— Посмотрите, Тимоша, — воскликнул господин Мендер, — какую живую красавицу в мертвой Москве послала нам судьба!

На кровати под шелковым пышным одеялом лежал молодой человек весьма приятной наружности. Черные кудри обрамляли его худое лицо, выразительные черные же глаза глядели на меня с интересом и восхищением. Красивые полные губы дрогнули в легкой улыбке. Было видно, что она далась ему с трудом.

— Что с вами? — поинтересовалась я. — Вы больны?

— Нет, нет, — проговорил он. — Дорожное притворство.

— Я найду вам врача, — сказала я поспешно, — будем надеяться, что ничего серьезного. — И, сделав шаг, приложила ладонь к его высокому лбу. Он был горяч и влажен.

«Бедный мальчик, — подумала я с ужасом, — когда б он знал, как не вовремя эта болезнь!»

— Как вы думаете, — спросил Тимоша, — Бонапарт возьмет Москву?

— Разумеется, нет, — сказала я, как могла, бодро, — наши войска встретят его и остановят.

Господин Мендер тяжело вздохнул.

— А вот Франц Иванович утверждает, — сказал Тимоша, — что надежды нет. Мой дядя дает обед в честь Наполеона. — Он закрыл глаза и продолжал: — От этого обеда, как он говорит, многое зависит...

Я поняла, что он бредит. Мы переглянулись с губернатором.

Этим же вечером мне удалось уговорить доктора Баузе, доброго моего знакомого, осмотреть Тимошу. Доктор нашел у него обыкновенную горячку, прописал мясные бульоны, чай с сушеной малиной и полный покой. Мужественный молодой человек очаровал меня, и я, страдая от одиночества и страха, поняла, что мое место возле него. Как я была вознаграждена на следующее утро, когда услышала от господина Мендера, что Тимоше получше и он ждет меня с нетерпением! При свете дня он показался мне просто красивым. Счастливой будет, видимо, его избранница. Я поинтересовалась его здоровьем.

— Замечательно, — сказал он, — стоило вам появиться, и я чувствую себя совершенно выздоровевшим.

Однако глаза его говорили об обратном. Я промолчала.

— Госпожа Бигар, — сказал он, — как хорошо, что вы ко мне приходите, я, наверное, оттого и начал поправляться...

— Ах, юный льстец, — засмеялась я, — разрешаю называть меня просто по имени. Не скрою, до вашего приезда я была в полном отчаянии, и, видимо, меня тоже излечило ваше появление.

Он умел краснеть. Как оказалось, ему было всего лишь шестнадцать. Совершенное дитя! Но его манеры, ироничность, здравомыслие — все это одновременно с бархатной глубиной черных глаз придавало ему облик зрелости, и я иногда терялась, когда, беседуя с ним на равных, вдруг вспоминала, что он еще так юн. Бедняга, он был круглый сирота, но кем я могла быть для него? Матерью? Боюсь, это выглядело бы более чем комично. Сестрой? Но он разговаривал со мной не как с сестрой, и время от времени я ловила на себе его внимательный, изучающий взгляд.

Какой бы я ни была в жизни притворщицей, что женщинам свойственно и даже их часто украшает, перед собой-то мне нечего притворяться, и я, нисколько не опасаясь прослыть самонадеянной, утверждаю, что была не первой представительницей женского пола, вызвавшей его недетский интерес. Я вспомнила, что принесла с собой шоколадку, и протянула ему. Он просиял, разделил ее пополам и, когда я начала было отказываться, поощрительно коснулся моей руки. Мы ели шоколад, болтали, смеялись и совсем позабыли, что находимся в Москве, почти опустевшей и приготовившейся к самому худшему.

Вечером господин Мендер прислал сообщить, что у Тимоши вновь жар, что он бредит и призывает меня. Я просидела над ним почти всю ночь, страдая вместе с ним, вглядываясь в его трогательные черты, и ощущала в себе прилив сил решительности и надежды. Все развивалось странно. Он метался в жару, выкрикивал бессвязные слова, целовал мою ладонь, стоило мне прикоснуться к его лбу. Снова приходил доктор Баузе и сказал, что следует ждать кризиса. Он сказал также, обращаясь к господину Мендеру, что нужно выбираться из Москвы, что он сам уезжает, к сожалению, так как у него семья... К утру Тимоша заснул, через полчаса проснулся и сказал мне спокойно и разумно:

— Отчего бы вам, милая Луиза, не перебраться в наш дом? Москва ведь может сгореть. Наш дом каменный. — И снова заснул.

Господин Мендер благосклонно кивнул в ответ. Я подумала, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и к полудню благополучно перебралась на новое место. Отныне, когда все мои друзья покинули город и любезный моему сердцу Строганов затерялся неизвестно на каких биваках, а театр закрылся, никому не было до меня дела, кроме, пожалуй, Тимоши и его гувернера, так странно возникших в моей одинокой жизни.

Так как запасов деревенского продовольствия в доме было с избытком, мы решили во избежание недоразумений не покидать дома, и единственной связью с миром явилась подзорная труба, через которую мы с крыши наблюдали московские окраины, надеясь заметить по едва видимым приметам начало зловещего карнавала.

Но вот по Москве потянулись войска. Это была отступающая русская армия. Колонны двигались днем и ночью, вбирая в себя, словно ручейки тающего снега, остатки москвичей,

торопящихся на восток. Это были тихие бесконечные угрюмые колонны, во главе которых ехали усталые офицеры, многие из них были в бинтах. Наконец солдаты завершили свой поход, и потянулись многочисленные пушки и тысячи телег с военным скарбом. Строганова не было. Случайные люди рассказали нам о грандиозном сражении где-то под Москвой.

В тот же день к вечеру мы взобрались на чердак и направили на запад нашу трубу. За чертой города, где кончались редкие огоньки и начиналась тьма, мы вдруг увидели переливающееся свечение, бескрайний океан огней, будто там, за Москвой, возник новый, еще более грандиозный город. Мы догадались, что это бивачные огни французского лагеря. Тимоша спал, когда мы вошли в комнату. Я в изнеможении опустилась в кресло. Господин Мендер стоял у темного окна, но я видела, что он беззвучно плачет... Как тяжело видеть плачущего мужчину, плачущего не от злобы, не от страха, без шумных всхлипываний и ожесточенных восклицаний, плачущего от великой печали, тихо, для себя самого, по себе самому...

Мне было стыдно, что я француженка, что мои соотечественники прервали нашу милую, почти беззаботную жизнь, что господин Мендер, томимый какими-то таинственными страхами, плакал у окна, что Строганов ко мне не воротился. И тут во мне созрело неукротимое желание отправиться к заставе и самой увидеть незваных пришельцев, а может быть, и самого императора и крикнуть им что-нибудь оскорбительное на их родном языке. Я представляла, как они будут выглядеть со своими султанами, полные торжества и самодовольства, как будут сиять их глупые украшения, под которыми они все равно не смогут скрыть своего ничтожества. Я бы хотела в самый торжественный момент, когда звуки военных оркестров достигнут кульминации, унижить их, хотя понимала, что это смешная мера в отношении людей, насытившихся чужой кровью. Однако на следующий день к нам явились московские полицейские, от которых мы узнали, что неприятель только лишь готовится вступить в Москву, что они советуют всем выехать, так как будут жечь город! «Уезжайте, — сказали они, — пожарные трубы из города вывезены, и тушить пожары будет нечем. Все сгорит...» — «А вы?» — спросил господин Мендер. «Мы уходим», — ответили полицейские.

Тут я вспомнила Ростопчина и его пророческую фразу.

Я была крайне растеряна, ибо, как мне казалось, слишком легкомысленно распорядилась собственной судьбой, оставшись в Москве. Я хотела спросить у господина Мендера, как он может объяснить нам непростительную халатность, но тут же вспомнила мечущегося в жару Тимошу, у которого вновь наступило ухудшение, и промолчала. Через слуг мы узнали, что накануне были раскрыты тюрьмы. Об этом говорилось шепотом, потому что мы хорошо представляли себе, что может случиться, если толпа этих отвратительных созданий надумает ворваться к нам в дом и пограбить!

Словно в подтверждение этого, с улицы слышались крики, и мы увидели из-за опущенных занавесей толпу оборванных бродяг, пьяных и грязных, шествующих по Поварской и поглядывающих на окна домов. Внезапно они свернули с улицы и вбежали в сад, где совсем недавно жила я. Слышались крики, свист, скрежет; зазвенели стекла... Господин Мендер приказал слугам наглухо затворить двери.

Мысль о том, что я должна встретиться с императором и выкрикнуть ему свое отвращение, еще сильнее загорелась во мне. На следующее утро, никому не сказавшись, я выскользнула из дома и, поминутно озираясь и вздрагивая от страха, отправилась к Дорогомилловской заставе, чтобы исполнить свои сумасбродные замыслы. На Поварской не было ни души. Едва я свернула за угол, как передо мной вырос военный на серой лошади.

— Сударыня, — спросил он, — куда задевался этот чертов Кремль?

Я указала ему дорогу и тут же похолодела — солдат говорил по-французски.

— Господин солдат, вы француз?

— Да, сударыня...

— Значит, французы здесь?!

— Армия вошла в предместья вчера в три часа...

— Вся?!

— Ну конечно, вся, — засмеялся он и ускакал.

Голова у меня закружилась. Едва волоча ноги, я воротилась в дом, где меня уже начали искать. Тимоше с утра было лучше. Он лежал в постели бледный, изможденный, но улыбнулся, увидев меня. В худеньких его руках появилась книга (о, это добрый знак!), рядом на стуле лежало еще несколько. Какие несоответствия дарует нам жизнь: эта всеобщая беда и эти мирные книги, сочиненные людьми, далекими от наших нынешних забот! Кроме книг я обратила внимание на маленький альбом в матерчатом переплете, а рядом перо и чернильница. О, подумала я, как прекрасны, должно быть, стихи, написанные чистым юношей в столь печальные дни!

— Французы в городе, — сказала я обреченно.

— Мне кажется, что я знаю вас вечно, — сказал он в ответ, — разве вы не жили у нас в Липеньках? Помнится, вы ревновали меня к Арише...

Больному все можно и все прощается. Милый мальчик, если бы он знал, как он мне дорог! Он руку у меня поцеловал, по-детски прилежно и по-мужски упоительно. «О, если бы не было этого отвратительного нашествия! — подумала я, наслаждаясь прикосновением его горячих губ. — Чем же мы прогневили Бога, что он наслал на нас такие испытания?»

— Кто такая Ариша? — поинтересовалась я с шутливой строгостью.

— Девка, — сказал он, — моя дворовая. Очень хороша. — И засмеялся. К вечеру в раскрытое окно потянулся зловещий запах гари.

— Ну вот, — сказал господин Мендер, — горит. — Это, вероятно, обещанный пожар. Хорошо, что мы в каменном доме.

Я вновь вспомнила Ростопчина и его пророческую шутку.

Когда стемнело, мы увидели довольно яркое зарево, оно еще было далеко, но с Москвы-реки дул сильный ветер, а с его помощью пламени ничего не стоило стремительно продвигаться по деревянным улицам.

— Вы думаете, нас спасет каменный дом, если вокруг все будет в огне? — спросил Тимоша.

Мы решили подождать до утра и, если пожар действительно распространится, искать новое убежище. Ночью раздался стук в дверь и переполошил всех. Мы долго не знали, что предпринять. Стук повторился. За дверью было тихо. Толпа пьяных грабителей не вела бы себя столь вкрадчиво. Господин Мендер вооружился пистолетом, велел слугам взять палки и отворить дверь. Она распахнулась, и в прихожую, опираясь на палку, медленно ввалился изможденный офицер.

— Господа, — сказал он по-русски, — не откажите в убежище.

Это был русский офицер, раненный в ногу, отставший от своих и двое суток перебивающийся с воды на хлеб в чьем-то брошенном каретном сарае. Нынче ночью он рискнул попытаться встретиться с благородными людьми, хотя, как он сказал, есть распоряжение самого Бонапарта, его твердое обещание Кутузову опекать всех раненых и больных военных, которые не успели покинуть город. Мы с ужасом и болью глядели на этого офицера. Правда, офицерского в нем было уже мало, пожалуй, лишь оборванный мундир да сапоги, давно потерявшие блеск и покрытые засохшей грязью. Разве мы могли ему отказать?

Я обмыла и перевязала ему страшную рану, мы накормили его и уложили в комнате Тимоши. Я была против, но Тимоша настаивал, возбудился, и мы с господином Мендером, боясь последствий, уступили ему. Измученные, мы все уснули. Когда же утром раненый офицер узнал, что попал в дом генерала Опочинина, изумлению его не было предела. Постепенно я узнала о давней мистической связи меж этими людьми, оказалось, что офицер еще совсем недавно, попав со своим отрядом в крайние обстоятельства, был пригрет старым генералом в Липеньках, а теперь, после удивительной истории, которая с ним случилась, он вновь спасен в доме того же генерала! Невероятно... Его фамилия была Пряхин.

— Какая же история? — спросил Тимоша, широко распахивая черные глаза.

— Бог ты мой, — засмеялся офицер, — вы лучше скажите, жив я или все это потустороннее и я лечу, душа моя летит и грезит?.. Дело в том, господа, что я видел Бонапарта!.. Мы ахнули и потребовали немедленно удовлетворить наше любопытство.

— Буквально вчера, господа, — сказал Пряхин, — трудно поверить.

РАССКАЗ ПОРУЧИКА ПРЯХИНА

— ...Знаете ли вы, что такое арьергард во время отступления? — так поручик начал свой рассказ. — Во время отступления арьергард — это самая боевая воинская часть, на плечи которой ложится главная тяжесть от постоянного соприкосновения с противником. Хотите — верьте, хотите — нет, но провидение устроило так, что Кутузов перед самой Москвой назначил Милорадовича начальником арьергарда, а Милорадович, поддавшись чарам провидения, выбрал меня среди множества других для одного важного поручения. Ей-богу, это был мой счастливый шанс; и я нисколько не жалею о полученной ране — пустяковая плата за восхитительную удачу!

Короче, мы отступаем к Москве, огрызаемся, а тут Кутузову доносят, что отступающая армия не успеет выйти из Москвы и принуждена будет бросить там и артиллерию, и обозы, и прочее. Что делать? Кутузов направляет Милорадовичу письмо, адресованное начальнику штаба Наполеона маршалу Бертье. В том письме, по принятому военному обычаю, Кутузов поручает попечению неприятеля наших раненых, оставшихся в Москве. Милорадович должен был направить это письмо начальнику французского авангарда Мюрату. И вот он обратился к стоявшему поблизости нашему полку и спросил офицеров: «Кто из вас может хорошо изъясняться по-французски?» И тут выехал я. Ей-богу, так случилось, что остальные замешкались или не решились, а я был тут как тут. Генерал передал мне пакет и приказал вручить его лично Мюрату и еще сказать маршалу, что если французы желают занять Москву целую, то должны, не наступая сильно, дать нам спокойно выйти из столицы с артиллерией и обозом. В противном случае генерал Милорадович перед Москвою и в самой Москве будет драться до последнего человека и вместо Москвы оставит французам одни развалины...

— Надо было драться, — сказал Тимоша.

— Погодите, — сказал Пряхин, — так решил военный совет, а мне следовало встретиться с Мюратом, только и всего. И, кроме того, генерал поручил мне как можно дольше задержаться возле маршала: мол, пока то да се, армия спокойно отступит. Я взял из генеральского конвоя трубача, и мы поскакали. Подъехав к передовой французской цепи, состоявшей из конных егерей, я велел трубить. Тотчас к нам выехал командир егерского полка и, узнав, в чем дело, велел проводить меня к начальнику аванпостов генералу Себастиани, чтобы я вручил ему послание...

Ишь ты! Мне велено Мюрату, так подавайте мне Мюрата! Он спорить не стал, и меня проводили к самому маршалу. Мы миновали пять конных полков, стоявших развернутым строем перед пехотными колоннами. Красота неопишная! Я сразу же увидел маршала, разодетого в блиставшие золотом одежды, окруженного многочисленной свитой. Я подъехал. Ему доложили. Он снял свою шляпу с перьями, всю в золотых прошивках, и приветствовал меня, ей-богу! «Что скажете, поручик?» — спросил он, приблизившись ко мне на своем коне и положив руку на шею моему коню. Я вручил пакет и передал устное послание Милорадовича. Мюрат, прочитав письмо, сказал: «Касательно больных и раненых — излишне поручать их великодушию французских войск: французы на пленных неприятелей не смотрят как на врагов. О предложении же генерала Милорадовича я должен испросить мнения лично императора».

Он немедленно отправил меня со своим адъютантом к самому Бонапарту. Бог ты мой, у меня даже поджилки затряслись от такой неожиданности, но не успели мы проскакать и

сотни шагов, как нас воротили обратно. «Желая сохранить Москву, — сказал Мюрат, — я решаюсь сам согласиться на предложение генерала Милорадовича и пойду так тихо, как вам угодно, с тем, однако, чтобы мы могли к вечеру занять город». Это было замечательно, и я сказал ему, что генерал примет эти условия, на что он незамедлительно распорядился, чтобы передовые цепи прекратили перестрелку и остановились. Я вздохнул с облегчением. (Мы тоже все вздохнули, принимая живейшее участие в истории поручика.) Затем он спросил меня: «Вы хорошо знаете Москву?» — «Еще бы!» — ответил я. «Тогда передайте ее жителям, чтобы они были совершенно спокойны, что им не только не сделают никакого вреда, но и не возьмут с них контрибуции и всеми способами будут заботиться о их безопасности».

Тут он задумался, видимо вспомнив, как все опустело в горящем Смоленске, опустели и закрылись магазины, трактиры и даже кондитерские, так что зимние квартиры там организовать было почти невозможно. Он подумал, видимо, об этом и спросил меня: «Не оставили ли Москву ее жители? Где хозяин Москвы граф Ростопчин?» Я ответил, что, постоянно находясь в арьергарде, ничего не знаю. Пока мы беседовали, время шло, и французские войска стояли на месте, что, конечно, было нам на руку. Затем маршал сказал задумчиво: «Я очень уважаю вашего императора, а с его братом мы просто в тесной дружбе, и я не могу не сожалеть, что обстоятельства вынуждают нас воевать друг с другом. Много ли ваш полк потерял людей?» — «Можно ли, Ваше величество, не нести потерь, почти ежедневно находясь в сражениях?» — «Тяжелая война», — заметил Мюрат. Я осмелел и сказал: «Мы деремся за отечество и не примечаем военных тягот». Маршал спросил с внезапным раздражением: «Отчего же не заключают мир?» — и выругался по-солдатски (поручик с улыбкой оборотился в мою сторону)... Это не для ваших ушей, любезная сударыня... Я ответил, что ему лучше об том знать. Он улыбнулся и проговорил: «Пора мириться». Наконец он отпустил меня, и я отправился восвояси, счастливый и гордый, и поскакал прямо к генералу Милорадовичу.

— Счастливый вы, Пряхин! — воскликнул Тимоша. — Да жаль Москву...

— Бог ты мой, это же еще не конец, — засмеялся Пряхин. — Ежели вам угодно, то далее было вот что... Я нагнал Милорадовича уже близ Кремля. Я рассказал ему о своем свидании с Мюратом и о согласии французов на его предложения. «Конечно, — сказал Милорадович, — им так нужна целая Москва, чтобы обсохнуть, отогреться и отдохнуть, что они готовы на все условия...» Не успел он договорить своей фразы, как грянула музыка. Играл военный оркестр. И тут мы увидели, как из ворот Кремля выступают батальоны московского гарнизонного полка в полном снаряжении, с развернутыми знаменами и под оркестр. Послышался ропот солдат из арьергарда и крики: вот, мол, изменники, радуются нашему горю, маршируют под музыку! Впереди полка ехал на коне его командир полковник Брозин.

Милорадович побагровел, подскакал к полковнику и крикнул: «Какая каналья приказала вам выходить с музыкою?!» С невольным простодушием полковник сказал, что когда гарнизон при сдаче крепости получает позволение выступить свободно, то выходит с музыкою, как сказано в регламенте Петра Великого. «Да разве сказано в регламенте Петра Великого о сдаче Москвы? — закричал Милорадович. — Прикажите немедленно музыке молчать!» Музыка замолкла. Редкие москвичи, стоявшие поодаль, плакали, ей-богу.

Наконец генерал сказал мне: «Придется вам снова скакать к Мюрату, чтобы заключить дополнительное условие и продлить перемирие теперь уже до семи часов утра. В случае несогласия с французской стороны передайте, что я останусь при прежнем решении и буду драться...»

И вновь я поскакал навстречу неприятелю. Теперь уже я нашел Мюрата в самом Дорогомилове, рядом с заставой. Он ехал вслед за своей передовой цепью, а эта цепь уже смешалась с отступавшим арьергардом казаков. Прелестная картина. Все едут вместе, как на прогулке, бог ты мой, и даже не верится, что они друг другу враги! Вот какие военные метаморфозы... Мюрат ласково принял меня и тотчас согласился на все предложения. Потом он спросил, сообщил ли я жителям столицы, что они будут в совершенной безопасности? Честно говоря,

я позабыл об обещании, данном маршалу, да и с кем я мог говорить? Однако делать нечего, пришлось врать, что я говорил и что они верят в благородство французов. Мюрату понравился мой ответ. Вообще настроение у него было великодушное. Мы ехали рядом, беседуя, словно два приятеля. Мюрат поравнялся с казачьим полковником и спросил его: «Не вы ли, господин полковник, начальник этого арьергарда?» Полковник чуть не поперхнулся, когда увидел, кто с ним говорит, но ответил с достоинством утвердительно. «Знаете ли вы меня?» — спросил Мюрат с улыбкой. «Я знаю вас, Ваше величество, и всегда видел вас в огне», — ответил полковник.

Теперь уже мы трое ехали седло в седло, мирно беседуя. На плечах полковника была бурка, и Мюрат сказал, что такая одежда, наверное, незаменима на биваках. В тот же момент полковник молча снял с себя бурку и подал ее неаполитанскому королю. Мюрат не ожидал подарка, засуетился, стал советоваться со своим адъютантом, чтобы как-то ответить, но под руками ничего подходящего не находилось, и тогда он взял часы у адъютанта и преподнес их полковнику. Никогда не забуду эту прогулку. Я еще подумал: «Неужели мы вновь должны стрелять друг в друга?»

— Прелестная прогулка, — сказал Тимоша хмуро, уставившись в пустой угол.

— Вы предполагали, — сказала я, — что французский маршал похож на Чингисхана. И в руке его окровавленный нож?

— Нет, я этого не думал, — сказал Пряхин, — просто странно, и все.

— А с Бонапартом-то что? — спросил Тимоша.

— Придет черед и Бонапарта. Приключения мои на том не кончились. Я пришпорил коня и поскакал обратно. Теперь, чтобы добраться до генерала, нужно было пересечь всю Москву. Впереди показался Арбат. В самом начале его я увидел громадную толпу простых людей — мужчин, женщин, детей, которые пели что-то душу раздирающее. Они шли по Арбату, а впереди них священники в ризах и с иконою. Все эти люди покидали город, и я не мог отделаться от мысли, что в этом и моя вина. Я проскакал мимо — они на меня даже не взглянули.

И вот в конце Арбата подлая природа надоумила меня завернуть в ближайший двор в поисках укромного уголка. Растрекаятый дурень, оставил я коня на улице у самых ворот, углубился во двор, там дом с заколоченными ставнями, справа каретный сарай с антресолю и распахнутой дверью, я это запомнил, свернул за сарай, и тут, — Пряхин закатил глаза, — из-за угла с диким криком кинулся мне навстречу пьяный мужик с красными глазами, замахнулся и ударил ржавой остройгой... (Услыхав это, я почувствовала дурноту.)

Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-богу. Откуда взялись силы приподняться, не знаю. Но приподнялся и пополз вдоль сарая, покуда не поравнялся с дверью. Внутри никого не было, но соломы и сена хоть отбавляй, и треногий стол у стенки, а на нем, ей-богу, полкаравая хлеба, бутылка с водой и кружка, все свежее, видно, хозяйева ушли недавно, так все и бросили. Я кое-как перевязал себе рану, зарылся в сено и не то уснул, не то потерял сознание, и слава богу, потому что рану начало сильно жечь.

Сколько я провалялся так, не знаю, но проснулся от голода и с удовольствием поел хлеба. Была тишина, словно меня похоронили. Мне стоило большого труда подняться на антресолю, чтобы как-то оглядеться, и из полукруглого окна я увидел под собой Арбат. Он был пустынен. Я вспомнил давешних людей, покидающих родные пенаты, и слезы навернулись на глаза, тем более что и обида разгорелась во мне пуще: сколько прошел, в каких делах побывал, и надо же, пьяный мужик проткнул меня остройгой, и я становлюсь пленником! От горя и от беспомощности я долго плакал, а под вечер снова заснул, провалился и, видно, проспал всю ночь.

Утреннее солнце разбудило меня. Рана горела. Арбат был вновь пустынен, но что-то все-таки переменялось со вчерашнего. И вот я слышу цоканье подков, их много, много. Медленное тягучее цоканье... И вот я вижу такую картину, будто ничего не случилось, Москва как Москва, раннее утро, жители еще спят, лишь один какой-то старичок в ночном колпаке высунулся из дверей, за ним показалась женщина, немолодая и круглолицая, и вот цоканье приблизилось, и я увидел французских конногвардейцев, медленно движущихся по Арбату. Я

даже вздрогнул. Их было много, эскадрона два. Они ехали молча и торжественно, за ними на маленькой арабской лошади ехал человек в сером сюртуке, опустив голову, а следом большая толпа пышных всадников.

Я сразу узнал этого человека — это был Бонапарт. Они направлялись к Боровицким воротам. Я еще, помню, удивился от внезапности происходящего, что ни оркестров, ни радостных кликов, никаких признаков, что город сдан. Представляете? Жители еще спят, тихое обычное утро, а по Арбату едет Наполеон! Тут я заплакал и вновь вспомнил о позорной своей ране, да еще было отвратительно оттого, что не мог застрелиться. Бог ты мой, надо было застрелиться, а решимости не хватало...

За целый день я многое перевидал из своего укрытия: и французских солдат, и пьяниц каких-то; донесся до меня запах гари; ночь опустилась. Тут подумал, что могу и сгореть в своем деревянном сухом сарае, или помереть с голоду, или кровью изойти. Зачем же это? Я еще молодой. Зачем же мне помирать? Выполз я из сарая, вооружился палкой, коня моего давно след простыл, и пошел я искать спасения...

Мы сидели молча. Я словно видела императора, едущего по пустынному Арбату.

Ведь это был мой император, победами которого я там, во Франции, не раз восхищалась. Теперь же чувство вины не покидало меня, и, когда я пыталась представить себе этого человека, поселившегося в Кремле, передо мной возникал не тот знакомый мне молодой Бонапарт, а старик с изможденным лицом и безумными глазами. Бедный поручик Пряхин, униженный своим же пьяным соотечественником; бедный господин Мендер, исстрадавшийся душой, источенный какой-то заботой, вечно твердящий одно и то же: «Теперь мне все равно, мои дни сочтены...» Бедный Тимоша, такой восторженный и такой беспомощный! А я? Если бы они знали, что бушует во мне!

Мы сидели молча. Были сумерки раннего сентября. Меж тем пожар разгорался не на шутку, и нашей маленькой семье пришлось всерьез задуматься о временной перемене жительства. Нашему каменному дому, конечно, не были страшны огненные головешки, но жить вблизи деревянных строений, которые обязательно загорятся, окруженным бушующим пламенем, задыхаться в дыму, имея на руках больного и раненого, это не казалось разумным. Нужно было искать надежное пристанище, и я уже решила отправиться на поиски, как господин Мендер встал поперек моего пути.

— Во-первых, милая Луиза, вы нужнее больным, а во-вторых, — он покраснел и потупился, — мои дни все равно сочтены, и никакие убежища не могут уберечь меня от предстоящего...

Это был шепот, но шепот торжественный, а потому смешной.

— Господь с вами, господин Мендер! — воскликнула я. — Да вы же так молоды. Просто вздор все, что вы говорите!

Тимоша, размахивая своим альбомчиком, подавал мне отчаянные знаки, чтобы я не спорила. Господин Мендер надел шляпу и отправился по вечеряющей Москве.

— Не спорьте с ним, — сказал Тимоша, — он вбил себе в голову, что французы преследуют его и в Москву явились за ним... Он будто бы в чем-то виноват перед ними. Он умный, но и сумасшедший...

Я никогда не подозревала, что запах гари может быть таким вязким и мучительным. Как мы ни закрывали окна, он проникал всюду, и даже наша еда пропиталась им. Вести были все мрачнее. Случайные очевидцы рассказывали, что французы рыщут по городу в поисках поджигателей. Теперь, когда с нами был поручик Пряхин, можно было не так сильно вздрагивать при каждом стуке в двери, хотя и понимала, что против шайки пьяных грабителей и он слишком слаб.

Наконец, уже очень поздно, воротился господин Мендер. Он сиял, от недавнего его уныния не осталось и следа. Поразительно, как быстро меняются люди в зависимости от обстоятельств!

— Дамы и господа! — крикнул он. — Москва горит! Однако мне удалось найти совершенно неприступную для огня крепость, и нам следует туда перебраться...

Счастливый случай: господин Мендер фантастическим образом познакомился с архитектором Вурсом, который по хитрым протекциям устроился на жительство в пустом дворце князя Голицына на Басманной улице, вернее, во флигеле дворца...

— Флигель-то каменный? — поинтересовался Тимоша.

— Это даже не флигель, — сказал господин Мендер, — это оранжерея при дворце, зимний сад, дамы и господа, но главное заключается в том, что тот район Москвы огнем совсем не тронут. Там не жгут. Он цел, как пасхальное яичко!

Архитектор Вурс даже обрадовался, встретив соотечественника, и предложил немедленно перебраться. Он сказал, что все шансы за то, что Басманной огонь не коснется.

Я распорядилась запрячь наших лошадей, но господин Мендер замахал руками.

— Дорогая, — сказал он, — ни в коем случае. Говорят, что французы реквизируют всех лошадей для армии. Поверьте мне, им здесь, на конюшне, будет гораздо спокойнее, чем во вражеских стойлах.

— Тем более что наши лошади понимают только по-русски, — сказал Тимоша.

— Нужно найти какие-нибудь дрожки, — продолжал господин Мендер, — какого-нибудь возницу за любые деньги.

Какие дрожки в гибнущей Москве? Но все-таки мы послали слуг за ними, и трудно поверить, но слуги отыскали какого-то мужика, не очень трезвого, который согласился нас перевезти, за что я подарила ему свою старую шаль. Мы взяли с собой только самое необходимое, устроили в дрожках наших больных и отправились в княжеские оранжереи. Была уже полночь, когда мы двинулись по Поварской. Пожар подступил совсем вплотную, и на Поварской уже горело несколько зданий, а ветер разносил искры и пылающие головни. Не скажу, что это путешествие было из самых приятных. Поручик сжимал в руке заряженный пистолет. «Первого я пристрелю, — сказал он мне, — второго попотчую саблей, остальные разбегутся...» К счастью, нам повезло: несколько раз нам встречались пьяные французские солдаты, но они не обратили на нас внимания. Трудно передать словами, что мне пришлось пережить, пока мы наконец не добрались до Басманной. Действительно, огня на ней не было. Она была тиха, как всякая полночная улица. Слева возвышался громадный дворец князя Голицына, пугавший черными окнами.

Напротив него тянулся вдоль улицы не менее громадный дворец князя Александра Куракина, в котором мне еще не так давно приходилось бывать с самыми приятными целями. Оба дворца были покинуты. Холодом веяло от их стен.

Архитектор Вурс и его супруга встретили нас очень радостно, и по выражению их лиц я поняла, как страшно им было в одиночестве. Перед нами распахнулась оранжерея, еще более роскошная, чем у Строгановой. Несколько китайских фонариков с драконами, обезьянами и хвостатыми рыбами источали таинственный свет. Хотя мраморные фонтаны бездействовали, их сочетание с пышной окружающей зеленью было превосходным. Аккуратные аллеи, утопая во тьме, казались бесконечными. Не верилось, что рядом Москва, охваченная пожаром, что в Кремле Бонапарт, что недавнее счастливое время уже невозвратно. Мне пришлось взять на себя обязанности хозяйки. Я распределила всех — и господ, и слуг, — каждому нашла место, велела слугам натаскать сена. Надо было ложиться: неизвестно, что готовил нам грядущий день. Слава богу, места в оранжерее было предостаточно.

Господин Мендер облюбил себе сиреневый куст рядом со входом, Тимоше была определена прекрасная зеленая лужайка за одним из фонтанов, где он и устроился вместе со своими книгами, за другим фонтаном мы уложили поручика, а мне, как единственной даме и хозяйке, досталась прелестная беседка, увитая плющом. Сено мы покрыли ковриками и занавесками, сверху нагромодили постели, и у каждого получилось пышное очаровательное ложе. Осталось пожелать каждому спокойной ночи. Я подошла к поручику и спросила, удобно ли ему.

— Я могу спать и на голом полу, — сказал он браво, — но сейчас мне не спится.

— Не хотите ли воды? — спросила я.

— Только из ваших рук, — сказал он как-то чересчур торжественно. — Скажу вам честно, я был очень удручен своей постылой раной, но теперь, рядом с вами, бог ты мой... Мне даже не хочется выздоравливать. — И засмеялся. — Впрочем, напротив, хочется быть здоровым и чем-нибудь вам услужить...

— Похвально желание быть полезным другому, — сказала я с шутливой назидательностью, — но нынче придется спать.

— Ах, — сказал он, — сон нейдет... хорошо ли вам в беседке?

Руки его покоились на одеяле, голова была приподнята. Сад благоухал, какие-то птицы сонно попискивали среди ветвей. Сердце переворачивалось от жалости, когда я глядела на этого сильного и молодого мужчину, страдающего от бездействия в такие дни. Не скрою, он был мне симпатичен, и я ловила себя на мысли, что все реже вспоминаю своего милого Строганова.

Тут я должна сделать маленькое отступление. С первой минуты, как поручик Пряхин появился в нашем семействе, я стала замечать, что в моем присутствии интонации его бодрого офицерского голоса становились мягче и вкрадчивей. Меня это не удивляло, так как я встречала не раз подобные же проявления мгновенной симпатии к себе со стороны многих. В этом не было ничего странного, а тем более предосудительного, потому что любой нормальный мужчина, встретившись с красивой молодой особой, должен неминуемо проявить свою приязнь взглядом, жестом, особыми интонациями, и все это совершается произвольно, по прихоти природы. Некоторые дамы, склонные к ханжеству, испытывая удовольствие от подобных знаков внимания, объясняют их обычной мужской распушенностью. Вздор. Никто не приносил мне зла, и я с тайной радостью вспоминаю нынче былых моих вздыхателей и обожателей. Конечно, некоторые из них запомнились едва, столь мимолетными были их ко мне претензии... Ну что ж, так решала за нас судьба, и сетования в адрес ее бесполезны. Для меня главным всегда было начало, эти робкие или, наоборот, бурные проявления восторга передо мной, когда кружилась голова, стучало сердце у меня, возносимой на пьедестал. И вот я стала замечать это в Пряхине, как, впрочем, и в Тимоше, что вызывало во мне ответные порывы, тайные фантазии, которые я должна была, по своему положению, сдерживать и обнаруживать не сразу.

— Фонтан, возле которого устроен наш младший друг, — прошептал он с шутливой укоризной, — лучше моего. — И засмеялся.

— Побойтесь Бога, — произнесла я едва слышно, — мы накануне гибели мира, а вы о чем?.. Эта война, пожар, разбойники, и мы в этой оранжерее!.. Да он ведь совсем мальчик... — Он поцеловал мне руку. — Ваши претензии чрезмерны, — это я произнесла совершенно ледяным тоном, но разглядела, как он улыбался.

Я оставила его, хотя он не хотел выпустить мою руку. Тимоша крепко спал. Последние два дня, несмотря на переезд и суровые обстоятельства, здоровье его улучшилось, видимо, мясные бульоны, прописанные доктором, оказали свое благотворное воздействие. Я поправила на нем одеяло и решила заглянуть к господину Мендеру. Постель его была пуста, а сам он сидел в белом садовом кресле, вытянув ноги, закинув руки за голову. Черный сюртук растворялся в полутьме.

— Господин Мендер, — сказала я, — я пришла пожелать вам спокойной ночи. Отчего же вы не спите?

— Ах, дорогая, — воскликнул он шепотом, — представьте, я думал о вас! С тех пор как вы появились в нашем доме, моя жизнь начала, как это ни странно, утрачивать свою обреченную сущность. Кто надоумил вас прийти в наш дом? Уж не ангел ли вы, ниспосланный нам небесами?.. Клянусь, если бы не эта чудовищная ситуация, я не преминул бы припасть к вашим ногам. Боюсь, что теперь это может выглядеть ненатурально. Я думал о том, что если выживу, вернусь в Линц и напишу оттуда вам письмо, состоящее из одних высокопарностей!..

Это уже начинало походить на безумие. Они все посходили с ума. Запах удушливой гари, надвигающийся огонь, канун гибели совсем расстроили их воображение. В такой обстановке мы обмякаем, делаемся податливей, теряем способность к сопротивлению. Мы летим на спасительный свет, а оказывается, это вечная тьма... Так думала я, а надо мной склонялись тяжелые ветви смоковниц и кипарисов, и ночные цветы благоухали, что-то горячее и живое шевелилось в зеленой гуще... Уж не одни ли мы на всем белом свете?

Я попросила его лечь и заснуть. Он послушно улегся, и я отправилась к себе в беседку в надежде, что утро прояснит нашу жизнь. Прямо в одежде упала я на постель и тотчас же уснула. Не знаю, сколько времени длился мой сон. Что-то заставило меня открыть глаза. Прямо передо мной у самого входа в беседку темнел силуэт мужчины.

— Луиза, не пугайтесь, это я, — сказал поручик, — сна нет, ничего не могу с собой поделаться... Вы только не пугайтесь... — И горячей ладонью он провел по моей руке. — Бог свел нас в этом райском саду, — прошептал он, наклоняясь ниже, — я бессилен против судьбы...

— Что вы делаете? — едва слышно проговорила я, отстраняя его от себя. — Вы всех разбудите... Ступайте к себе!..

Он опустил на колени. Я слышала, как он тяжело дышит, и поняла, что он невменяем, и приготовилась защищаться, ибо безумие безумием, а моя репутация в глазах моих друзей должна быть чистой и безукоризненной.

— Мой дядя, — совершенно отчетливо произнес Тимоша неподалеку, — при всей своей доброте большой фантазер. Эта выдумка с обедом — просто игра от беспомощности и отчаяния.

Мы с поручиком замерли, словно воры в засаде.

— Может быть, — сказал в ответ господин Мендер, — но это в дни войны создало ему нелестную репутацию. Он мог придумать что-нибудь более подходящее моменту...

Я оттолкнула поручика от себя, что стоило мне немалых усилий, и знаками показала, чтобы удалился. Я слышала, как он отправился к себе. Затем прозвучал голос Тимоши:

— Вам тоже не спится?

— Да, — сказал поручик, — ходил, изучал этот райский сад.

— Ну, если вы можете ходить по саду, — сказал Тимоша жестко, — то уж на коня сесть и подавно?

В этот момент что-то заскрежетало, дверь в оранжерею распахнулась, сразу напомнив, что этот сад не бесконечен, и в тусклом свете китайских фонариков перед нами предстал французский солдат с ружьем в одной руке и с корзинкой в другой.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил он хрипло. Господин Мендер возник перед ним и сказал на французском, с трудом подбирая слова:

— Здесь я. Франц Мендер. Вы пришли за мной?

Солдат с удивлением оглядел его.

— Да на черта ты мне сдался! — сказал он добродушно. — Я пришел за сапогами. Видишь, от моих почти ничего не осталось, а победителю нельзя ходить босым.

— У меня нет сапог, — сказал господин Мендер.

— А на тебе что? — спросил солдат.

— Это мои сапоги, — сказал австриец.

— Ну вот и снимай, — ответил француз, — надеюсь, они мне подойдут. Как ты думаешь?

— Как вам не стыдно! — сказала я, выходя вперед. — Вы позорите армию! Вы грабитель!..

Он не удивился, увидев меня, лишь отмахнулся, протянул руку к сапогам и сказал:

— Стыдно, не стыдно. Что за слова? Разве я виноват, что мне обещали в Москве теплую квартиру, довольство и полный отдых! Вы местные жители, вам есть где взять, а мне?

— Могли бы и вовсе не приходить сюда! — заявил Тимоша.

— Ах, сколько вас тут! — сказал солдат спокойно. — Когда ты, дитя, получишь приказ, попробуй отвертеться... Я бы купил эти чертовы сапоги, — проворчал он, — да у меня нет ваших чертовых денег, а ваши чертовы лавки все разграблены...

Господин Мендер молча разулся. Солдат натянул оба сапога, притопнул.

— В самый раз, — сказал он. — Теперь другое дело.

Он хлопнул гувернера по плечу и направился к дверям. Уже выходя, он сказал:

— Вы думаете, что сюда огонь не придет? Ошибаетесь. Поджигателей очень много, сколько их ни расстреливают, а пламя сильнее... — И ушел.

Босой господин Мендер стоял на зеленой травке. Рядом валялось два рваных французских сапога.

— Оказывается, — рассмеялся гувернер, — и в райские сады заходят грабители.

— Знаете, господин Мендер, — сказал поручик, — если бы я был вместо вас, я застрелил бы этого солдата.

— Это неблагородно, — насмешливо возразил Тимоша, — убивать человека, который зашел переобуться.

Милый мальчик, он начинал пикироваться с поручиком, я это замечала. Может быть, он стал невольным свидетелем ночной сцены в беседке? Тем не менее нужно было думать о завтрашнем дне. Я дождалась утра, закуталась в шаль и, так как найти дрожки было совершенно невозможно, отправилась пешком в наше прежнее жилье, чтобы раздобыть сапоги господину Мендеру и взять кое-что из необходимых вещей. Было солнечное утро, но дул резкий, холодный ветер. Я вышла из дому и тотчас ощутила запах гари. Все тот же назойливый, липкий, отвратительный запах гибели стал моим спутником. Басманная была благополучна, но за ее пределами ужасающее зрелище открылось моему взору: Москва горела. Под солнечными лучами потрескивало белесое пламя, дымились черные развалины, и худая старая лошадь, обезумев, скакала по бульварам. Когда я выходила из дому, госпожа Вурс, напутствуя меня, просила дождаться солнца, так как на свету меньше опасности быть ограбленной.

Трудно передать, чего мне стоила эта прогулка среди сплошного огня и обломков. Жар опалял мое лицо, копоть покрывала одежду. Некого просить о помощи. Лишь к полудню добралась я до Поварской. Двигаться по ней было еще труднее, так как она узка и языки пламени с той и другой стороны сливались над моей головой в гудящую огненную крышу. Несколько раз силы изменяли мне, и я уже подумывала воротиться обратно, потому что напрасность моего предприятия с каждым шагом становилась очевиднее. Господь милосердный, какую непомерную тяжесть возложил ты на мои хрупкие плечи за такой короткий срок! Так думала я, терзаясь сомнениями, теряя последнее мужество.

И вот, когда ноги мои уже отказывались держать меня, я, к великой радости, увидела наконец наш дом, целый и невредимый, хотя вокруг все уже было неузнаваемо. Я поняла, что мольба моя услышана, и, наверное, сознание этого помогло мне не упасть на мостовую. Я отворила двери и вошла. Ах, это было уже не прежнее, знакомое, благополучное наше жилье — все внутри было перевернуто, многочисленные французские офицеры населяли его. Наши слуги, оставшиеся здесь, прислуживали им и довольно сытно кормили из наших же запасов. Они-то и рассказали мне, что дом пытались ограбить пьяные солдаты, но офицеры, облюбовавшие его себе под жилье, прекратили разбой. Офицеры были приятно поражены, увидев меня, и вовсе не придавали значения моему закопченному виду, были со мной любезны, хором уговаривали меня остаться и даже обещали свое покровительство. Но я решительно отказалась. Как ни пыталась я быть великодушной и снисходительной, как ни старались они расписать всевозможные прелести житья под их защитой, для меня они оставались вражескими офицерами. Кроме того, здравый смысл подсказывал мне, что и этот каменный дом не вечен в этом царстве огня. Слуги вручили мне конверт с письмом для Тимоши, каким-то чудом долетевший из деревни.

— Проклятые поджигатели, — сказал один из офицеров, — они превратили в развалины такой прекрасный город!

— Отчего же вы не боретесь с пожаром? — спросила я.

— Видите ли, сударыня, — ответил другой, — они позаботились вывезти из Москвы все приспособления для тушения пожаров. Мы бессильны...

Я позвала слуг и велела им приготовить дрожки, но не тут-то было. Они объяснили мне, что все наши лошади, за исключением одной, старой и беспомощной, реквизированы для армии. Тогда я распорядилась запрячь эту единственную, чтобы иметь возможность хоть что-нибудь увезти с собой. Однако спустя некоторое время выяснилось, что и эта последняя не может мне служить, ибо совсем плоха и не способна не то что тянуть дрожки, но даже передвигаться. Что было делать? Я не вправе была распорядиться слугами. Один из офицеров вызвался проводить меня, но я отказалась с независимым видом, о чем впоследствии очень сожалела. Я собрала в узелок кое-что из самого необходимого, нашла сапоги господину Мендеру и заторопилась обратно, чтобы сегодня же с помощью своих мужчин обязательно найти какую-нибудь телегу и перевезти побольше нужных вещей и съестных припасов. Время уже клонило к вечеру, когда я, разбитая и голодная (там мне было не до еды), собралась покинуть этот дом.

Внезапно я заметила свою прелестную меховую шубку, сшитую из легких и теплых шкурок какого-то знаменитого сибирского зверька. Мне трудно объяснить, почему в последнюю минуту я решила нести ее с собой, может быть, мысль о том, что она необычайно легка, завладела моим лихорадочным сознанием, а может быть, что-то другое, во всяком случае, я перекинула ее через руку, словно путь мой лежал лишь до кареты, и, не задумываясь о последствиях, отправилась в обратный путь.

Пожар продолжался с еще большим рвением. Было светло, как днем. Мне стало попадаться множество французских солдат и каких-то грязных бродяг, которые несли награбленное. Создавалось впечатление, что Москва предназначена под грабежи. Занятые своими делами, они не обращали на меня никакого внимания. Я видела, как из горящей лавки выносили целые штуки сукна и шелка, как из другой вытащили громадные бутылки с вином и тут же принялись с жадностью поглощать содержимое. Французы и бродяги трудились совместно, и это было самым страшным.

Чего только не натерпелась я в своем путешествии по горящей Москве. За мною погнался пьяный мужик и пытался, страшно ругаясь, вырвать из моих рук узел с нашими вещами. Вот где я вспомнила офицера, предлагавшего быть моим провожатым. Мужик почти преуспел в своей подлости, как я ни кричала и ни отбивалась, но, на мое счастье, откуда-то вырвалась свора грязных собак и набросилась на разбойника, что позволило мне спастись. Множество бездомных псов рыскали по Москве в те дни, и, видимо, это была одна из тех стай, но ее ярость, к счастью, оборотилась не на меня.

Уже видно было начало Басманной, но мои мытарства продолжались. Какие-то два наголо бритых разбойника возникли передо мной, а о том, что это были они, можно было судить по хладнокровию, с каким они меня остановили. Я поняла, что сопротивление бесполезно, что жизнь дороже всех благ мира, а тем более этой шубки и этого ничтожного узелка, и я протянула им эти предметы, а сама приготовилась бежать, если их притязания пойдут дальше. Но и на сей раз провидение оказалось ко мне милостивым, и, словно видение из какой-то невероятной восточной сказки, возник меж нами прекрасный французский офицер, одного бравого вида которого было достаточно, чтобы грабители исчезли. Он так любезно предложил проводить меня, а я так была измучена, что не только не отказала ему, а, напротив, разлилась в благодарности. Он шел рядом со мной, неся в руках злополучную шубку и узелок. Наконец мы вступили на Басманную, и я с радостью убедилась, что пожар ее не коснулся и наше новое жилище пребывает в прежнем своем благополучии.

— Давно ли вы здесь живете? — спросил он. — Приятно встретить соотечественницу в этом аду.

— Да, я живу здесь шесть лет, — ответила я, — и привыкла к этой стране, и мне горько сознавать, что мои соотечественники — причина этого кошмара.

— О нет, мадам, — сказал он, — Москву подожгли не мы.

Мы достигли голицынского дворца, и я собралась было распрощаться с ним и поблагодарить его.

— Одну минутку, мадам, — сказал мой спаситель и направился прочь, — одну минутку...

— Куда же вы?! — крикнула я, но он уже исчез с узелком и шубкой.

Я проплакала довольно долго, прислонившись к холодным стенам дворца. Я молила Бога, чтобы хоть письмо, сохранившееся у меня, не было вестником несчастья. Затем осушила слезы и сказала себе: «Успокойся, Луиза, дорогая, это просто спектакль, и у тебя в нем роль, все кончится хорошо, главное — не забывать текст, играть натурально, но умирать не всерьез».

Мои друзья встретили меня криками радости. Пока я отсутствовала, они очень переживали, что поддались моим уговорам и отпустили меня одну. Мне же казалось, что я побывала в каком-то ином, незнакомом мире, где царили жестокость и холод, где жили ужасные подвиги людей, лишенные добросердечия, свободные от морали и совершенно слепые. И вот теперь из этого ада, оглушившего меня, я попала на чудесный остров, поросший густой зеленью, переполненный поющими птицами, дарующий благодатное тепло и добрые надежды. Надо было видеть обращенные на меня черные глаза Тимоти, сверкающие радостью, еще не успевшее освободиться от недавних тревог лицо господина Мендера и сдержанную улыбку моего ночного искусителя... Ах, я давно простила его! Мне хотелось, чтобы он восхищался моим поступком. Зла я не помнила — нельзя позволять своим страстям оборачиваться неприязнью в такие дни. Как приятно было снова стоять на твердой земле, дыша ароматом сказочных полных цветов!

— Не показалась ли я вам явившейся из преисподней? — спросила я, приведя себя в порядок.

— Бог ты мой, — сказал поручик Пряхин, — даже вышедшая из пепла, вы были бы прекрасны!

— Трудные обстоятельства, — многозначительно заметил господин Мендер, — возвышают людей. Из-под пепла, которым вы были покрыты, пробивалось сияние.

Я рассмеялась, с горечью вспомнив свое путешествие, ибо картины, виденные мной, не совсем соответствовали возвышенным представлениям ученого австрийца.

Покуда мы беседовали, наслаждаясь радостью свидания, Тимоша, приблизив к себе свечу, читал полученное письмо. Вдруг он опустил голову и разрыдался. Мы кинулись к нему. Это было письмо из деревни, написанное горничной, и когда мы с ним ознакомились, райский сад померк и мерзкий запах гари пересилил благоухание цветов.

Их благородию
Тимофею Михайловичу Игнатьеву
на Поварской в доме генерала Опочинина.

Любезный сударь Тимоша, горе-то какое у нас в Липеньках, потому что дяденьку вашего третьего дни французы убили насмерть.

Гуляла я по парку возле беседки с красным зонтиком Софьи Александны, матушки вашей. Вдруг услышала — по дороге кони скачут прямо к нам в ворота. Офицер ихний и два драгуна. Подъехали ко мне. Я перепугалась, вся обмерла, думаю — застрелят. Офицер говорит мне по-ихнему, мол, кто я такая буду? Я ему тоже по-ихнему, спасибо покойнице Софье Алексанне, мол, кто я есть, до них не касается, а чего им надо? Он тут рассердился на мой ответ, коня на меня наводит и говорит своим драгунам, мол, видали такую дуру, она, мол, никак в толк не возьмет, что война, и отвечать,

мол, надо все как есть. А я в коня зонтиком уперлась и не подпускаю, а драгуны смеются. А тут вдруг вижу, по аллее сам барин торопятся с палкой и в простой своей, как всегда, поддевке, а за ними — наш Кузьма. А офицер увидел барина и говорит драгунам, мол, интересно, как эта хромая обезьяна будет отвечать. А барин услышали и говорят: это я, мол, хромая обезьяна! И тут они навалились все, задрожали, достали из-под полы пистолет и стрельнули в офицера. И этот хам французский с коня-то и повалился. Я сильно так закричала, а драгун саблей дяденьку ударили, опосля офицера снова к седлу привязали и поскакали. Я Кузьме закричала, мол, что ж ты, Кузьма, али ты не солдат? Беги за ружьем! Да наполеонов уж и след простыл. Мы к барину кинулись, а они уже холодные. Они, Тимоша, как чуяли, вольную мне дали, и теперя я с ей, с вольной этой, как с пустой торбой. Куда я с ей? Барин покойный, дяденька ваш, царствие ему небесное, меня любили, и отмечали, и баловали, а нонче кому я нужна с волей своей постылой? Барина мы похоронили, барыня губинская госпожа Волкова Варвара Степанна приезжали, у нас цельный день были опосля похорон, все барина толстую тетрадь читали и плакали очень сильно, а опосля уехали и мне говорят, мол, я, Ариша, тетрадку эту с собой увезу, для Тимоши сберегу, там, мол, все про меня написано. Так что, Тимофей Михайлыч, осиротели мы теперича, и только тебе дай бог целым остаться. А я буду ждать тебя, сокол наш ясный, буду за гнездом твоим глядеть, а встретишь тех драгунов или других каких, про бедного свово дяденьку вспомни.

Целую тебя в обе щечки и остаюся верная слуга вашего благородия

Арина Баташова.

Тимоша плакал, господин Мендер, бледный как смерть, молча и неподвижно, закрыв глаза, сидел в белом садовом кресле.

Сад благоухал еще по-прежнему, однако запах гари становился все ощутимее. Слуги причитали на своей половине, поручик Пряхин направился к ним, и я решила, что он пошел их утихомиривать, однако он вернулся, пробыв там довольно долго, и я ахнула, увидев его: передо мной стоял почти незнакомый мужик с маленьким узелком в одной руке и с палкой в другой.

— Я ухожу, — сказал он с раздражением, — это невыносимо! Москва сгорела — и я осиротел! Я лишился матери... Мне опостылел этот сад... Тень генерала Опочинина стоит передо мной... Я постараюсь выбраться из Москвы... Французы, — сказал он, обращаясь ко мне, — попили нашей крови, а немцы с ними заодно, — сказал он, оборотившись к господину Мендеру, — теперя не пропущу ни одного драгуна, бог ты мой, каждый драгун — убийца! — Он произносил свою речь на одной ноте, будто сам не был драгуном, и при этом казался очень красивым, и мне захотелось обнять его на прощание, как обнимают героев. — Ваш император, — продолжал он, глядя на меня в упор, — безумец, паршивый корсиканец, а ваш дядя, — оборотился он к Тимоше, — оказался жалким уездным слюнтяем и подпевалой узурпатора... когда отечество, истекающее кровью... обед с шампанским... бог ты мой, разговоры с драгуном!.. — Слезы текли по его лицу, он задыхался.

— Опомнитесь, сударь, — спокойно сказал Тимоша, — но я этого не забуду, да и вы поймите, что за вами долг!

Я сделала шаг к поручику, чтобы прервать его оскорбительную, неподвластную уже ему речь, но он резко повернулся и выбежал из оранжереи. Все молчали.

Утром явилась испуганная госпожа Вурс и сообщила нам, что пожар добрался и до Басманной. Правда, горят какие-то деревянные сараи в самом начале улицы, но осенний ветер раскидывает тучи искр во все стороны, и нужно ожидать худшего. Мы торопливо позавтракали у них во флигеле, тревожное молчание сопровождало нашу трапезу. Я заметила, что чем отчаяннее положение, в которое я попадаю, тем больше сил и решимости обнаруживается во мне. Вот тут я и поняла, что нужно действовать, а не сидеть сложа руки. Я горько пожалела,

что не раздобыла в тот день экипаж и не смогла перевезти сюда необходимые вещи, и, наконец, я, видимо, была излишне щепетильной, не решившись приказать слугам сопровождать меня: мы могли бы многое унести из дому и теперь не были бы на краю пропасти, ибо запасы съестного подходили к концу, а там ими пользовались вражеские офицеры, да и уцелел ли наш дом, трудно было представить... Я сказала Мендеру, что снова отправлюсь туда, подыму всех слуг, что наше легкомыслие может обойтись нам дорого.

— Я с вами! — сказал Тимоша, подымаясь от стола. — Я здоров. Вас нельзя отпускать одну...

Тут я почему-то обратила внимание на его руки — вовсе не худенькие, а сильные, с широкими запястьями, да и сам он был высок, хотя несколько сутулился...

— Нет, нет, — решительно сказал господин Мендер, — пойду я один. Не спорьте, милая Луиза. Я знаю слуг, я смогу приказать им. Вы думаете, я беспомощный и жалкий австрийский гувернер? Нет, сударыня, я офицер и сумею за себя постоять, тем более... — тут он опустил голову, — что я уже обнаружен и прятаться мне незачем...

— Как обнаружены?! — воскликнула я.

— Вы думаете, тот солдат французский приходил за сапогами? — сказал гувернер с грустью. — О нет, он приходил, чтобы удостовериться, что я здесь... Видимо, время еще не настало призывать меня к ответу, и я могу совершенно безнаказанно ходить по Москве... — Он решительно поднялся.

— Погодите, — сказала я с отчаянием, — вы не ошиблись? Вам могло показаться...

— Дорогая моя, — сказал он, — с вашей милой наивностью легко принять соглядатая за обыкновенного мародера, но у меня зоркий глаз.

Он был так решителен и говорил с такой строгой грустью, что я уступила как ученица.

Он ушел, а мы с Тимошей отправились в райские места, которые, как оказалось, тоже подвержены бурям. По пути туда он обнял меня за плечи, его сильная рука согревала меня и успокаивала, и, когда я опустилась в белое садовое кресло, он продолжал обнимать меня. Я была такой маленькой рядом с ним, такой беспомощной! Мне так хотелось расплакаться, прижавшись к нему. Он утешал меня, милый мальчик, а я почему-то вдруг представила его в военной форме. Мундир, несомненно, был ему к лицу, но что же дальше? Черные бархатные глаза на бледном лице, сильная рука, державшая поводья, золото эполет, змейка аксельбанта — все то, чему мы поклоняемся неустанно, но для чего людям эти пышные, эти высокопарные и многозначительные одеяния? Для того, чтобы пленять наши сердца? Наивное предположение. Значит, для того, чтобы соответствовать своим видом громогласной победе? А если поражение? Ведь все равно при поражении это превращается в рубище... Уж не для славного ль конца? Чтобы лежать на поле брани в этих приличествующих твоему избранничеству одеждах и не походить на грязного разбойника, растерзанного толпой?..

Он тихо поцеловал меня в щеку. Мне следовало бы невеселой шуткой придать этому поцелую оттенок участия, но сил не было.

— Ах, Тимоша, Тимоша, — сказала я, глотая слезы, — чем кончится эта кровавая история? Неужели нам отныне не суждено заниматься обычными делами?..

— Я так счастлив, что вы с нами! — воскликнул он с обычной своей восторженностью. — Вы знаете, Луиза, я вычитал в одной иронической книге, что война насылается на того, кто тщательно готовится к защите.

— Вы верите в афоризмы? — спросила я.

— Конечно нет, — сказал он, — разве можно отнести это к каким-нибудь несчастным американским дикарям, на которых напали вооруженные европейцы?

— Конечно, конечно, — сказала я. — Но ведь они тоже украшают себя перьями и красками, ах, Тимоша!

Господин Мендер вернулся только к вечеру с пустыми руками. На нем лица не было. Он тяжело уселся в свое белое кресло, и я поняла, что случилось самое худшее.

— Представьте себе, — сказал он отрешенно, — ваши предположения оправдались — наш дом сгорел.

— Неужели весь?! — удивился Тимоша.

— О, стены целы, — странно засмеялся господин Мендер, — но остального ничего нет: ни вражеских офицеров, которых я так боялся, ни слуг, ни наших вещей... — Он по-стариковски покачал головой. — Я так боялся встречи с французами, и они во множестве попадались мне на пути туда и обратно, но никому из них не было до меня никакого дела. Видимо, произошло что-то серьезное... Да, Кремль горит, и император Бонапарт его покинул... На моих глазах разбойники убили какого-то человека... Не может быть, чтобы французы обо мне забыли...

Его туманные намеки, загадочность, которою он время от времени окружал себя, — все это показалось мне не очень своевременным, и все-таки я нашла в себе силы, чтобы сказать им по возможности бодро:

— Ну что ж, будем принимать жизнь такую, какая она есть. Наши сетования бессильны что-либо изменить. — И мне показалось, что это говорю не я, а какая-то незнакомая, сильная, терпеливая женщина, вдоволь повывавшая на своем веку.

Конечно, двадцать четыре года — это уже далеко не юность, но и не такой зрелый возраст, когда тобой руководит внушительный житейский опыт. Что я могла, имея на руках двух беззащитных людей, один из которых почти мальчик, а другой на грани безумия? Мы жили в совершенно чужом мире. Та Москва, где я имела всё и была если не обожаема многочисленными своими почитателями, то уж могла рассчитывать на их признательность и тепло, та Москва не существовала. Я ощутила себя сильной, способной приспособиваться к жестоким условиям, и это поддерживало меня. В нашем сказочном саду птицы теперь не умолкали и ночью, потому что отвратительный запах гари не давал им покоя. Я уже знала, что творится за нашими стеклянными стенами. Даже такое громадное сооружение, каким был дворец князя Голицына, не казалось больше недоступным. Пламя проникало всюду, а грабители и подавно. Съестных припасов уже почти не оставалось.

В одно прекрасное утро (если можно так назвать этот ужас вокруг нас) мы обнаружили, что слуги наши исчезли. Этого следовало ожидать. Господин и госпожа Вурс подкармливали нас, как могли. Наконец вездесущий архитектор сообщил нам, что господин Мендер может стать членом муниципалитета, организованного французской администрацией, за что ему будут давать продукты. Господин Мендер пожал плечами и тотчас собрался в путь. Он был как-то странно оживлен, и вместо обычной бледности этих дней на его лице появился румянец. Он даже торопился. Они отправились вдвоем с архитектором, который тоже надеялся на место в муниципалитете.

— Что-то, видимо, изменилось, — сказал господин Мендер, уходя, — я не знаю что, но французы меня старательно обходят... — И он засмеялся. — Боюсь, что фортуна будет против меня. Наверное, мое место уже занято. Если я им не нужен как жертва, то зачем им нужно меня кормить?

— Я должна проводить вас, — сказала я. — Я не могу отпустить вас одного. Во всяком случае, я должна знать местонахождение этого проклятого заведения.

— Франц Иванович, — воскликнул Тимоша, — не надо им служить, не надо!.. Кем вы там у них будете?.. Разве мы не найдем себе хлеба?.. Не надо, миленький!..

— Франц Иванович будет служить, — сказал архитектор Вурс, — в городском муниципалитете... Это же должность советника... Он будет носить ленту через плечо, Разве вы не хотите, чтобы в Москве был порядок?

Господин Мендер снова пожал плечами, я накинула шаль (все, что у меня оставалось теплого), и мы отправились. Басманная горела. Пламя, раздуваемое ветром, касалось неба. Дворец Куракиных был весь в огне, и из окон первого этажа какие-то солдаты и мужики выкидывали добро...

— Луиза, — сказал господин Мендер, резко остановившись, — мне не по себе... Я не хочу, чтобы вы уходили. Там Тимоша. Я прошу вас...

Мы недолго препирались, и я вернулась обратно. По нашему чудесному саду клубился дым, и вбежавшая госпожа Вурс крикнула, что пожар перекинулся на наше убежище. Могли ли мы, опустошенные потерями и многодневной тревогой, бороться за свое жилье? Да и как это следовало делать, кто знал? Я еще попыталась руководить, я велела Тимоше хватать постели и выносить их на улицу. Он метался в дыму, пытаясь выполнить мою просьбу, но при этом нелепо, по-юношески, стараясь не уронить своего достоинства; я прижимала к груди первые попавшиеся под руку предметы, птицы кричали пронзительно, моля о помощи, что-то скрежетало за тонкой дверью оранжереи, и чей-то стон или крик раздавался за стенами. С треском полопались стекла над головой, и голоса птиц смолкли.

Мы бросились прочь. По огненному коридору выбежали мы на улицу и, найдя укромное, свободное от пламени место, остановились, тяжело переводя дыхание. Госпожа Вурс очутилась рядом с нами, она рыдала и призывала своего супруга. Невыносимый грохот гибнущего здания разрывал наши сердца. Следовало бы бежать прочь, закрыв глаза, но мы не могли этого сделать, так как с минуты на минуту наши мужчины должны были появиться. Огонь распространялся со всем ужасающе стремительно и злобно. Было жарко и светло. Казалось, день в разгаре, хотя недоброе, черное небо давно уже висело над нами.

Мы нашли относительно безопасное место и расположились там, почти ни на что не надеясь. Силы были на исходе. Не прошло, как нам показалось, и мгновения, а от дворца князя Голицына оставались уже лишь дымящиеся стены, а от нашей чудесной оранжереи — груда развалин. Все было кончено. Мы лишились всего, если не считать подушки, унесенной Тимошей, и старого жилета господина Мендера, который я с отчаянием продолжала прижимать к груди.

Так в полном оцепенении просидели мы до рассвета. Внезапно пошел дождь. Первый дождь за время московских ужасов. Он становился все сильнее и сильнее. Он один был способен бороться с огнем, но его появление оказалось слишком поздним — уже нечего стало спасать, Москвы не было. Мы сидели на случайных холодных досках, и Тимоша, обняв меня за плечи, шептал мне афоризмы каких-то благополучных счастливиц из иного мира.

Наконец явился господин Вурс, один. Лицо его казалось зеленым. Происшедшее с нами его совершенно не удивило. Трясущимися руками он расстегивал пуговицы на своем жилете, затем аккуратно, одну за другой застегивал их, и так без конца. Госпожа Вурс с рыданиями припала к нему. Я оглядывалась в надежде увидеть отставшего господина Мендера, но его все не было. Прошло много времени, прежде чем господин Вурс смог немного успокоиться и начать говорить. Вот что он рассказал.

РАССКАЗ ГОСПОДИНА ВУРСА

— ...Я предупреждал господина Мендера, дамы и господа, я предупреждал, что мы должны быть осторожны... Разве нынешняя Москва — место для бездумных прогулок? Но он со своим дурацким фатализмом улыбался, как дитя, и не внимал мне, и не пытался идти в обход, как я ему советовал, а торопился, торопился скорее добраться до Тверской, безумец в сером фраке, вместо того чтобы отсиживаться среди развалин, куда там шныряют всяческие разбойничьи шайки и французские патрули, все, вероятно, пьяные и задыхающиеся от ненависти друг к другу. Бедный господин Мендер, я предупреждал его, умолял, что только я не делал, дамы и господа, я просил его не торопиться, потому что мое сердце не выдерживало, он утешал меня с австрийским легкомыслием, хотя теперь я понимаю, что это было безумие, он держал меня за руку очень крепко, и мы, словно беззаботные дети, парой летели по кирпичам, бревнам, золе, спотыкаясь и хрипя, и нас никто не трогал, и я даже подумал, что он, быть может, прав, не желая таиться, потому что мы были не похожи на всех остальных, встречавших-

ся нам: для грабителей мы выглядели слишком беспечными, а для мирных жителей слишком стремительными... Может быть, он был прав, дамы и господа, и нам следовало продолжать наш полет, но сердце мое не выдержало, и мы забежали в какой-то полусгоревший двор, и я присел на какое-то сырое бревно... Но господин Мендер не мог успокоиться, он оставил меня, а сам побежал за ворота, чтобы оглядеться, как он сам сказал, и тут произошло следующее. Я услышал сначала окрик, затем разговор на французском, я сполз со своего бревна в грязь и пепел и вот что услышал.

— Ты-то нам и нужен, — сказал кто-то.

— Вероятно, — сказал Мендер очень спокойно.

— Ты русский?

— Да, я русский, — ответил господин Мендер.

— По всему видно, что поджигатель, — сказал один из французов.

— На нем фрак, — сказал другой. — Русский барин — это новость. Разве дворяне занимаются поджогами?

— Зачем мужику поджигать? — возразил первый. — Из уцелевшего дома можно больше унести, зачем ему поджигать? Это вот такие господа, каналы, жгут город! Ты поджигатель?

— В философском смысле да, — засмеялся господин Мендер. — Я знал, что мы встретимся.

— Он псих, — сказал француз.

— Что случилось? — спросил кто-то, вновь подошедший.

— Вот поджигатель, господин капитан, он сам признался.

— Значит, нечего церемониться, — сказал капитан. — Пусть получит свое.

Затем я услышал удаляющиеся шаги, затем наступила тишина. Вдруг что-то защелкало, грянул залп, и я потерял сознание... Я не виноват, дамы и господа, все произошло слишком внезапно, да и что я мог? Я очнулся уже ночью. Я выполз из своего укрытия, я плакал, страх исчез, я обошел все окрестности в поисках тела бедного господина Мендера, но старания мои были напрасны...

Не буду описывать наше горе. Не только город был разрушен, разрушалась наша жизнь, мы были опустошены и раздавлены, мы смотрели вокруг и друг на друга пустыми, бессмысленными глазами, ничего не понимая. Дождь продолжался, и пожар постепенно затихал, лишь чудовищное шипение раздавалось отовсюду, словно масло шипело на гигантской сковороде. Нужно было искать укрытие, голод и холод начинали мучить. Супруги Вурс отправились разыскивать каких-то знакомых. Мы распрощались холодно, как чужие, просто не было сил ни для слов, ни для слез, ни для добрых напутствий. Тимоша отшвырнул в сторону вымокшую подушку — последнее воспоминание о недавнем счастье, обнял меня за плечи, и мы пошли куда глаза глядят.

«О, я историк, — любил говорить бедный господин Мендер. — Я много размышлял над хитросплетениями судеб. Я смог наконец проникнуть в тайны человеческих связей, и я понял, что даже случайный жест безвестного обывателя слит с историей всего человечества. Ничто не происходит просто так, а лишь по законам, установленным свыше. Поняв это, я перестал удивляться мнимой нелепости поступков, совершаемых людьми... Каждый поступок внушается нам, чтобы проверить нас, охладить, заставить опаматоваться... Иногда добрые намерения сказываются злом... Ваша революция, дорогая Луиза, уравнила сословия в правах. О, как пышно она об этом провозгласила! Но она не уравнила их в привилегиях, а тем более в нравах. Французы принесли сюда свои гордые знамена и под их сенью разорили целую страну». — «По войне, — говорила я, — нельзя судить о людях». — «О людях, дорогая Луиза, нужно судить в дни катастроф, а не тогда, когда они живут под бдительным оком полиции...» — возразил господин Мендер.

Я плакала, вспоминая все это, пробираясь с Тимошей по сожженной и разграбленной Москве. «Кто мы теперь? — думала я с ужасом. — Мы нищие без пищи и крова, беспомощные, как дети, перед силой и алчностью». Тимоша утешал меня, как мог. Трясаясь от холода, он придумывал самые невероятные фантазии, которые были способны взбодрить, наверное, даже мертвого, но не меня, хлебнувшую из чаши страдания. Мы заглядывали в уцелевшие дома, но все они были переполнены французами, а мне совсем не улыбалось очутиться в казарме.

Однако судьбе было угодно не дать нам погибнуть. Она привела нас на Чистые пруды, и мы с удивлением обнаружили, что этот район почти не пострадал от пожара. Правда, некоторые дома стояли с выбитыми окнами, но была надежда найти хоть какое-то помещение, где можно было бы обсушиться и подумать о дальнейшем. Я почувствовала себя воскресшей. Какое счастье быть молодой, подумала я, ведь даже маленькая надежда способна исцелить душу, еще не разрушенную возрастом! Я увидела, что и Тимоша воспрянул духом, и это меня утешило.

Мы облюбовали двухэтажный каменный дом, который тоже был лишен окон, но чья-то властная воля велела нам распахнуть двери и войти. Перед нами был обширный вестибюль, весь загроможденный битым кирпичом, досками, всяким хламом, осколки стекла хрустели под ногами, деревянная лестница, ведущая на второй этаж, была цела, она капризно изгибалась над всем этим разорением, словно обещала сказочные блаженства. С тех пор как мы лишились всего, я перестала испытывать страх быть ограбленной. Наш внешний вид не вызвал бы желаний у разбойников напасть на нас. Что же касается женской чести, то тут я была полна решимости отстаивать ее до конца, пусть даже до самого страшного. Они еще не знают, что значит француженка, доведенная до отчаяния, думала я, прислушиваясь к пустому дому. Мы медленно поднялись на второй этаж. Перед нами была дверь. Я отворила ее. Нашим взорам предстала довольно большая зала, лишенная мебели, однако она была чиста, и крашенные полы, видимо, кем-то старательно натерты, и в окнах кое-где вместо выбитых стекол виднелись куски картона, и по стенам в мирном порядке были развешаны портреты в тяжелых рамах, в углу на соломе лежали какие-то предметы, покрытые конской попоной. Две двери слева и справа вели в другие покои. Мы постучались в левую. Ответа не последовало. Тимоша отворил ее, и мы попали во вполне обжитую комнату, где все было на месте: и застеленная кровать, и книжные шкафы, заполненные книгами, и кресла, и свечи в шандалах, и стол, на котором валялись исписанные листы, а чернильница, как заметил Тимоша, была полна чернил. Мы перешли в комнату напротив, но и она оказалась занятой, и в ней были книги, диван с подушкой и одеялом, старинное бюро возле окна, обезображенного картоном, заменявшим стекла; початая бутылка вина на ломберном столике и большой ломоть ржаного хлеба приятно дополняли обстановку. Я с грустью поняла, что отсюда мы должны удалиться. Мы не постеснялись разделить пополам чужой хлеб, потому что голод становился невыносимым, и вернулись в залу. И тут я увидела, что из-под попоны выкарабкался французский солдат. В руке он держал пистолет. Лицо его было настороженным.

— Какого черта вы здесь ищете? — спросил он хрипло.

— Простите, сударь, — ответила я совершенно спокойно, — но дверь внизу была не заперта, и мы решили, что дом пуст...

— Какого черта не заперта! — крикнул он грозно. — Я сам запер ее на два засова. — Но пистолет он опустил, хотя глядел недобро. — Вы французы?

— Да, — сказала я, — и я рассчитывала на более любезный прием.

— Какие еще любезности, — проворчал он, — вы что, с луны свалились? Здесь живет господин полковник, а он страсть не любит всяких попрошаек.

Солдат был немолод, маленького роста и, судя по произношению, откуда-то из-под Дижона. Французский солдат, подумала я, разглядывая его, как странно: мой соотечественник с пистолетом в руке на Чистых прудах, с сухими травинками в волосах, готовый выстрелить (ах, если бы он к тому же знал, что я ем хлеб его господина!)

— Когда господин полковник узнает, что дверь была не заперта, — сказал Тимоша, — а ты уснул на сене, он тебя не поблагодарит.

Трудно сказать, сколько времени продолжались бы наши препирательства, как вдруг дверь распахнулась и в комнату вошел французский полковник, а за ним странный господин. На нем был редингот-каррик из светло-коричневого сукна, уже достаточно поношенный, и черные сапоги. Высокая черная же фетровая шляпа дополняла убранство, из-под полей рассыпались длинные, начинающие сесть волосы, он был плохо выбрит, на худом его лице застыла гримаса неудовольствия, и маленькие колючие карие глаза посверкивали из темных впадин: в руке он держал палку внушительной толщины; двигался резко и независимо.

Мы стояли как приговоренные. Положение наше было не из приятных — ворвались в чужой дом, украли чужой хлеб и, пойманные с поличным, должны были держать ответ, — но суровое время и всеобщая беда, и наш унылый вид, и бог его знает что еще превратили наше преступление в фарс, а казнить за это не полагалось. Конечно, Я готова была разрыдаться, а Тимоша стоял побелевший от унижения, но французский полковник сказал вполне участливо:

— Я вижу страдание на ваших лицах, господа. Этот прекрасный город оказался и к вам слишком суровым. Что поделаешь? Видимо, придется устроить маленькую коммуны и попросить на фоне мировой катастрофы утвердить мысль о преобладании разума над инстинктом. Франсуа, — сказал он солдату, — придется вам позаботиться.

— О, — воскликнул солдат, — ртов поприбавилось, господин полковник! А каждый рот в нынешней Москве — это бездонная пропасть.

— Нет ничего легче, — сказал полковник, — как разделить наши запасы вместо трех на пять частей.

Благодаря нашей невольной наглости все в доме перевернулось. Правую комнату предоставили нам с Тимошей, а господин в рединготе, не меняя в лице неприязни, переселился в левую, к полковнику. Франсуа метался по дому, подобно усердной птичке, таская сено, перенося вещи из комнаты в комнату. Мы тем временем привели себя в порядок, насколько позволяли условия.

Это, как оказалось, дом господина в рединготе, который уже должен был погибнуть окончательно, но по счастливой случайности полковник и хозяин возникли перед солдатами-грабителями. Было несколько выстрелов с той и другой стороны, но разбойники устремились и исчезли. Правда, хозяева явились с некоторым опозданием, многое было уже разбито и уничтожено или исчезло вовсе, но на втором этаже кое-что удалось спасти, и там можно было существовать.

Тимоша схватился за книги, но листал их как-то рассеянно, а на мои вопросы отвечал больше из вежливости. Вообще он очень изменился за последние дни, и обычная его склонность к шуткам даже в трудные минуты теперь угасла. О чем он думал, я не догадывалась, душа его была мне недоступна. Что-то надломилось в этом молодом человеке, хотя я замечала, как неведомые мне тайные страсти продолжали в нем бушевать.

Мы были временно спасены, но это не проясняло нашего будущего. Отмывшись от грязи и пепла, мы стали немного походить на людей, да я еще, как сумела, позаботилась о прическе. Наконец явился Франсуа и пригласил нас к ужину. Боже, как это звучало! Мы торжественно перешли в комнату полковника, где в камине пылали какие-то доски и на маленьком столике возле каравая черного хлеба возлежал кусок армейской ветчины, и уже знакомая початая бутылка вина возвышалась над всем этим печальным изобилием.

— Наш народ не приучен быть предоставлен самому себе, — сказал хозяин дома, продолжая свою речь, когда мы вошли, — он нуждается в постоянной опеке. Ваш французский дьявол, которого вы разбудили, не соответствует нашим склонностям. Может быть, он хорош для вас, хотя, судя по тому, что вы так поспешно установили во Франции империю, его искусительные нашептывания перестали вас прельщать тоже...

— Ну что же, — отозвался полковник вполне дружелюбно, — империя все же не вернула нас к рабству. Разумеется, в девяностые годы мы пролили много своей крови, надеясь таким образом утвердить в обществе новые замечательные лозунги... Я вижу, как загорелись ваши глаза при слове «кровь», но разве вы меньше пролили своей и чужой крови, пытаетесь устанавливать свой порядок в Европе?

Полковник любезно пригласил нас к столу, и мы принялись за трапезу.

— Если бы корсиканец, вместо того чтобы торопиться в Москву после Бородина, свернул бы на Калужскую дорогу и отрезал нас от продовольствия, считайте, что русской армии уже не было бы, — сказал хозяин дома, — вместо армии была бы толпа недоумевающих патриотов... Это недоумение заставило бы их задуматься о причинах кровопролития и многого другого, что унижает наше общество... А когда человек задумывается, он уже близок к истине...

— Вы рассуждаете как человек, для которого эта дурацкая война — лишь повод для размышлений, — засмеялся полковник.

Лицо хозяина дома скривилось.

— Разве бывают войны не дурацкие? — проворчал он. — Выпейте, выпейте. Лишившись всего, я хочу извлечь из этого пользу для будущего. А вы куда стараетесь в Москве утвердиться, обогреться, отъестся, собраться с духом, чтобы не пасть в глазах мирового мнения. Я слышал, что корсиканец распорядился выписать из Парижа Comédie Française?

— Верьте мне, — сказал полковник, — мы идем навстречу мрачной будущности. Москва уничтожена, армия деморализована, кавалерия погибла; если нас застигнет теперь и зима, то я не знаю, что спасет нас от катастрофы. Боюсь, что и гений императора здесь бессилён...

Хозяин дома не глядел в нашу сторону, он почти не ел, но зато отхлебывал вино непрерывно маленькими глоточками. Было такое ощущение, что Москва вымерла, что за окнами, прикрытыми картоном, бескрайняя выжженная равнина и лишь мы одни, чудом уцелев, едим, пьем и продолжаем опасные споры минувших времен. Я хотела сказать им: «Опомнитесь, господа. Еще не все потеряно. Есть любовь, есть воспоминания о лучших днях, есть слабая надежда не погубить этого окончательно, я, наконец, могу спеть вам лучшую из своих шансонеток, которую я пела когда-то, даже не подозревая, сколь слаба она, чтобы облагородить людей». Но я промолчала, я мельком глянула на Тимошу, он ел, и лицо его было отрешенным.

— Что скажете вы, госпожа Бигар? — обратился ко мне полковник. — Не слишком ли мы запоздали в попытках установить истину?

— Как странно, — сказала я, — вы сидите, пьете вино на развалинах Москвы, делитесь куском хлеба...

— Нет, дорогой Жорж, — сказал хозяин, не обращая на меня внимания, — хотя среди нас и есть отдельные личности, вызывающие лишь брезгливое чувство, но в целом мы те, кто есть главная ценность нации... А вы твердите о равенстве в правах...

В продолжение разговора я почти все время смотрела на него. Трудно было отвести глаза от этого худого сильного лица с брезгливым ртом. Несчастлива, наверно, женщина, отдавшая ему свое сердце, думала я. Это был умный тяжелый господин, для которого, видимо, не существовало ничего, кроме собственных убеждений. Мне встречались в жизни подобные люди, и я погружалась в их гибельный огонь, но присущий мне здравый смысл всегда в последнюю минуту спасал меня от рокового исхода. Нынче, думала я, я так опустошена и измучена, что это холодное пламя мне не опасно. Однако все смотрела и смотрела на него. Полковника звали Жорж Пасторэ, хозяина — господин Свечин.

Франсуа принес откуда-то еще несколько бутылок. Свечин отхлебывал не переставая.

Пасторэ был ко мне предельно внимателен, как может быть внимателен к женщине пожилой мужчина, оказавшийся в столь необычных обстоятельствах. Он все время подливал мне вина, пододвигал еду, улыбался, дружески кивал, и я бы не удивилась, если бы в какой-то момент ему захотелось погладить меня по руке.

— Подумать только, — сказал он мне тихо, — пьем вино в обществе очаровательной дамы, как будто где-то в Клиши или на Сен-Дени!

— Это очень трудно представить, — сказала я.

— Быть может, все только сон, и это не Москва, а выдумка моего старого мрачного друга господина Свечина?.. Вы не фантазия?

Тут, не обременяя их излишними догадками, я принялась рассказывать о своей жизни, что, видимо, было им интересно, ибо Жорж Пасторэ весьма живо реагировал, поддакивал мне и понимающе кивал, а господин Свечин, наливаясь вином, слава богу, не прерывал моего рассказа.

— И вот теперь, господа, я встретила с вами, — сказала я в заключение, — и меня поразила ирония жизни, называйте это как хотите, то, что свело нас воедино, француза и русского, за одним столом среди этого ужаса...

— Во-первых, — сказал Пасторэ, — мы с господином Свечиным — старые приятели еще по Сорбонне; во-вторых, я не захватчик, а, видимо, жертва недомыслия или, если хотите, любопытства, в чем глубоко раскаиваюсь; в-третьих, я участник одной мистической истории, которая связывает меня с Россией прочными невидимыми узами. В двух словах. Случилось так, что меня взяли в плен однажды под Гжатском четверо мужиков и доставили к своему барину. Это был хромой отставной генерал, живший в своем имении, а где — не помню. (В этот момент Тимоша шумно вздохнул.) Он, представьте, накормил меня, обогрел и отправил невредимым обратно, хотя я был его врагом. Это можно было бы приписать душевному порыву, великодушию отчаяния или просто капризу, но ниточка, как оказалось, тянулась в иные времена, когда генерал, раненный в ногу под Аустерлицем, лежал, умирая, на льду Зачанского озера. Представьте себе, Бонапарт проходил мимо, услышал стоны и приказал своим адъютантам спасти раненого русского. Один из адъютантов, побывав в ледяной воде, впоследствии скончался от воспаления легких... Бонапарт захватил Москву, но получил сгоревшие развалины. Как видите, все в этой жизни связано меж собой, и не исключено, что наша встреча — звено в цепочке общих судеб.

— Вы не драгун? — спросил побледневший Тимоша.

— О нет, милый друг, — сказал полковник, — я интендант разбитой армии.

Тимоша резко поднялся и, сославшись на усталость, покинул нас.

— Это ваш брат? — спросил господин Пасторэ.

— Почти, — сказала я печально.

— Какой загадочный ответ! — воскликнул он. — Он, видимо, обиделся на наше невнимание?

— Он устал, — сказал господин Свечин раздраженно, — разве вы не заметили, что это совсем мальчик? Он отоспится, порозовеет и тогда засыплет вас вопросами: что, зачем и почему?

Я продолжала краем глаза наблюдать за ним, любезно улыбалась полковнику, размякшему подобно большинству пожилых мужчин, оказавшихся в обществе хорошенькой молодой женщины, но мысли мои были неотступно с Тимошей; его молчание, сосредоточенность на чем-то, мне неведомом, переполняли меня тревогой. Он что-то решает, думала я, какие-то фантазии теснятся в его голове, и они мне недоступны. И вдруг я похолодела: я вспомнила, как покинул меня обворожительный Строганов, и даже любовь ко мне бессильна была остановить его; как исчез поручик Пряхин, словно вылетел из зимнего голицынского сада, скрываясь под личиной мужика; как Тимоша бредил бегством и порывался сводить свои неперменные счета с Бонапартом, с господином Пасторэ, с драгунами, с гренадерами... Я поняла, что детство, розовевшее на его щеках, кончилось и этот высокий худощавый юноша с большими черными бархатными глазами созрел для того, чтобы взяться за саблю, пренебрегая моей французской нежностью и жалостью моей к ним ко всем... Он исчезнет, подумала я, исчезнет, лишь я одна останусь среди этого разорения и смрада, прищелица с песнями, непригодными для облагораживания людей.

— Что с вами? — спросил полковник. — Вас напугал этот разрушенный мир?

Я хотела объяснить ему мое состояние, но это было нелегко — не было слов. Вот сейчас, казалось мне, послышатся шаги Тимоши, жесткие и четкие, он пройдет по пустынной зале мимо спящего Франсуа, хлопнет дверью, спустится по лестнице, минует вестибюль, расшвыривая обломки кирпичей и стекол, откинёт засовы и отправится мимо ночных развалин, презирая грабителей, туда, где исчезли мой позабытый Строганов, случайный Пряхин, растворясь во мраке, смешиваясь с полчищами вооруженных мужиков...

— Вам надо отдохнуть, — сказал господин Пасторэ, — набраться сил. Кто знает, что ждет нас впереди.

— Пожалуй, — мрачно отозвался хозяин разоренного дома, — я устал находиться во французском обществе. Вместо вольтеровской иронии я вижу кусок армейской ветчины. Ее коптили под Смоленском.

Я поняла, что бессильна остановить Тимошу. Мне не удержать его. Напрасны будут мои слезы и причитания. Нет слов, способных подняться выше крови... И тут я отчетливо услышала его шаги. Я тихо вскрикнула. Но он вошел в комнату как ни в чем не бывало и при свете догоравших свечей показался гигантом. Слава богу, подумала я, он снова здесь!

— Там, в зале, — сказал он господину Свечину, — я увидел портрет дамы, лицо ее показалось мне знакомым. Я мучаюсь и не могу вспомнить, где я ее видел.

Господин Свечин через плечо взглянул на Тимошу и вдруг улыбнулся... Это была ослепительная молодая улыбка, так не соответствовавшая его мрачному, жесткому лицу. В кольце седеющих волос вдруг что-то давно умершее, безвозвратное, милое вспыхнуло, словно в комнате загорелись новые свечи. Неужели и я в преклонные годы буду пугать окружающих такой же случайной и внезапной приметой минувших счастливых дней, подумала я.

— Дама? — спросил господин Свечин удивленно.

— Дама с большими синими глазами, — сказал Тимоша.

— Ах, дама, — протянул помолодевший хозяин. — Вы смогли разглядеть ее в темноте?

— Нет, я был со свечой.

— Ах, со свечой, — откликнулся господин Свечин. — При свете одной свечи она выглядит загадочно, не правда ли? — И отпил вина. — При свете двух свечей это уже владелица семисот душ, жаждущая их устроить. — Он снова отхлебнул. — При свете трех свечей, милостивый государь, вы заметите смешение французской моды, губернского самомнения, уездного здравомыслия и деревенского здоровья. — Он шумно вздохнул. — При четырех же свечах станет очевидным, что у нее и у меня все в прошлом... Нельзя армии Бонапарта вернуться во Францию в прежнем, неизменном количестве, как невозможно и Москву увидеть прежней, разве лишь в сновидениях...

Он вновь поник и отворотился, а мы вышли в залу. На стене мы увидели этот портрет прямо над травяным ложем бедняжки Франсуа, вынужденного с ружьем в руках нести карательную службу перед домом.

Глаза были действительно громадны и занимали пол-лица. Безумный живописец не сдерживал разгоряченной фантазии. Ее высокий лоб был прикрыт тафтяным шарфом, лицо проступало из пены светло-зеленых кружев, чуть розовели щеки... Она разглядывала нас с бесцеремонностью, и я чувствовала себя униженной. Я вспоминала еще совсем недавние времена, когда, блистая в кругу своих друзей, вызывая их восхищение, оставалась все той же Луизой, исполненной добра и мягкосердечия, но эта дама была придумана природой, чтобы посмеяться над нашими обыденными слабостями.

Я поймала себя на том, что невольно сравниваю нас обеих, как это принято среди женщин, но тайная обида не затухала в моем сердце. Это была женщина с богатым воображением, но не склонная к мелким фантазиям, ее, видимо, никогда не заботило, что думают о ней, а лишь то, что она сама думает о других... Я прищурилась как могла оскорбительней, она оставалась спокойна; я погрозила ей пальцем, она не откликнулась. Я попробовала рассмеяться над собственным высокопарным вздором, но тут же подумала о том, кто говорил о ней так

странно, с внезапной улыбкою на лице, с хмельной утонченностью и с хмельным же ожесточением. Он, этот жесткий, седой, одинокий, из тех, что возникали и на моем пути, очаровывая и притягивая, но никогда не желая мне добра, он выбрал ее, это было видно, но почему? Или я все-таки настолько была француженка, что понимание этого было мне недоступно? Но если не кровь, разве не русская боль клокотала во мне? Разве я не привязалась всем сердцем и душой к этой несчастной стране и разве нынешнее рубище на мне не было верным свидетельством моего общего с нею страдания?

Пока я рассматривала этот портрет, Тимоша тихо удалился.

— Какая загадочная дама! — сказал полковник. — И как по-женски вы ее рассматриваете.

Мне было не до шуток. Он это понял и воротился к своему другу осторожно, на цыпочках. Я осталась наедине с этой благополучной незнакомкой, еще не знающей, что предстоит впереди. Когда я вернулась, господин Свечин взглянул на меня, и вновь внезапная улыбка осветила его. Вино разгладило черты его лица, оно стало мягче, в глазах застыл туманный интерес. «Неужели он ее любит?» — подумала я. И вновь в зале прозвучали Тимошины шаги, и затихшая было тревога сковала меня.

— Выпейте вина, — сказал Свечин и протянул мне бокал, — выпейте вина, и вам не захочется придавать значения мелочам. — И, отвернувшись, продолжал: — Женщина на развалинах мира... Француженка, не знающая предрассудков.

— Скоро мы покинем Москву, — сказал полковник, — я это обещаю. Уже все сложилось так, что даже амбиция императора бессильна...

— Я почти установил, — проговорил господин Свечин, — что одному человеку не под силу осуществить мировую катастрофу, какими бы замечательными именами он ее ни награждал. Разумеется, он может обмануть нас с вами, и мы ему поможем, хотя потом спохватимся... И он и мы равны пред ликом высших сил, которым зачем-то понадобилось на время подвергнуть нас обману... А так, в общем, все течет помаленьку в нужном направлении, пренебрегая нашими капризами и амбициями. Временный успех — это еще не успех. Даже волки, разорвав глотку сопернику, не торжествуют, в отличие от гладиаторов и процентчиков.

— Забавно, — воскликнула я, — все течет помаленьку, и мы простые жертвы этой вечной реки?

— А разве злодеи бессмертны? — усмехнулся господин Свечин.

Шаги удалялись. Я бросилась в залу, оттуда в комнату. Тимоша спал на сене, накрывшись солдатским плащом. За разбитыми окнами стояла тишина. Осторожно ступая, я отправилась обратно. «Может быть, все устроится, — обреченно подумала я, — и утром мы увидим Москву невредимой. Я надену свой лучший наряд, мы кликнем извозчика и отправимся к Бобринским на последний сентябрьский бал!» Мне захотелось утешить этих пожилых мужчин, сознание которых было выше примитивного сведения счетов, чем с удовольствием занимались пока еще остальные, остающиеся в живых. Но что я могла?

— Господа, — сказала я, входя, — хотите, я спою вам? Наперекор всему, что происходит...

— Ничего не происходит, — с милой улыбкой ответил мне господин Свечин, — все уже произошло. Или вы надеетесь что-то поправить? — И он предложил мне жестом сесть рядом. Я села. Он положил руку мне на плечо. И мне захотелось, глядя ему в лицо, прижаться к нему и заплакать. — Вы вся дрожите, — сказал он участливо. — Пасторэ, мы будем пить до утра, а там что Бог пошлет...

— Нет, господа, — сказал полковник вяло, — вы как знаете, а мне с утра предстоит большая напрасная работа.

— Кто вы? — спросил меня Свечин.

У меня кружилась голова.

— Я бедная французская певичка, — ответила я шепотом, — попавшая в вашу безумную игру и притворяющаяся мудрой...

Он засмеялся. Мы чокнулись. «Неужели он любит ее?» — подумала я.

Внезапно за дверью, теперь уже совершенно отчетливо, зазвучали шаги. Я отвела его руку и бросилась туда. О нет, не удерживать, а лишь попрощаться, прижаться, обнять худенькую шейку, прикоснуться губами к его щеке, что-то сказать, выкрикнуть, разрыдаться: как подсказывает природа — женское напутствие дольше хранит. Если нельзя удержать, то хоть уберечь... Я вбежала в комнату. Тимоша спал, накрывшись с головой солдатским плащом. Я села в изнеможении на диван и почувствовала, что теряю силы. Стеариновая свеча на столике догорала. Раскрытая книга желтела под ней. Чернильница, перо, лист бумаги — мир поэта, столь скромный и столь значительный... Я разглядела на листе свое имя...

Дорогая Луиза!

Оставаться здесь я больше не могу. Я узнал, что возле Всехсвятского видели наших казаков. Там меня, конечно, не ждут, но меня не ждут нигде, и потому мне следует торопиться. Передайте полковнику, что он был в плену у моего деда, который теперь погиб от руки французского драгуна. Пусть полковник передаст Бонапарту, что русский генерал, которого он спас когда-то, убит французским драгуном, а австрийский учитель, из-за которого началась эта война, расстрелян на московской улице, и теперь император может спокойно возвращаться в свою Францию. В Калужской губернии есть сельцо Липеньки, где я буду Вас ждать по окончании войны. Я знаю, что Вы русская душою. Прощайте, дорогая Луиза, и не поминайте лихом...

Ваш Тимофей Игнатьев.

Солдатский плащ, раскинув пустые рукава, прикрывал холодное сено. За окном вставал сентябрьский серый рассвет. О Тимоша, Тимоша, я знала, что так должно случиться!

...В Москве в те дни нельзя было горевать долго. «Москва слезам не верит», — сказал мне господин Свечин с обычным раздражением. Я обреченно кивнула ему, но не смогла согласиться с этой бессердечной пословицей.

— Да где же вы усмотрели бессердечие, сударыня? — удивился он, не глядя на меня. — Наша история была слишком сурова, чтобы придавать значение такой мелочи, как слезы (нельзя было понять, шутит он или говорит всерьез). Что значат горести отдельных людей среди всеобщих страданий? Это говорит скорее о мужестве, о силе духа... — Он объяснялся со мною так, словно я в чем-то перед ним провинилась.

— И все же я предпочитаю слезы и обычные слабости и умение быть к ним снисходительным, — упрямо возразила я. — Слезы одного человека гораздо горячее, чем все ваши славословия мужеству и силе. Я слышу достаточное количество восклицаний, но Тимоша, прежде чем уйти, плакал, милостивый государь...

— Да я и не отрицаю права плакать, — сказал Свечин, еще более раздражаясь. — Вы судите о предмете по-дамски. Плачьте сколько угодно, да есть ли в том толк?

И все же меня постепенно переставала угнетать его манера говорить со мной, выказывая чуть ли не отвращение. Зато потом (я знала), когда вино снимет с него искусственные оковы, я увижу его молодую улыбку и почувствую горячую ладонь на своем плече. «Ради этого стоит терпеть», — думала я.

Как-то я спросила полковника в одну из его свободных минут, кто такой господин Свечин.

— Трудно сказать, — пожал он плечами, — он был замечательным студентом, теперь остыл, одиночество придумало ему маску. Он лишился почти всего, но это, как видите, не очень его огорчает. Ко мне относится хорошо, но завтра забудет, как, впрочем, и вас, — и при этом внимательно на меня посмотрел, — он оставался в Москве с какими-то туманными намерениями, кажется, собирался вести дневники, но летописец из него не получился, ибо он хоть и лазают по Москве самым добросовестным образом, но возвращается столь удрученным, что поддерживает свой дух вином, становится мягче и приветливей, однако к перу не прикаса-

ется. Он всегда жил для себя, как мне кажется, но, может быть, так мне лишь кажется. Он в высшей степени благороден и смел, но Москва, как видите, сгорела, а когда мы бессильны, у нас искажаются лица...

— А кто же эта дама на портрете, дорогой Пасторэ? — спросила я как бы между прочим.

— Не знаю, — пожал он плечами, — не помню, что-то там, видимо, было: то ли он ей не угодил, то ли она ему... Во всяком случае, где-то у него есть жена и, кажется, дочь...

— Уж не она ли? — спросила я равнодушно.

— Ах нет, — засмеялся полковник, вглядываясь в меня, — это фантазия живописца. Русские жены обычно дородны и немного испуганны.

Было начало октября. Дни стояли великолепные, однако по ночам выпадал иней, и скоро следовало ждать снега. Ловкач Франсуа раздобыл мне какое-то платье, украл ли, выпросил ли, это не имело значения, оно было изрядно поношено, зато стеганое, теплое и могло хорошо мне послужить. Я как могла приспособила его под свой рост, и полковник наградил меня аплодисментами.

— Луиза, — вдруг сказал он, — к середине октября мы покинем Москву. Великая драма завершилась. Вам следовало бы сделать выбор.

Я услышала его слова, но думала о том, что нелепо соперничать с красавицей на портрете. И все-таки какие-то цепкие узы протянулись от меня к железному сердцу господина Свечина. Ах, я не строила иллюзий и вовсе не собиралась приносить свою молодую жизнь в жертву случайной страсти, но маска этого человека, о которой упомянул полковник, казалась мне бумажной и малоопасной, особенно после всего, что мне пришлось пережить...

Полковник Пасторэ ждал от меня ответа.

— Я уже выбрала, — ответила я спокойно, — когда французская армия покинет Россию, я вернусь в Петербург и все начну сначала.

— Но вы француженка, Луиза. Россия стала кладбищем. Кроме того, здесь долго будут ненавидеть все связанное с вашей родиной. А там, — он указал рукой вдаль, подразумевая Францию, — там найдутся почитатели вашего таланта. Я помогу вам...

«Вполне вероятно, — подумала я, — в один прекрасный день, когда все вокруг снова станет прекрасным, господин Свечин скинет свою маску и обомлеет от лицемерия моей молодости, когда я явлюсь перед ним в белом платье из батиста, в темном бархатном спенсере, в розовой шляпе со страусовым пером, окруженная моими былыми друзьями...»

Я засмеялась. Господин Пасторэ вздохнул и в шутку погрозил мне пальцем.

— Я люблю Россию, — сказала я. — Там, во Франции, я была слишком юна, легкомысленна и наивна и у меня были прозрачные крылышки, а здесь я приобрела плоть и научилась понимать жизнь и даже могу вполне сносно разговаривать по-русски, хотя здесь это почти не обязательно.

«Кроме того, — подумала я, — когда я начну все сначала, все пойдет быстрее, чем в первый раз, и мне не придется затрачивать лишних усилий, чтобы восстанавливать свои потери. У меня будут две шубки из легких шкурок сибирского зверька, я сниму квартиру на Мойке...»

— У меня будут две шубки из легких шкурок сибирского зверька, — сказала я полковнику, — две вместо одной, украденной французским офицером, я сниму квартиру на Мойке. Ваши пророчества меня не пугают — Россия всегда была добра ко мне.

За окном лежали обгорелые развалины. Влажный запах пепелища, с которым мы давно свыклись, я ощутила внезапно, словно впервые.

Более недели я не выходила из дому и постепенно, не соприкасаясь с царящим на улицах адом, стала приходить в себя. Где-то там, за стенами, за картоном в окнах, продолжались, видимо, бесчинства, но здесь, под защитой молчаливого жилистого Франсуа, в окружении моих пожилых спасителей, царили мир и спокойствие. Я понимала, что мир тот выдуман, что спокойствие временно, что еще предстоит не ведомое никому из нас и, может быть, самое худшее,

но полковник Пасторэ, изредка отрываясь от дел, успевал дарить мне тепло и симпатию, а мой милый жестокосердный Свечин, третируя меня и презирая, постепенно все-таки расслаблялся под действием вина, и тогда проступала истинная его сущность — ранимая, утонченная и страдающая. Я больше всего боялась остаться одна и лихорадочно принимала меры, хотя — что это были за меры? Я расточала свое жалкое обаяние перед полковником, чтобы он не забывал обо мне среди повседневных хлопот, я старалась, как могла, услужить суровому своему господину Свечину, чтобы приручить его, словно дикого лесного зверя. Однако если мне удалось преуспеть с первым и интуиция подсказывала мне, что полковник внимателен к бедной французской нищенке не только благодаря ее несовершенным проискам, то со вторым я была бессильна. По-прежнему он презирал меня и отталкивал и замечал лишь во хмелю, с удивлением разглядывая, и лишь на короткий миг его колючие карие глаза теплели... Впрочем, мне хватало и нескольких участливых слов, чтобы не впасть в отчаяние.

Иногда по ночам до меня доносились из-за окон выстрелы, и я понимала, что жива лишь по милости Божьей. В воздухе пахло переменами. Предсказания полковника уже не казались фантастичными. Выпал первый снег и растаял. Франсуа все с большим трудом раздобывал доски для камина. Ах, Свечин, жизнь сама распорядилась нашими судьбами покруче, чем любовью из царей, а тут еще мы сами... вы сами... Что-то должно было случиться. Наш призрачный союз не мог продолжаться вечно. Мифический император-злодей замерзал в своем логове. Как будто он не мог в свое время ограничиться Австрией, Пруссией, ну, Испанией или Италией, покорил бы, наконец, Англию, вместо того чтобы вторгаться в Россию и переворотить мою жизнь за каких-то три-четыре месяца! Полковник Пасторэ все настойчивее предлагал мне собираться в дорогу. Его уговоры походили на предложение руки и сердца. Было бы мне за тридцать — лучшего шанса и не представить. Но кому я нужна во Франции, полковник? Или стать содержанкой до первых морщин?

— Дорогая Луиза, не говорите глупостей, — сказал он, — нам с вами ни о чем не придется сожалеть. Кроме того, вы уже сейчас сможете зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Представьте, граф Боссе, префект двора, собирает труппу, чтобы дать несколько представлений и концертов перед императором. Он уверял меня, что вы приятная певица. Считайте, что это начало вашей французской карьеры. В конце концов, войны войнами, а искусство вечно...

— Как! — поразила я. — Я должна буду петь перед императором?! Но ведь я очень скромная певица романсов и маленьких песенок, и потом, кто мог рассказать обо мне графу Боссе? И потом, где труппа в этом сумасшедшем доме?

— Поверьте, — сказал он, улыбаясь, — артисты есть. Подобно вам, они ютились в скворечниках, на ветках, в стенных щелях, но Мельпомена создала их, и они слетелись... Если вы истинная актриса, вы не сможете удержаться от соблазна продемонстрировать свое искусство...

— Да, но перед императором... — сказала я упавшим голосом.

— Тем более, — засмеялся он.

— Он разорил страну, которую я люблю, — почти крикнула я, — лишил меня всего, что я имела, и вы предлагаете улаживать его на этих развалинах.

— Луиза, — поморщился он, — вам не к лицу выкрикивать политические лозунги. Теперь уже ничто не имеет значения. Я думаю не об императоре, а о вас. — И тихо добавил: — И, если хотите, о себе.

Я прикинулась дурачком.

— Да, но он большой знаток, — сказала я многозначительно, — ему трудно угодить. Одна мысль об этом парализует меня.

Вечером в присутствии полковника я рассказала о его предложении Свечину. Я загадала: если он отнесется ко всему этому с обычной своей язвительностью, я откажусь выступать перед императором захватчиков.

— Разумеется, — сказал он с ужасающей гримасой, как всегда, глядя мимо меня, — если французская шансонетка может доставить удовольствие французскому Тамерлану, да еще он ей за это пожалует русское кольцо с большим сапфиром, так отчего же и не спеть? Было бы странно видеть французскую даму, ублажающую русского государя таким способом, а своего — отчего же?

Я поняла, что мне следует отказаться, но сказала полковнику с вызовом:

— Передайте графу Боссе, что я согласна.

Усилиями полковника Пасторэ я была приедета и познакомилась с графом. На нем был генеральский мундир, но манеры и интонации выдавали в нем человека невоенного. Он был весьма любезен, я быстро справилась с робостью, и мы вскоре остановились на одном знакомом мне водевиле. Начали собираться некоторые артисты, оставшиеся в Москве и чудом извлеченные людьми графа из самых невероятных укрытий. Среди них оказалось несколько знакомых, в том числе и старый Торкани, с которым мы, бывало, пели всевозможные дуэты. Мы принялись делиться впечатлениями последних месяцев, радуясь встрече и плача об утратах. Постепенно профессиональные привычки делали свое дело, и мы с головой погрузились в работу.

И вот, когда ощущение роли и сцены вновь начало возвращаться ко мне и гитара в моих руках превратилась из жесткого, равнодушного предмета в теплую, милую партнершу, когда голос мой зазвучал в привычном тембре, и, как оказалось, бури и страсти нисколько его не надломили, и ощущение счастья и театральной лихорадки охватили меня, в этот момент полковник Пасторэ сообщил мне, что мы уже не вернемся, увы, в прежний залатанный дом господина Свечина, чтобы более не обременять хозяина.

Мне будет выделена небольшая квартирка, годная даже для маленьких приемов.

— Неужели я не смогу даже попрощаться с господином Свечиным? — спросила я непослушными губами. — Он был так добр ко мне и Тимоше... В конце концов, это просто неучтиво.

— Ах, до учтивости ли тут, — сказал полковник вяло, — он очень ожесточен последнее время, и я рад, что мы можем его оставить в покое. — И добавил, вглядываясь в меня: — Кроме того, разве вы не поняли, что ваше волшебное обаяние ему безразлично? Что поделаешь...

Это было ужасно, но пришлось смириться. «Я не дама с большими синими глазами, — подумала я с горькой усмешкой, — я актриса, у меня иная роль. Мной руководит попутный ветер искусства, а он уносит меня в другую сторону». Однако это не принесло мне успокоения.

Играть мы должны были в Поздняковском театре на Большой Никитской, единственном театре, уцелевшем от огня. При нем же, как оказалось, была и моя квартирка, показавшаяся мне роскошной. Вчерашняя нищенка, я вновь становилась на ноги. «Нужно уметь падать», — говорила я себе.

Театр приспособили к спектаклям. Нашелся кое-какой реквизит. Раздобыли цветы и ленты. И вот пришел день первого представления. Все обошлось как нельзя лучше. Затем последовало второе. Мы играли с большим успехом, и репертуар наш разрастался. Сначала я очень боялась увидеть императора и думала, что, увидев его, упаду в обморок, но, когда однажды ему наконец пришла фантазия присутствовать на спектакле и я увидела его, страха почему-то не было. Где-то передо мной, теряясь в полумраке, сидел он в кресле, маленький, располневший, весьма скромно одетый. Давалась пьеса «Открытая война». Я пела на сцене у окна выбранный мною романс. Аплодисментов не полагалось в присутствии императора, но этот романс, которого еще никто не слышал, произвел впечатление. Раздались аплодисменты. Ко мне за кулисы явился граф Боссе с просьбой повторить романс. Я была очень взволнована, я пела, не сводя глаз с Бонапарта. Он оставался неподвижен. Он слушал, а может быть, делал вид, думая о чем-то своем. О чем он думал в этот момент: о словах ли романса или о собственной судьбе? Ожесточался или сожалел? Его поредевшая армада еще была жива, но рука

мертвой Москвы лежала на всем вокруг тяжким камнем. Не об этом ли он думал, застывши в кресле и обратив на меня белое лицо?

Меня поздравляли. Клеман Тинтиньи, ординарец императора, преподнес мне цветы, но я-то знала цену этому успеху. «Теперь или никогда», — решила я, машинально принимая цветы и поздравления. Я попросила у графа Боссе какой-нибудь экипаж, который тут же был мне предоставлен, наскоро привела себя в порядок и отправилась на Чистые пруды. «Он дома, он пьет, страдая от одиночества, — без надежды думала я, — он будет расслаблен и улыбочив, но жалкая замарашка явится перед ним, и кто знает, не захочется ли ему вновь прикоснуться ладонью к моему плечу?..»

Дверь в доме была распахнута. В вестибюле царил все тот же хаос. Медленно и задыхаясь, я поднималась по темной лестнице наугад, на ощупь, уже не заботясь о последствиях своего визита, желая только одного, чтобы он был добр и набрался терпения вслушаться в мои слова. Я сильно постучала и распахнула дверь. В зале было темно и тихо. Внезапно отворилась дверь его комнаты, и вышел он со свечой в руке. Лицо его было жестче, чем обычно.

— А, это вы... — сказал он мрачно. — Но господин Пасторэ уверял меня, что теперь я буду предоставлен самому себе...

Сердце разрывалось от жалости. В клетчатом жилете, с не очень свежим шарфом на шее, он казался мне совершенством, но совершенством для иного мира, не этого, утопающего в крови и пепле. Я была бессильна произнести то, что я намеревалась сказать ему.

Во мне все кипело — страсть и губительная нежность, слепой восторг и ужас — как перед падением в пропасть.

— Мне страшно подумать, что вы в полном одиночестве, — выпалила я, едва переводя дыхание, — я хочу вам сказать, что могу приходить к вам... заботиться о вас... Вы совсем один, мне это ничего не стоит... у меня достаточно времени, чтобы прислуживать вам...

— Дорогая, — сказал он, теряя терпение, и это «дорогая» прозвучало как пощечина, — одиночество для меня привлекательнее, чем присутствие малознакомой дамы с чуждыми мне привычками.

— Вам это кажется! — выкрикнула я.

Он сделал движение рукой, словно указывая мне на дверь.

— Я люблю вас, — выговорила я с трудом и крепко зажмурилась.

Он помолчал, затем сказал с оскорбительным спокойствием:

— Вы сошли с ума. Что между нами общего? Да и потом, вы слишком молоды и слишком французенка, чтобы нам было о чем с вами говорить...

Внезапно мною овладела ярость. Мне захотелось ударить его, унижить, оскорбить, заставить отшатнуться, чтобы свеча вывалилась из его рук и все загорелось: этот дряхлый шарф, портрет этой дамы, его дурацкие книги... Скажите пожалуйста, не о чем говорить!

— Зато у меня есть кое-что еще, так что можно будет обойтись и без разговоров! — крикнула я, ожесточаясь почище, чем он.

Я крикнула и отшатнулась, потому что мне показалось, что он хочет меня ударить. Рушился мир. Мне бы следовало целовать ему руки, валяться в ногах, взывать к его великодушию.

— Этим обладают все женщины, — сказал он очень спокойно, — в равной степени.

Я повернулась и пошла прочь. Та самая русская барыня провожала меня взглядом. Они понимали друг друга. Они существовали в своем мире. Это я была пришлицей, и мои притязания были напрасны.

Он нагнал меня в темном вестибюле.

— Послушайте, — проговорил он, задыхаясь, — мне хочется разбить себе голову о стену, потому что я все потерял... а тут еще вы с вашим французским вздором! Я все потерял... я ничего не могу... Да погодите же!.. А тут еще вы... Это все равно что потерять руку, а плакать

об утрате перчатки... стремиться сохранить перчатку... Ах, моя перчатка! Как я покажусь в свете?.. Да? Вы меня поняли?.. Вы меня поняли?..

— Да, — сказала я, прикасаясь к его руке, чтобы его успокоить, — разумеется...

На следующий день я была бледна. Играла плохо. Господин Пасторэ, не пропускавший ни одного спектакля с моим участием, был очень удручен, но молчал, и я видела по его лицу, что он догадывается, мудрый интендант, куда я неслась в предоставленном мне экипаже и что произошло потом.

Когда спустя несколько дней мне удалось немножечко успокоиться, так как актриса не может умирать вечно, я поняла, что должна снова отправиться к этому человеку. Но теперь уж я явлюсь к нему не жалкой попрошайкой, а спасительницей, добрым ангелом. «Мой дорогой, — думала я, — мне ведь ничего от вас не нужно, взгляните: разве я похожа на женщину, собирающуюся стать русской барыней? Поверьте, я бескорыстна, как луговая ромашка... Так чего же ты хочешь?» — спросила я сама у себя, обливаясь слезами. Какой злосчастный миг столкнул меня с этим господином! Мало выпало на мою долю горестей, чтобы в довершение всего еще такое! Благодаря доброте графа Боссе мне удалось раздобыть несколько бутылок красного вина, которые я с трепетом уложила в плетеную корзинку, чтобы снова предпринять беспримерный вояж на Чистые пруды, как вдруг стало известно, что французская армия покидает Москву...

И вот все кончилось. Театр умер сам собой. Никому не стало дела до искусства. Под холодным дождем по разрушенной Москве молча двигались одна за одной колонны. Говорили, что гвардия выступила раньше. Вид солдат, да и офицеров, был ужасен. Я отсиживалась в своей пустой холодной квартире в полном отчаянии, не зная, что же наконец предпринять. Полковник Пасторэ заглянул ко мне на несколько минут и попросил меня собираться и ждать его сигнала. Что было собирать? Какая насмешка. Все, что я имела, было на мне да бесполезная корзинка с красным вином. Может быть, выпить за вас, господин Свечин? Однако бывшее благоразумие не совсем оставило меня. Оно шепнуло мне, что все в моей власти и если у меня хватило сил дожить до этого часа, то предстоящие испытания — ничто рядом с предстоящими. Полковник Пасторэ не может быть моим спасителем. Эта роль не для него. Я не отталкивала его, я просто не могла продать душу. Душа моя оставалась здесь, в этом несчастном городе, превращенном в кладбище моими соотечественниками. Я вглядывалась в их молчаливые колонны, дрожа от холода и безнадежности, и слышала им вслед свист и улюлюканье всей Европы. Мои соотечественники, мои братья в грязных мундирах, в рваных сапогах, ослепленные собственным кумиром!.. Верните мне мою шубку из шкурки сибирского зверька! Верните мне мое легкомысленное прошлое, полное очаровательных надежд!..

Всю ночь я плакала, а когда наконец сон сморил меня, я увидела императора. Он стоял напротив меня спиной к окну в сером сюртуке и лосинах. Восковое лицо его выступало из полумрака, в глазах стояла такая тоска, что я не выдержала и закричала... Было серое утро. Полковник Пасторэ разбудил меня и торопливо сообщил, что Клеман Тинтиньи предоставил в мое распоряжение прекрасный экипаж и что мне пора выходить, как бы ни было поздно.

— Ваш кучер — мой Франсуа, — сказал он, — он все знает и отвезет вас в назначенное место.

Я машинально вышла из дому. Полковник Пасторэ, помахав мне, отъезжал в своей коляске. Перед моим домом стоял отличный дормез, который предназначался мне, французской актрисе. На козлах восседал Франсуа. Тут я вспомнила о своем решении и, чтобы не возобновлять ненужных разговоров, погрузила в экипаж плетеную корзинку со своим богатством.

— Франсуа, — сказала я, — езжайте к Страстному монастырю и ждите меня у ворот. У меня остались еще кое-какие дела...

Он кивнул мне и тронулся по направлению к монастырю. «Бедняжка, — подумала я, — тебе придется ждать меня вечно!» Я осталась одна, предоставленная самой себе, и ощущение былой легкости снизошло на меня. Дождь не прекращался. Дул промозглый ветер... Что-то изменилось вокруг, но я не сразу поняла, что это неприятельские войска оставили город.

И вот уже замаячили отдельные фигурки жителей Москвы, они вылезали на свет божий из всевозможных щелей и укрытий, их становилось больше, и они медленно, украдкой двигались в том направлении, куда ушла французская армия. Какой-то господин в помятой шинели, выйдя из ворот, тихо крикнул: «Ура!» Все молча шли, еще не совсем доверяя происшедшему. Они приблизились: господин в помятой шинели, старуха с сучковатой палкой в руке, мужик с рыжей бородой, какие-то мастеровые по виду, горничная, торговка с пустым лотком. Боже мой, какие у них были лица: желтые, отекавшие, с блуждающими глазами; как они были грязны и оборваны! Я пошла рядом с ними. Мы шли медленно, почти крались, выглядывали из-за углов зданий, и новые жители присоединялись к нам.

— А французы-то тю-тю, — сказал один мастеровой, и все тихо засмеялись.

— Теперь они больше не вернуться, — крикнула я по-русски, ликуя, — я знаю! Можно не бояться... *Vive Moscou!*¹

Они внезапно остановились. Кто-то спросил:

— А ты кто такая?..

— Я француженка, — сказала я упавшим голосом, — но я давно живу в Москве, и я осуждаю моих соотечественников...

— Сучка, — прохрипел господин в помятой шинели.

Они тотчас окружили меня. Они задыхались от злобы, что-то клокотало в них. Я сделала попытку вырваться из их кольца, но старуха, разевая беззубый рот и что-то крича, ударила меня в грудь палкой...

— Что вы делаете! — закричала я. — Я ни в чем не виновата! — Меня схватили за волосы, кто-то бил по спине, чьи-то пальцы подбирались к горлу. — Сжальтесь! Сжальтесь! — кричала я.

Они били меня, я видела среди них Свечина и даму с громадными синими глазами. Затем что-то обрушилось, и я потеряла сознание.

Очнулась я на том же месте. Я лежала под дождем. Сначала вокруг никого не было, затем стали появляться одинокие прохожие. О, как они были невинны и кротки, как робка была их походка, как сдержанны жесты...

«Скорей, скорей, — подумала я, с трудом подымаясь, — скорей, пока они вновь не собрались в толпу!» К моей великой радости, дормез все еще стоял в условленном месте, Франсуа нетерпеливо вертелся на козлах, и лицо его выражало испуг.

— У вас было, как видно, непростое дельце, сударыня, — сказал он, оглядев меня, и тронул лошадей.

Я ехала по Москве, и слезы катились по моим щекам, и, плача среди этого смрада и пепла, среди развалин, несправедливости и тихого ликования, я поняла, что уже ничего воротить невозможно, и навсегда покинула Россию.

¹ Да здравствует Москва! (фр.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
О ТОМ,
ЧТО ВСПОМНИЛОСЬ В ПРЕКЛОННЫЕ ЛЕТА

1

Судя по рассказам, ликование в Петербурге выглядело ленивым празднеством рядом с московскими безумствами. Нынче, конечно, все видится как бы в синей дымке, но ароматы, звуки, радостные улыбки и стенания, переливы мартовских сугробов живы в памяти. Да еще сильный дух махорки... Конечно, если бы не Свечин, я бы всего этого не запомнила. Подумать только, лишили жизни императора Павла и почти все веселятся и ликуют! Он был отнюдь не дурным человеком, но публика всегда печется о собственных выгодах, а все остальное ее мало касается. Впрочем, если уж стремиться быть справедливой, ему были присущи и тяжелые недостатки. А кто не без греха? Я знала многих достойных людей, искренно его оплакивавших, хотя и переживших в связи с ним много печального. Я даже, помню, краснела всякий раз, как слишком громко хохотали, слишком истерически поздравляли друг друга с падением тиранства или взрывали петарды, будто сама была причастна ко всему происшедшему. Однако тиранство никому не мило, даже такое болезненное и жалкое, ибо все устали каждый день считать последним, устали от глупейших запретов, и мне понятны страх и негодование благородных людей, не застрахованных от кнута и розги по высочайшему бзичу.

И вот все высыпали на улицы Москвы, едва лишь известие до нас докатилось, и все суетились, бегали взапуски, раскрасневшиеся от мартовского морозца, и пили шампанское, а купчишка и челядь — водку, целовались взапрос... Все перемешалось. А одежда была так внезапна, так неправдоподобна — снова круглые шляпы на мужчинах, запрещенные почившим императором, снова французские фраки под распахнутыми шубами, и военные все словно разом отрезали гатчинские косички, и воистину помнится, как чернели на желтом весеннем снегу то там, то здесь черные ленты с мужских косичек, похожие на мертвых птиц, как самозабвенно их топтали, пританцовывая... И сильный запах махорки, не успевший выветриться, это запомнилось.

Да, все целовались. Кто с кем. Тут уж было не до приличий, ибо безумие заразительно, как инфлюэнца, а безумие радости особенно. Я тоже сподобилась, попав в этот круговорот, и уже почти не отдавала себе отчета: зачем, почему, для чего... Сначала меня одолела пожилая дама громадных размеров, и я запуталась в ее руках, в ее шубе и оглохла от ее причитаний, хотя отчаянно старалась укрыть губы от разверзшегося влажного рта, что мне и удалось, так что поцелуй ее пришелся в щеку. Затем подкатился кавалергард и очень обстоятельно и долго впивался в меня, на мгновение отводил мою голову, разглядывал меня с восторгом слепца и спешил приложиться вновь; тут уж я была в полной его власти, напоминая самой себе тряпичную куклу, так он был силен, ловок и опытен. Я уже не могла выйти из этого заколдованного круга, что-то со мной тоже стряслось: ликовать в двадцать четыре года даже без видимых причин — всегда наслаждение. И, уж теперь точно не припомню, я переходила из рук в руки, постепенно теряя присущее мне чувство брезгливости и сливаясь со стонущими толпами, хотя машинально еще укрывала губы...

И вдруг передо мной возник молодой господин (видимо, судьба распорядилась), немногим старше меня, такой же разгоряченный обстоятельствами, всей этой вакханалией и все же показавшийся мне менее безумным, чем все вокруг. Не понимаю, что со мной произошло, но не он, а я первая его оценила, увидев его прищуренные насмешливые глаза, слегка впалые щеки и столь же насмешливые яркие губы. «Чего мне стыдиться! — подумала я с внезапным облегчением. — Уж если меня обнимали все кому не лень, даже пропахшие дегтем и водкой чудовища, пусть он целует...» И приблизилась к нему, протянула руки. Запах лаванды, молодого свежего тела, мартовского морозца — все перемешалось. Я закрыла глаза. Природной расчетливости моей как не бывало. Рука сама обхватила его шею, пальцы сами скользнули по прохладному меху его воротника... Что это было? Озорство, вожделение, каприз или глубокие предчувствия? Не знаю, но, видимо, и то и другое, в противном случае разве я устремилась бы к нему? Все длилось мгновение, а казалось — вечно. Я почувствовала, что задыхаюсь, и он разжал объятия и внезапно покраснел, наблюдая, как моя рука медленно и неохотно выползает из-под его воротника. Я покраснела тоже. Надо было кинуться прочь и затеряться в беснующейся толпе (подумаешь, катастрофа!), но ноги не слушались. Да и он не спешил. Не хватало слов, чтобы все обратить в шутку. «Возможно ли?» — со страхом и надеждой подумала я, подразумевая свое, тайное, глубоко запрятанное и единственное, как мне тогда казалось. Впрочем, нынче понимаю, что ничем не отличалась от любой мало-мальски нормальной московской барышни, хотя и успела побывать в замужестве, печальном и несурразном, подобном пустому, стершемуся сновидению.

Нужно было что-то сказать, но слов не было. Он мне нравился, этот молодой господин, и расстаться с ним так просто и, конечно, навсегда представлялось бедствием. Но где же та ниточка, с помощью которой только и можно было бы спастись, удержаться на этой земле всего лишь мгновение, достаточное, чтобы не раствориться в равнодушном московском воздухе? Впоследствии, спустя много лет, в редкую минуту расположения ко мне, он сказал как-то, что лихорадочно думал о том же и мечтал придумать и выкрикнуть нечто такое, волшебное, способное пригвоздить меня к московской мостовой, не нарушая правил приличия и не вызывая во мне ужаса. Существуют ли такие слова? Но тогда мы стояли безмолвные среди разверзшихся стихий, постепенно приходя в себя и приближаясь к той роковой минуте, когда и вступали в силу те самые правила приличия, перед которыми был бы бессилён даже вкус его поцелуя на моих губах. Слов не было.

Видя нашу беспомощность, природа делала свое дело. Я рассердилась на него, затем на толпу, на Москву, на себя, на запах лаванды, а может быть, и махорки, исходивший от его шубы. Я не нашла изъянов в его лице, если не считать слегка впалых щек, которые мне как раз и нравились. Он смотрел на меня с удивлением, слегка наклонив голову, будто живописец на неодушевленную модель. Слов по-прежнему не было, и мы разошлись, даже не поклонившись друг другу.

Когда же страсти в России отбушевали и новый император Александр Павлович, с приятным румянцем на щеках, с аккуратной слегка рыжеватой шевелюрой, оглядел нас голубыми глазами, все улеглось, и можно было подумать, что излишние страсти теперь уже неуместны. Хотя кто может похвастать своим умением определять грань, за которой кончаются наши иллюзии? Думаю, что никто, как не мог и новый император, оказавшийся, кстати, моим ровесником. В последующие годы я молилась за него, ибо судьбе было угодно доверить ему наше спасение и он оказался на высоте. И хотя в те годы, кроме радостных надежд на него, никто почти иных чувств и не испытывал, однако мрачные пророчества все-таки возникали то здесь, то там, исподволь, как бы случайно, но нынче, спустя четверть века, я понимаю, что общество тем самым само разрушало себя, несколько о том не беспокоясь...

Итак, все улеглось, и следовало продолжать прежнюю жизнь, но оказалось, что молодой господин, которого я сама выбрала в толпе и бесстыдно целовала, он не забылся. В общем-то, банальный случай: любая бы на моем месте, да в мои годы, да не склонная к ханжеству, не смогла бы устоять перед таким соблазном и уж обвинилась бы вокруг непременно. Что я и

сделала. Но спустя некоторое время воспоминание отнюдь не потускнело, а, наоборот, ожило, ожило, одухотворилось, наполнило меня. Кто-то не слишком благородный старался во тьме ночной, придумывая способы усложнить мою жизнь. Видимо, удача ему сопутствовала. Юная барышня, читающая эти строки, пожмет плечами оскорбленно, что в подобных случаях делала и я, покуда загадочная моя судьба не заставила меня кинуться самой на шею первому встречному. Уверена, что в моем доме и среди моих знакомых не было никого, кто мог бы похвастать, что разглядел во мне внезапную перемену. Да это не утешало. В зеркале я выглядела привычно и вполне пристойно, но червь точил изнутри.

Мои доброжелатели и всяческие опекуны, родственники, дальние и близкие, — все вокруг продолжали пекся о моей судьбе как ни в чем не бывало, не замечая глубокой пропасти, разверзшейся предо мною. Они видели двадцатичетырехлетнюю особу с именем в Губине, с собственным домом в Москве, в Староконюшенном, с приличным годовым доходом, неглупую, с приятными чертами лица, несколько, может быть, непокладистую, даже трудную, успевшую погубить молодого, ленивого, доброго, пустого мужа (скончался после развода от неумного пристрастия к еде), рано потерявшую родителей, а потому слишком рано познавшую слабость к независимости... Перед ними маячила эта молодая особа, которую следовало прибрать к рукам и приспособить к привычному образу семейной дамы, не выходящей из общего круга, не пугающей и их самих, и унылых дочерей и не приводящей их сыновей в состояние опасного экстаза.

Должна признаться, что я и не отвергала их намерений, слишком очевидных и посему добрых, и с легкостью отдавалась этой житейской игре, натурально наострив ушки, чтобы по милости их добросердечия однажды не попасть впросак.

«Служи, Варвара, их прихотям, — говорила я себе, — но предпочтение отдавай своим собственным». И Варвара им служила, кланялась, и расточала благодарности, и всплескивала руками в нужные моменты, и все это чтобы не разрушить их самозабвенных усилий и чтобы не остановить нормального течения жизни.

По природе своей она не была разрушительницей и злодейкой, да и замуж заторопилась, чтобы спасти, как ей казалось, удачливого молодого добряка от московской лени и излишнего жирка. «Что за беда, — твердили ей, — если у человека потребность, прости господи, напузыриться до отвала? На сытый желудок творятся добрые дела». Добрые дела оставались в области фантазий, и она с ним рассталась. С горя, в одиночестве страсть его разгорелась пуще, и на том все кончилось. Кое-кто втихомолку считал ее виновницей несчастья, но живые пекутся о живых, и они вновь принялись за привычное дело.

Я воспринимала их усилия всерьез и даже с благодарностью, хотя где-то в глубине души чувствовала, что хлопоты эти пустые. Не то чтобы претенденты на мою благосклонность, которых они мне подсовывали, были дурны или порочны. Многие мне даже нравились, но яд былой неосмотрительности еще присутствовал в крови. Я не спешила.

А тут этот поцелуй.

Но так как он исчез бесследно, этот молчаливый господин, не объявив ни имени своего, ни звания, мне оставалось проклинать собственную нерешительность тогда, когда я почти держала его в руках, да одуревать от бессильных фантазий, которые нам только и остаются при утратах. Шли дни, постепенно забывались его черты, облик, лишь ощущение жаркого поцелуя на губах было свежим и губительным. И тут уж, видимо, не какие-то там высшие соображения руководили мной, не чувство долга, не движение души, не всякие там высокопарности, а вездесущий голос плоти. В фантазиях мой гений выглядел уже другим, и я рассказывала в вечернем кругу об одной молодой особе, так неправдоподобно столкнувшейся на мгновение с избранником судьбы, канувшим в московском водовороте, «у Чистых прудов, господа...».

Я рассказывала эту историю довольно часто, вызывая повышенный интерес, и не удивилась бы, узнав, что к Чистым прудам сходятся любопытные толпы. Весна уже вступила в полную силу, а страсть моя и боль не утихали. Все прочее было мне безразлично. «Но если

страсть ее, как вы рассказываете, не утихла на протяжении многих лет, — говорили мне, — стало быть, это знамение, а не пустой случай, и вашей знакомой надо было не покладая рук искать свою пропажу...» — «Не покладая ног...» — нервно посмеивались иные.

На какое-то время мой красочный рассказ, как мне показалось, даже затмил успехи молодого Бонапарта и первые шаги нашего нового царствования. Но что же было делать не героине моего рассказа, а мне самой, живой и трепетной, со всем этим свалившимся на меня несчастьем? Уже если это был не пустой вульгарный поцелуй, а знак судьбы, значит, и следовало ждать, как она сама, судьба, распорядится. Но ждать недоставало сил. Мне было впору уподобиться воображаемым барышням и толочься у Чистых прудов ежедневно с рассвета до сумерек — авось он промелькнет за стволами деревьев.

Я пренебрегла самолюбием и отправилась в злополучное место. Это было то самое место, но преобразившееся. Свежая листва украшала деревья. Снега не было и в помине. Публики не было. Трава спускалась к самой воде. Молодой гусар объезжал скакуна. Денщик держал стремя. Проезжая мимо меня, гусар подбоченился. В зеленой воде отражались майские деревья. Тонкий запах лаванды витал в воздухе.

Теряла ли я надежду? Отнюдь. Я уже отвергла случайность и уверовала во вмешательство высших сил, и это меня поддерживало. Мартовский поцелуй жег губы, и никакая сила, даже моя природная насмешливость, не могла бы теперь помешать мне надеяться и ждать. Нет, я не обольщалась, что первое же мое появление у Чистых прудов вознаградит меня за дни отчаяния, но судьба судьбою, а не мешало и самой быть расторопнее и зорче. Я поняла, что отныне мне суждено являться в это место и обреченно бродить вдоль зеленого берега, иначе я прокляну сама себя, оскорблю ближних, взорвусь, подожгу Москву... И тут я увидела его.

Он шел в мою сторону в тени деревьев в сером фраке, как мне показалось, держа под руку даму в малиновом наряде, шел, размахивая тростью и беспечно смеясь... Дама выглядела расплывчато, зато он был четок, словно омыт весенним ливнем. Я хотела отбежать в сторону, но ноги не слушались... и эта дама... «Возможно ли?» — подумала я, холодея. Они приблизились. Это был не он...

Доходило до нелепостей. Однажды мы пили чай на прогретой майской веранде. В тот год еще продолжали восторгаться Суворовым. Я ничего не имела против прославленного генералиссимуса, но постоянные восторги окружающих побуждали меня к бунту. В самый разгар очередных панегириков молодой Преображенский капитан, мой давнишний доброжелатель Арсений Бочкарев, взорвал бомбу в самом центре стола, меж самоваром и калачами, произнеся, как всегда, шепотом:

— Бонапарт уничтожил сословия, и крестьянин, французский крестьянин, который у него в солдатах, рассчитывает на одинаковые с командирами награды, я уж не говорю, что солдат этот сам может стать командиром... Представляете, как он дерется! Они ведь в большинстве своем, французы, замухрышки, но как они дерутся!.. Нашего солдата дома секли, в строю секут... Представляете, какая сила у французского генерала! Наш солдат терпелив... Вот что важно... Суворов, конечно, гений, но одним гением ничего не сделать.

Случилось легкое замешательство, и все молчали.

Я вспомнила, как год назад обидела бедного генерала Опочинина, молодого великана с круглым лицом и детским взором, вернувшегося из швейцарского похода и пышущего батальным вдохновением. И я ему сказала что-то о полководце, о кумире, что-то такое, что, мол, он бегал от французов через Альпы, что-то такое кокетливое, видимо, потому, что молодой генерал был мне симпатичен. Бедный Николай Петрович! Я загнала его в угол, и этот умный и решительный человек отбивался от моих сарказмов робко и неуклюже, как какой-нибудь фельдфебель из провинциального гарнизона, хотя ему ничего не было бы проще, как поддаться мне со снисходительной насмешливостью, и я, пожалуй, не нашлась бы... Да ведь и я ему нравилась, вот он и смешался.

Действительно, подумала я в тот вечер, когда Бочкареву было угодно погасить фонтан славословия ленивых московских умников, действительно, думала я, что значит полковод-

ческий дар обожаемого генералиссимуса рядом с переворотом, совершенным Бонапартом, по сравнению с новым обществом, с его принципами, нам непонятными? Что значат военные способности, даже гений, умение двигать полки, произносить запоминающиеся сентенции, слыть в обществе чудаком, что это все в сравнении с новым духом, поселившимся среди людей?

Наступили сумерки. Сильный запах сирени донесся из сада, а мне мерещились мартовские ароматы и слегка впалые щеки, к которым я прижалась однажды с такой неотвратимостью, а стало быть, что значили для меня тогда совершенства знаменитого нашего воина, и даже все Бонапартовы новшества, и даже преимущества свободы над рабством и различие между республикой и тиранией, и все, все, когда я постоянно видела эти впалые щеки — мое предназначение — и ощущала в воздухе признаки лаванды?.. Я незаметно выскользнула из этого приятного хора, велела заложить коляску и кинулась туда, к Чистым прудам.

Воротилась я часа через два после, как обычно, бесплодных ожиданий и всяческих промашек, и почти никто не заметил моего отсутствия. Тема звучала уже иная, и осы слетались к варенью. Рассказывались всяческие анекдоты из жизни покойного императора Павла, и тут капитан Бочкарев наклонился ко мне и сказал шепотом:

— Варвара Степановна, послушайте бедного капитана.

— Говорите, — так же шепотом отозвалась я, пытаюсь понять смысл только что рассказанного анекдота.

— Дело в том, — сказал Бочкарев, — что я люблю вас и прошу вашей руки...

Это могло показаться шуткой, когда бы не его остановившиеся глаза. На столе возник очередной самовар. Повевало сыростью из сада. Как просто это было произнесено, вот так, за чаем, шепотом, без церемоний и коленопреклонений. Он откинулся в кресле и закрыл глаза, но даже густые бакенбарды не скрывали его пунцового смятения...

— Послушайте, — шепнула я, — вы ровно Суворов перед штурмом...

Он не улыбнулся.

Кто-то сказал на дальнем конце стола:

— Прежде чем прославлять свободу, надо по крайней мере представлять, что она такое...

— У меня должно быть множество благополучных детей, — шепнула я капитану.

— И что же? — спросил он, едва шевельнув губами.

— Вы военный, и вам предстоит сражаться... — Я видела, как он напрягся. — Кроме того, я так ценю ваш ум и независимость суждений... у нас с вами старая дружба... неужели вы предпочитаете...

— Предпочитаю... — шепнул он. Лицо его побледнело. На лбу появились капельки.

— Напрасно, — сказала я. — Утром вы пожалеете. Дождитесь утра.

Капитан был человеком тонким. Он смог воспринять мой горький юмор, как и подобало, сдержанно и достойно. А тот, подумала я о мартовском моем господине, я же не люблю его, он просто мое проклятие. С какой ловкостью он от меня уходит, как искусно избегает моих домогательств... Я было решила воротиться в Губино, в тишину, велела снаряжаться, люди мои засуетились — старались угодить.

Не скрою, все эти разговоры, все это жужжание о войне и политике, которые я же сама и возбуждала, витали под потолком, меня нисколечко не задевая, потому что я пребывала в том возрасте, когда служение природе — не долг, а потребность, а моя природа не признавала ничего, кроме господина с Чистых прудов, и мое больное воображение, распаяясь, рисовало его лихорадочной кистью, самыми неправдоподобными красками... Бог простит.

Люди мои замелькали — старались угодить, и, когда все было уложено, я возьми да и раздумай.

Разве существовали снадобья, способные мне помочь? Да и нужно ли исцеление от столь натуральных ран? «Благодари Бога, Варвара, — высокопарно думала я, — что он снизошел к тебе и поджег засохнувшие было ветки твоей души!..» Высокопарность, рожденная высоким чувством, не должна казаться смешной. В ней все перемешалось: и слабая женская надежда,

и отчаяние, и волковское глухое благоразумие. Варвара была вновь спокойна, холодна и на-смешлива, и мартовский господин сиял перед нею не призом, заслуженным за долготерпение, а идеей... И тогда ворота распахнулись.

Долго ожидаешь — быстро находишь. Утром приехала ко мне Катерина Семенова, мягкая и вкрадчивая, знающая себе цену, вольная генеральская жена. В белой юбке из батиста, в такой же свободной кофте, в тюрбане из розового тафтяного шарфа. Вся парижская, продуманная, душистая, но с лицом истой москвички-басманки, на котором небольшой носик, карие томные глазки, свежие щечки и слегка виноватая улыбка на губах.

— Учусь у тебя, милая Варенька, быть сильной и идти прямо, куда мне Бог велел, и не отступать... Учусь, учусь, да все, представь себе, не в пользу.

Чему она могла у меня учиться в ту пору, когда я была как потерянная? Так, слова одни.

У нее все получалось легко, изящно. Большой дом у Красных Ворот был всегда распахнут. Генерал Семенов жене великодушно потакал. Молодые люди и известные сердцееды за Катенькой вились длинными теньями, но она как-то все быстренько переходила на дружескую ногу, виновато улыбалась, но белой решительной ручкой делала вот так, будто отводила с лица кисею...

Утром она приехала, и мои ночные фантазии (да все о том же, о том же) растворились было в ее ворковании и в ароматах. Да, я позабыла сказать, что, если долго вглядываться в ее счастливое лицо, можно было заприметить на нем легкую тень сокрушенности... Но это мои наблюдения. Мы были с нею ровесницы, но по широте и московской своей доброте она обо мне пеклась неназойливо, легко, красиво, прощая...

Это было восхитительное утро, майское, мягкое, московское, и до меня доносилось ее обычное воркование, так, будто издалека, и я ее воспринимала вполуха, как вдруг отчетливо прозвучало:

— ...впалые щеки, маленькие горящие глазки (разве маленькие, подумала я, несколько не сомневаясь, о ком шла речь), не ловелас, радость моя, напротив, строг...

— Как его имя? — спросила я.

— Господин Свечин, — сказала она, — сын генерала Свечина... Опять генерал. — И засмеялась. — У нас нынче в России все генералы, представь себе...

Я несколько не сомневалась, что это мой мучитель. Сердце билось слишком часто, но я не выдала себя ничем.

— Я его спросила, — сказала Катерина возбужденно, — не скучно ли ему среди нас? Он сказал «отчего же» и сделал на лице пренебрежение. Отчего же, сказал он, вы все мои родные, я ваш, мне с вами интересно. В голосе была тоска, представь себе, и даже неудовольствие.

— Чего же ты к нему привязалась? — спросила я резко.

Она сделала большие глаза, и в них я увидела господина Свечина. Делать нечего, но я оказалась на положении заурядной московской девицы, тешащей себя иллюзиями. Катерина, сама того не подозревая, подогрела мое воображение до крайности. Унылый и раздраженный вид господина Свечина, описанный ею, меня не поверг в отчаяние. Откуда взялись силы? «Не вздумай быть с ним откровенной, Варвара, — решила я, — он оттолкнет тебя холодом и раздражением, и тогда тебе впору предпринять самое страшное, Варвара... Не дай-то бог!» Я знала фамилию моего героя. Чего еще больше. Остальное я вручила в руки судьбе, и она оказалась ко мне благосклонна.

Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, возникли будто из ничего едва угадываемые нити, пребывавшие дотопе в забвении, натянулись, зазвенели, и я пошла, ухватившись за них. Эти ниточки привели меня в конце мая к Улыбышевым на Мясницкую. Я приехала с опозданием и попала к вечернему чаю. В улыбышевском доме чаепитие проводилось по раз и навсегда установленному порядку. Сначала музицировали, спорили о политике и модах и, конечно, поминали недавнее злополучное царствование. Затем усаживались за громадный овальный стол с неизменным томпаковым самоваром и приступали к чаю в полнейшей тиши-

не. Эта торжественная тишина сопутствовала таинству до последней капли в первой чашке, со второй возникало привычное гудение — прерванный было разговор возобновлялся вновь. Сервировка стола не отличалась изысканностью, напротив, чашки были нарочито грубы, откуда-нибудь из Вязьмы или Костромы, да и вообще вся посуда выглядела доморощенной, и блюда из тусклого желтоватого фаянса были чашкам под стать. К чаю подавались в изобилии конфеты, киевские варенья, жидкие и сухие, мармелад, пастила и различные желе и ватрушки, но венчали все это изобилие деревенское коровье масло и горячие, вздыхающие пшеничные хлебцы.

Я вошла к началу первой чашки, и поэтому у меня и у незнакомых мне гостей было достаточно времени оглядеть друг друга, что мы и постарались сделать одновременно. Все гости были преклонных лет, милые и радушные, но источавшие такой сильный аромат московской скуки, что я поневоле уставилась в единственного из гостей, который выглядел чуть старше меня.

На нем был темный фрак, выдавший виды, и кремовое жабо, небрежно украшенное шелковой лентой. Коротко остриженные волосы с седой прядкой не соответствовали сравнительно молодому лицу, острому и продолговатому. Он рассеянно подносил к губам чашку. Прихлебывая, он улыбался чему-то своему, отставляя чашку, тускнел... Я подумала, что могла целоваться и с ним там, у Чистых прудов, а после рисовать в горячечном бреде его неподобный образ, хотя он вот какой, похожий на мирную вечернюю собаку, молчаливый и скучный.

Я наблюдала краем глаза, как он намазывает масло на хлеб, неторопливо, но и без интереса, без вождения. Конечно, я могла целоваться и с ним. Там, на мартовском снегу, в праздничной суете, все казалось значительным и полным тайны, но как безжалостно колеблющийся свет вечернего чаепития утишает страсти и развенчивает фантазии! Не могу сказать, чтобы он был мне чрезвычайно интересен, однако я не отводила от него взгляда.

В конце концов, я могла целоваться и с ним, но тот был высок и вальяжен, а у этого вдавлены плечи, тот был весь распахнут и стремителен, а этот скрытен и, вероятно, лукав, и, кроме того, там витал аромат лаванды, а тут ванили... и прочие глупости теснились в моей голове, как вдруг до моего сознания дошло, что я дрожу, как в лихорадке. Никто этого не замечал, но дрожь усиливалась, и он посмотрел на меня. У него были впалые щеки и маленькие пронзительные насмешливые глаза. Беспомощность овладела мной. Пустая чашка — жалкое прикрытие — застыла в воздухе меж нами.

Все перешли в гостиную, но как это произошло, не помню. Я сидела в кресле у окна. Воздуха не хватало. Может быть, это чума, подумала я, так как в те дни было принято говорить о чуме. Он стоял у противоположной стены, о чем-то беседуя с хозяйкой дома. Я решила немедленно уехать, как вдруг увидела, что он направляется в мою сторону... Уселся в кресло рядом со мной и спросил лениво, почти на меня не глядя:

— Не кажется ли вам, что эти чаепития укорачивают жизнь?

«О, мой господин, — подумала я, теряя самообладание, — я нашла тебя не для того, чтобы растрачиваться на светскую болтовню...»

Я пожала плечами.

Он вздохнул, сказал шепотом:

— Это круг, очерченный самонадеянностью. Другого нету.

— Мы с вами целовались на Чистых прудах в марте, — сказала я, слишком четко выговаривая каждую букву.

— Вероятно, — ответил он спокойно. — Тогда все целовались. И я. — И наклонился ко мне: — Вы придаете этому значение?

Теперь я уже не сомневалась, что это был он. И уж если судьба впрямь пеклась обо мне так старательно и так стремительно, то не следовало ли ее несколько образумить и попридерживать, чтобы, не дай бог, не лопнуть от внезапного счастья? Могу ли я жалеть нынче о том, что бросилась в водоворот, уготованный мне, распахнув душу и закрыв глаза? За окнами был

май, в гостиной клубился легкий гул гостей. Мне было двадцать четыре. Кто знал тогда, что предстоит нам в скором будущем?

Варваре казалось, что она достигла самых больших высот и вот-вот ей должна открыться истина. Она глянула на своего собеседника и поразилась, как точно он успел запомниться за одно мгновение, пока выскальзывал из ее объятий.

— Вы придаете этому значение? — И внимательно посмотрел на меня.

«Смотри, смотри, — подумала Варвара, — запоминай. Может быть, и я приснюсь тебе однажды, может быть, и тебе захочется кинуться к Чистым прудам с горлом, пересохшим от жажды свидания».

— А уж как все целовались, — сказал он брезгливо, — словно сорвались с цепи. На что способен человек, когда ему удастся вдруг вырваться... и он волен...

— Мы могли бы и поубивать друг друга в иных обстоятельствах, — заметила я, не в силах отвести от него взгляда.

Он наклонился ко мне еще ближе, но смотрел без интереса, не мигая.

— Вы полагаете, что человека необходимо по-при-держивать?

— К сожалению, — откликнулась Варвара. — Но чем жестче узы, тем он опаснее. — Она засмеялась.

— По мне, пусть все целуются постоянно, — ответил он холодно, затем резко встал, резко поклонился и вышел из гостиной. Часть моей жизни удалась вслед за ним. Что ж, подумала я, уж если уповать на природу, не следует ей противиться.

Все сходилось — одно к одному. Его фамилия действительно была Свечин, и отец его действительно был генералом, ходившим в Европу все с тем же Суворовым, да в новое царствование успел испросить себе отставку. Старые вояки говорили о нем неодобрительно в том смысле, что он всегда отличался более пристрастием к искусствам, нежели к суровой и восхитительной армейской фортуне, боялся крови и нелепо выглядел в седле. Я слышала о нем давно, но никак не предполагала, что мой господин с Чистых прудов от того же корня, и никак не думала, что генеральский сын, о котором поговаривали в свете как о человеке опасном, приверженном якобинству, что этот генеральский сын и впивался своими жесткими губами в мои губы, да так, что я лишилась благоразумия и обхватила его шею, одуревая от запаха лаванды...

2

...Нынче за окнами осень, уныние, губинские пейзажи. Четверть века пронеслись с того поцелуя, шутка ли?.. Все будто и знакомо, а счастья нет и нет. Неужто это я, дама с поблекшими чертами, прищуриваюсь на природу из окон? В природе увядание, в душе тоже. Какое соответствие! Наученная горьким опытом бедного Николая Опочинина, пишу эти нескончаемые страницы в надежде, что когда-нибудь Лиза прочтет все это и какие-то недостающие частички нашей жизни откроются наконец перед нею и жить станет проще и понятнее. Когда Тимоша вернулся из военных странствий, я вручила ему амбарную книгу его погибшего деда, и он много дней ходил с красными глазами. И я думала тогда, глядя на него украдкой, что не приведи бог Лизе полюбить этого неуспокоившегося молодого человека с опочининской тоской во взоре, потому что соединение этой тоски, способной расширяться до жутких пределов, с волковской холодностью и трезвым расчетом не доведет до добра. И стоило мне о том подумать, как они влюбились друг в друга.

Сначала я, натурально, принялась горевать. Походы и баталии не остудили Тимошу, а, напротив, добавили его эмоциям яду, и он загорался и вспыхивал всякий раз по любому пустому поводу, горькому или радостному, вызывая в Лизе умиление. Это все у них было написано на лицах, да и до сей поры я вижу это, будто читаю детскую книгу. Как обольщалась Варвара, полагая, что счастье — глядеть в глаза обожаемому существу, мыть ему ноги и скулить

в разлуке. А счастья попросту нету. Есть наша жизнь, короткая, словно пламя свечи, и мы преодолеваем этот краткий миг, спотыкаясь, досадуя на неудачи, совершая предназначенное и надеясь, надеясь...

Однажды я заметила, как загорелись и погасли Лизины глаза после возвращения Тимоши с войны и визита к нам. Ему было девятнадцать, что ли, ей одиннадцать. Я в те лета не загоралась. Тимоша и впрямь был хорош собой, словно специально задуманный, чтобы волновать деревенских девочек. Высокий, с тонкой талией, с широкими сильными запястьями, кудрявый, глазастый, задумчивый, с внезапной чистой улыбкой, в темно-зеленом егерском мундире, в шляпе с зеленым же султаном, шляпу небрежно снял, кудри рассыпались. Лиза ахнула...

— А помнишь, — сказал он ей, — как мы с тобой раньше по саду бегали? Помнишь?

— Помню, помню, — сказала она, пунцовея, — конечно, помню. Я все помню, Тимоша...

Ну, конечно, раньше бы он у ней ручку поцеловал с шутиливой галантностью, а тут обнял за плечики, словно маркитантку, и повел по дорожке несколько шагов, затем вернул ее и тут же забыл, а она стояла, прикрыв глаза, и я тогда догадалась, что деревенская тишина, одиночество и российская наша склонность к раздумьям непременно теперь проявят свое коварство.

Я приготовилась, как всякая порядочная волчица, где-то в глубине души понимая, что тревога моя от неотвратимости всего и я бессильна перед судьбою. Ни мне, ни Свечину никто никогда помехой не был, не мог быть. Мы прожили по внушениям свыше, и это нас поднимает в собственных глазах, хотя при этом горечь и досада сопровождают постоянно.

Может быть, это выглядит вздорно, когда я говорю Лизе с напрасным пафосом: «Не забывай, что есть сила, ведающая нами. Не пытайся ускользнуть из-под ее власти — судьба шутить не любит». — «А кто она, эта сила?» — спрашивает она насмешливо, и я узнаю себя.

Двадцать лет всем своим поведением я внушала ей, как прекрасна самоирония, а сама украдкой, с дрожью и благоговением сдувала с нее пыль. Теперь она расцвела, хотя цветение ее не было безмятежным, и пламя нашего губинского дома до сих пор посверкивает в ее глазах... Мужики тогда совсем было ополоумели и с вилами в руках ждали, когда я выползу из горящего дома. Но я вышла, по пистолету в каждой руке, и они расступились. «Вы хуже французов, — сказала я спокойно. — Погодите, прогоним неприятеля — учиню вам спрос». Они молчали. Лиза шагала рядом, ухватившись за полу моей шубы. Следом выступал Андриан с мушкетом. Две горничные девушки, срывая ногти, запрягали коней в экипаж.

Когда выходили из горящего дома, Варвара распорядилась ледяным голосом: «Чтоб ни одной слезы!» И все были суровы, будто судьи. Так, не опуская пистолетов, и уселись в экипаж. Два возка с верными людьми закрипели следом. Лиза глядела на огонь, покуда пожарище не скрылось за горкой. Тогда Варвара выронила пистолеты, и горничная Дуня терла ей щеки, шепотом причитая.

Разбойнички спустя месяц потянулись ко мне в Ельцово, где все мы нашли приют. Все пришли с повинной, кроме двух главных подстрекателей — Семанова и Дрыкина, которые сгинули. «Они сжечь нас хотели?» — спросила я у Дуни. «Ага, — сказала она, глотая слезы, — с барышней вместе... Мужики-то боялись, а эти зудят и зудят...» — «А мужики не хотели?» — спросила я. «Не, — сказала Дуня, — боялись...» — «Я ведь никакого зла им не делала... Что же это они?.. Так бы и глядели, как мы горим?» — «Ага, — сказала Дуня, — глядели бы...» — «Значит, они меня ненавидят?» — спросила я с ужасом. «Не, — сказала Дуня, — как можно? Их энти подбили. Зудят и зудят».

Кстати, о самоиронии. Выяснилось, что я сама-то ею и не обладаю. Какая она? Я себя люблю. Я горжусь собою. Кокетство бедного генерала Опочинина не для меня, хотя он был добр, великодушен. Думать о себе насмешливо? Но это унижает! Не обольщаться на свой счет? А на чей же тогда обольщаться? Хватит и того, что человек, которого я любила, платил мне равнодушной неприязнью. Я стояла большего. Да, Варвара стояла большего, когда

с пистолетами в руках возникла на пылающем пороге. Я люблю это вспоминать. Черт с ним, с домом, ежели такой ценой платишь за одну прекрасную минуту. Не с поклоном же было выходить к злодеям... Не прошло и полугода, как их топоры и пилы зазвенели, с усердием возводя новый мой дом. Как низко они мне кланялись, хотя у Лизы в глазах это пламя все еще не угасает. Это к давнему утверждению Тимоши о сладостном равенстве людей, которое должно возникнуть невесть как, будто бы само собой, как-то там изловчившись, исподтишка, если, конечно, его зазывать и именем его клясться...

— А ты видел, Тимоша, — спросила я однажды, в ту пору, когда он только воротился из прекрасной Франции, — видел, что было у мужиков в глазах, когда они, покачивая вилами, ожидали моего выхода? Кровь и надругательство. Я им цену знаю и презираю за тайную злобу! Я любила их и жалела, покуда они меня не предали. И перед кем? Перед лицом французов! Хлоп есть хлоп, Тимоша... А когда где-нибудь там, потом наступит эта проклятая пора, это твое равенство, все равно, Тимоша, холопы останутся холопами, помяни мое слово, хоть в бархат и атлас их оберни, тавро не соскresti, Тимоша... — Я тогда распалилась, что на меня не было похоже, и почти кричала: — Мою тетку, красивую юную Прасковью, Пугач велел вздернуть, а после саблей по тонкой шейке!.. И кровь голубая у нее текла!.. Они даже перепугались, убийцы!.. Нет, Тимоша, равенства не бывает, прости меня, Господи, бывает тревожное перемирие, тебе, как военному, это понятно; пока у меня в руках по пистолету, я до экипажа доберусь!

— Так ведь мы их продаем, а не они нас! — вспыхнул он, и полные губы его дрогнули.

— Ах, Тимоша, — сказала я спокойно, — это ужасно, это дикость наша, позор наш... Разве можно людьми торговать?

В те времена душные волны французских соблазнов еще не начали затухать. Мы задыхались в них. Господь милосердный, сколько храбрых гвардейцев, воротившихся домой, потрясали кулаками, будто впервые дивясь на наше глухое варварство... (Маленькая Лиза, избегая моих нотаций и ведя со мною домашнюю войну, говорила тоненьким непреклонным голоском: «Ох уж это варварство!..»)

Нынче разменяна четверть нового века. В честь этого события и осень стремительна. Деревья оголяются мгновенно. Вчера еще были кое-где листочки, а нынче ни одного. Вчера, когда упал последний, открылась даль, дорога на Липеньки, и по этой дороге, уже не скрываемой кустами, покойный генерал Опочинин, еще молодой и круглолицый, упрямо шел ко мне в Губино, с трудом переставляя деревянную ногу!.. «Дуня!» — успела крикнуть я...

3

...А тогда в Москве, еще не знавшей пожара и поджигателей, Варвара отыскивала ниточку к молодому Свечину, и это занимало ее более всего, а не проклятые вопросы, мучившие остальных. Кто он был, ее мартовский искуситель? С кем предстояло ей мериться силами, которых с каждым днем оставалось все меньше и меньше? Наконец, спустя много лет, залетев в минувший век с помощью все той же Катерины Семеновой и прочих щедрых на язык великодушных москвичей, ей все-таки удалось разглядеть юность этого человека.

Черты его двадцатилетнего лица были тогда еще заметно округлены, и будущие разочарования еще не отпечатались на его высоком лбу и гладких щеках. Черный плащ вольного покроя подчеркивал его нездешность. Вчерашнему парижскому студизусу на родине было непривычно. Москва казалась иностранной. Отечество не позаботилось внушить своим ароматам былую достоверность. До встречи со мной ему оставалось более восьми лет. Он жаждал деятельности. Микроб, приобретенный на чужбине, побуждал к фантазиям, вовсе не российским. Бунтарский дух Сорбонны горячил кровь, и ангел во фригийском колпаке нашептывал соблазны.

Уже через месяц после возвращения он понял, что попал к чужим. Большинство мыслили, как Екатерина, в голубых немецких глазах которой посверкивало вольтеровское лукавство, но ум был холоден, а в душе скапливалась неприязнь к немногочисленным российским почитателям крючконосого француза. Большинство испытывали те же чувства. Лишь ничтожная часть пыталась возбудить свою кровь французскими бурями. А ведь императрица была прозорлива, старуха была мудра, утверждая, что в конце концов французы сами себе отрубят голову. Она знала больше, чем все мы, Париж был перед ней как на ладони. Она-то знала, да знал ли Свечин?

Юность жестока, и вид чужой крови, к общему удовольствию политиков и полководцев, не вызывает в ней отвращения. И когда в корзинку гильотины глухо скатилась крупная голова Людовика, и по темному одеянию палача расплзлись темно-красные пятна, и толпа бодро ухнула, наблюдая, Свечин на мгновение прикрыл глаза и подумал, как просто отлетают королевские головы вместе с париком. Как просто все: освобождение от тиранства и утверждение возлюбленных истин, которые вчера еще казались фантазиями!

Уже впоследствии, в добрые минуты разглагольствуя о собственной юности, он вспоминал о себе с неудовольствием, как о карасе, попавшем на крючок: тиранства не было, оно пришло вместе с кровью, а возлюбленные истины оказались плодом невежества. Но тогда он распивал со студентами темно-красное бургундское и, едва ворочая деревянным языком, провозглашал в общем хоре сентенции, безопасные в те дни на парижских мостовых... Он целовался с парижскими лавочниками, воображая себя переселившимся в рай. Хорош рай в обнимку с гильотиной! Во всяком случае, его любвеобильное сердце, как любят выражаться романисты, и его душа не были забрызганы темно-красными пятнами — это пришлось на одежду. Немногочисленные дети России, ставшие очевидцами, отплясывали в Сен-Жерменском предместье, а после, разбежавшись по кабачкам, выкрикивали славу князьям Голицыным, двум худеньким наследникам княжеского рода, пришитым к гувернерам, выкрикивали славу им за то, что они участвовали в штурме Бастилии. Тут мне понятен пафос Свечина, сомневаюсь, был ли он глубок. Страшная тюрьма пала, и по прошествии времени стало казаться, что ее низвергли два худеньких российских аристократа с ружьями наперевес, вдохновленные на подвиг французскими гувернерами с якобинскими профилями.

Меж тем в России Петропавловская крепость величественно возвышалась, не вызывая у Свечина и у Голицыных чувства протеста, хотя троекратная формула французского мятежа звучала одинаково соблазнительно на всех языках.

Свечин вспоминал, что сомнений не было. Молодой граф Строганов с гувернером же катался в Версаль на заседания Национального собрания. Свечин с ним приятельствовал. Навивные пророчества Руссо казались им откровениями века. Подумать только, все могут быть равны! Не сомневаюсь, и у Строганова, и у Свечина были добрые сердца. Идея всеобщего равенства согревала их на парижских улицах, не совмещаясь с Россией.

Я чувствую, что мои речи начинают звучать осуждающе, хотя, видит бог, намерения мои иные, да и как мне быть судьей, когда я обременена современными грехами? Кстати, не успело пролететь и тридцати лет, как огнеопасные ухищрения Руссо превратились в изящную литературу, да и то отдающую тленом. Старуха была мудра, но идей его боялась напрасно: мы не можем быть равными, стоит только взглянуть друг на друга.

Императрица потребовала от блудных сыновей незамедлительного возвращения в отечество, где гордые пространства и заново пробудившаяся кровь должны были исцелить их отравленные чувства. Дети России затягивали возвращение кто как мог. Болезненные печени нуждались в водах, от роковых мигреней спасали берега Темзы. Свечину изобрели воспаление шейных позвонков, в честь чего было немало выпито. Но в велеречивых предписаниях, долетавших с холодным ветром из отчих краев, таилась опасность. Инстинкты не успели начисто поблекнуть за пятилетнее отсутствие, и постепенно унылые караваны потянулись к востоку. Однако и родимой природе не сразу удалось, как она ни старалась, успокоить возбужденные сердца вчерашних вольных парижан.

Свечин возвращался со Строгановым. Через Лондон, Вильну, и Дерпт, и Санкт-Петербург, где пришлось задержаться, несмотря на строгое батюшкино письмо о незамедлительном проезде прямо в Москву, без задержек, домой, в объятия. Уже по одному этому письму Москва не сулила никаких блаженств, и приезжие решили попрощаться с юностью прямо здесь, в Петербурге, у Строганова в собственном доме, неподалеку от покоев престарелой государыни...

Ну и времена! Трудно поверить, что все так произошло, как трудно поверить в золотые сны тридцатилетней давности, но тем не менее из ярко освещенных окон строгановского дворца гремела Марсельеза, пугая и возбуждая громадную толпу на Невском, а по залам маршировали молодые аристократы под трехцветным французским знаменем, все во фригийских колпаках, с горящими взорами, под громогласное «вив ля либере!», и «эгалите!», и, натурально, «фратерните!», мимо застывших у стен ливрейных лакеев во фригийских же колпаках. Стреляли по-холостому в потолки и окна. Картонная голова несчастного Людовика волочилась следом по паркету. Белые букли парика, искусно выпачканные темно-красной краской, и бледные одутловатые щеки, к которым тоже прикоснулась кисть, возбуждали и придавали буйству некоторую подлинность...

Обнимались, целовались. В диванной из диванов же лакеи воздвигли баррикаду. Затем лакеи, закончив баррикадные работы, обносили молодых пылающих энтузиастов вином и шампанским. Горничную нарядили «а ля республик» и поочередно целовали и тискали и таскали за собой из залы в залу, вспотевшую, губастую, зажмурившуюся от ужаса. Но вот шумные эти проводы стали затихать, вино не пилось, и глотки охрипли, и пороховой дым разъедал глаза. Свечин в пылу обнял лакея и облобызал его по-братски под вялый смех приятелей. От лакея пахло пудрой и дегтем, он был неподвижен и холоден, только неживые губы клюнули барина в щеку, а может, показалось...

Под утро начали разъезжаться, успев столкнуться с флигель-адъютантом императрицы, прискакавшим выразить матушкино неудовольствие. Затем старшего Строганова, вытребованного из Царского, многозначительно журили.

В Москву Свечин катил сонно и молча. Не то чтобы прелести французского угара выветрились и померкли, но что-то все-таки слегка придавливало, приминало, и дышалось трудно, и локоть не находил удобного положения на кожаных подушках, а на постоянных дворах в душе разливалось уныние от капустной вони и небритых смотрительских рож. Так он заново постигал любезное отечество, всматриваясь в него французскими глазами, покуда не очутился в Москве, на Чистых прудах, в объятиях...

Москва, Чистые пруды, объятия, воспоминания — общеизвестные снадобья, восстанавливающие утраченные чувства. Но, видимо, царили иные времена, и испытанных этих средств не хватало.

«...И я тебя отлично понимаю, — говорил Свечин-старший. — Вот, например, с каким наслаждением мы надевали французские шляпы при блаженной памяти Елизавете Петровне и, надвинув эти шляпы, посвистывали в немецкие спины... Я тебя отлично понимаю, в юности ведь все жаждут перемен... юность жаждет перемен, а про закваску мы и не вспоминаем, какой конфуз, про закваску... — И он погрозил толстым добродушным генеральским пальцем. — Вы там про закваску позабыли, и я тебя отлично понимаю: Монтескье сказал, Дидерот сказал, Вольтер, Мабли... А не хотите ли, мои юные друзья, нового Пугача? — Он встал с кресел, вытянулся во весь свой небольшой рост, запахнул старенький, выцветший любимый вишневым халатик и пухлой рукою махнул в сторону окна: — Я могу нарисовать тебе такую картину: ты наконец ото всего свободен — и от имения, от этого дома, от всех тысяч годовых, от меня (ибо я болтаюсь в петле), от матушки (ибо ее хватил удар), от кофия в кроватку по утрам, от лицемерия московских красот, ибо по мостовым течет кровь, трактиры разграблены, мужики спят во дворцовых покоях, на Смоленском рынке большая дубовая плаха, по кремлевским стенам развешано белье на просушку вперемежку с покойниками (кстати, твоими же

вчерашними приятелями по Парижу), и, кстати, все висят в паричках, камзолах и при шпагах, вот что замечательно. — И спросил шепотом с улыбкой фавна: — Тебе это нравится?» — «Нисколько», — угрюмо рассмеялся младший. «Тогда, — сказал генерал, — не забывай, что мы замешены на меду и гречихе, в отличие от французов, которые, в свою очередь, замешены на чем-то другом, другом, пусть наипрекраснейшем, но другом... Но все равно, — он тяжело вздохнул, — придется тебе напяливать кафтанчик снова, естественно, камзольчик, но ощущать себя как бы в кафтанчике, соразмерять с отечеством свой пыл, дружок, и гляди, не разбуди Пугача, — и прыснул, — пушай его поспить!..» Смех получился нелегкий.

В те наивные дни возможно было и впрямь гадать на кофейной гуще о степени родства меж Пугачом и Робеспьером и, помня совсем недавние орды хмельных каторжников, торопящихся в столицу лить господскую кровь, размышлять о русском народе, совращенном с благородной стези книжками Вольтеров и Руссо. «Да не мужики, не мужики, — в полемическом азарте выкрикивал некий гость, — а ваши возлюбленные дети! Гляньте-ка, сотни благородных юнцов размышляют о нашем варварстве... Им кровь нипочем. Они желают очиститься кровью!..»

И примолкшие слушатели кивали просвещенному оратору так, словно на дворе уже бушевала толпа неведомых злодеев во фригийских колпаках. Однако, бывало, возникал голос, насмешливый и густой. Свечину доводилось слышать его то там, то здесь в добротных и щедрых московских домах под дальние и пока еще нестрашные отголоски французских событий... «А мы и есть варвары. И в этом наше спасение. Пусть это будет вам в утешение, ибо народ наш ничего не читает, не знает. Помещички читают изредка, а мы, господа, читаем “Санкт-Петербургские ведомости”, из которых только и узнаем, что жалкая кучка взбесившихся французов преступно помышляла о свободе, а получила кровавую тиранию...»

Страх, в общем, не было. Были предчувствия. Свечин злорадствовал, прислушиваясь к спорам, но злорадство было душное, липкое, не возвышающее, а подобное согревающему компрессу.

В Москве щедро привечали французских эмигрантов, кормили и поили назло разбушевавшимся якобинцам, устраивали им охоты, успокаивали громадными просторами и российскими чудо-богатырями, которые вот-вот и наведут во Франции порядок. Все восстановится, господа, восстановится, восстановится... Однако меж делом кое-где читалось письмо английского Воронцова, и ладони при этом отвратительно потели...

«...Эта зараза повсеместная. Наша отдаленность предохранит нас на некоторое время; мы будем последние, но и мы будем жертвами этой эпидемии. Может, не нам, но сыновьям нашим непременно выпадет все это. Я решил обучить сына какому-нибудь ремеслу, слесарному, что ли, или столярному. Когда его вассалы скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли, пусть он, по крайней мере, будет зарабатывать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета где-нибудь в Пензе или Дмитрове. Эти ремесла пригодятся ему больше, нежели греческий, латинский и математика...»

«Кстати, — крикнул генерал Свечин, усаживаясь в карету, — забыл тебе сказать, что на фонарях будут висеть и сами подстрекатели, и все в паричках, с непросохшими перьями в руках, на босу ногу!..»

Такие сарказмы расточал генерал Свечин, а Александр Свечин морщился, шокированный отцовским невежеством. В один прекрасный день отец потерял сына. «Я доживу своим умом, — сказал младший Свечин, — ежали вы не возражаете. Подумаю...» — «Подумай, подумай, — сказал отец, утирая глаза батистовым платочком, — я ведь тоже не пророк, прости. Но мне сдается, что это не для нас, не для России твои эксперименты...» — «Зачем мне вас-то впутывать в мои фантазии? — сказал младший. — Я ведь не хочу порочить вашу репутацию... Пусть время само... Оно само знает... Я ведь хочу добра...» — «Ну естественно, — согласился отец, глядя в окно. — Но, между прочим, когда делают зло, всегда говорят, что хотели добра... Это я вообще... Я, например, хотел поставить Еврипида на домашней сцене. Думал, ты мне

поможешь...» — «Я готов, — сказал сын, — это меня привлекает. Отчего же и не поставить?..» — «Ну ладно, — сказал старший, — ступай. Скажи Прокофию, чтоб сопровождал тебя. Скажи, я велел».

Александр снял квартиру недалеко от отцовского дома и поступил на службу в архив Иностранной коллегии.

Молодость проходила быстро. Да и Москва ничего не забывала. Напрасно обольщаются некоторые ее сыновья, что их внутренних сил достаточно, чтобы сопротивляться ее объятиям. У нее такой запас силы, которого хватит на многие тысячи упрямец с коротким веком и с короткими мыслями. Не помню, знала ли я это тогда, но нынче знаю, а потому уж ежели и бесчинствую, то в пределах собственного дома. Даже тогда, когда она пылала в двенадцатом году и казалась обреченной и беспомощной, что-то все-таки в ней кипело и разливалось через края, так что мы все места себе не находили и ее волны достигали нас и не давали покоя... И я о том думала не однажды и даже высказывалась на сей счет, невзирая на насмешливый шепот Александра Свечина: «Вам только дай пофилософствовать!»

А тогда, лет за восемь до нашего поцелуя, меня тогда как бы и не было вовсе. Была Варвара Волкова, существо иного замеса. Я вспоминаю ее не слишком доброжелательно. Мне вообще несимпатичны смазливые барышни с открытым лицом и с королевскими претензиями. Были бы еще сердечны, а тут сплошной расчет и холод. После поцелуя все переменялось.

Не буду утверждать, что мои многочисленные пороки растаяли в мартовском воздухе, увы, но жизнь, видимо, приобрела значение, смысл которого по-прежнему оставался неуловим для окружающих. Для них ведь все определено: люблю, любима, свидание, узы, предназначение, долг, волнение плоти, смятение души. Но ничего похожего на тайну. Когда же я ощутила эту тайну и поняла, что отныне обречена на страдание, во мне прибавилось сил, зоркости и долготерпения. О чем еще мечтать?

Натурально, это свершилось не в один день, как может показаться, но ведь тут что день, что десятилетие, что вечность — разницы никакой, не правда ли? Но, мой дорогой, у меня должно быть много детей, мальчиков и девочек, барышень и стройных глазастых молодцов, напоминающих моего героя, а отчасти и меня, в которых бы совмещались его страсти и поиски выхода с моим благоразумием и моей трезвостью! Так думала я, приближаясь к нему по ниточке, врученной мне провидением.

Говорить легко, а приблизиться трудно. Я раскидывала сети, но они оставались пусты. Мы встречались время от времени то здесь, то там, как это водится в нашем кругу, и, будучи уже знакомы, отделялись поклонами и переговаривались с помощью услужливых переводчиков, которые всегда находились к нашим услугам. Бывало, например, речь заходила о Бонапарте, ну, что-нибудь о его честолюбии, или военных талантах, или еще о чем-нибудь и затевался легкий спор без враждебности, без взаимных уколов, гудение, да и только. Но постепенно хор затихал, и оставалось два голоса — мой и Свечина, так уж получалось.

Он, сидя от меня в некотором отдалении, допустим, говорил, обращаясь не ко мне, а к своему соседу: «Что бы там ни говорили о Бонапарте, а он дал французам порядок, и они за него горой...» Тут я говорила своему соседу: «С помощью пушек можно добиться чего угодно, но насколько это справедливо?..» Свечин отвечал, не глядя на меня: «Пушки, видимо, и существуют для того, чтобы успокаивать ретроградов...» — «Лишать людей силой их привычного уклада, — говорила я соседу, слегка улыбаясь, — это совершать преступление...» — «Если рабство — привычный уклад, — небрежно ронял Свечин, — то это дурная привычка...» И наши соседи поддакивали и мне, и ему, и я думала о том, что свидание наше отдалается.

Однако нельзя было терять ни минуты: жизнь коротка. Рабство, холопство, варварство — не моя сфера, думала Варвара, решившись на завоевание. Легкое пренебрежение, слетавшее с его губ, ее не удручало. Расставаясь, он едва кланялся. Можно было подумать, что скорби всего человечества сосредоточились в нем одном и что Варваре следовало бы быть осторожней, чтобы не усугублять его страданий. Но она решилась на завоевание. Она не искала легких путей, которые были так соблазнительны в опыте ее предшественниц. Она

не поддакивала ему и не тарасила многозначительно свои синие глаза, чтобы доставить ему минутное удовольствие. «Мне не нужно ваше расположение, — думала она в такие минуты, содрогаясь от его ледяных поклонов, — мне нужно, чтобы вы не умели без меня обойтись...» Она играла сама себя, и потому ее не волновали угрызения совести.

«Почему ты выбрала этого скучного доброжелателя?» — спросила однажды Катерина. «Я его не выбирала, — ответила Варвара. — Видимо, остальные более веселы и доброжелательны, чем это может понадобиться в обиходе». — «Но ведь он засушит тебя, ежели ты станешь госпожой Свечиной», — засмеялась Катерина. «Меня — может быть, — сказала Варвара, — но госпожу Свечину никогда».

Она не стала говорить Катерине, что поклялась связать свою жизнь с человеком, которого полюбит и выберет сама, и что она сыта по горло любовью недавнего своего доброжелательного лентяя, и что мужчина должен класть кирпичи, а скрепляющий раствор — дело рук женщины, и что, ежели он тот, которого назначила ей ее судьба, ежели она не ошиблась (а она не могла ошибиться, до сих пор ощущая ожог того мистического поцелуя), ежели воистину он был мистическим, стало быть, предчувствия верны, и остается только приуготовлять себя к неминуемому. «Странно, — проговорила Катерина, — я всегда побаивалась людей скрытных. Они для меня будто охотники в камышах, а я будто утка на открытой воде...» — и засмеялась. «Среди всех охотников, — сказала Варвара равнодушно, — я его несколько не выделяю» — и подумала, что он не похож на охотника.

Конечно, фигура Свечина не могла не привлекать внимания, и, я думаю, не только мы с Катериной время от времени пускались в догадки. Сохраняя добрые отношения с престарелым отцом, сын продолжал вот уже семь лет жить отдельно и весьма скромно. Возраст и московский климат постепенно выветривали из него бунтарские наклонности, и Франция снилась все реже и реже. Однако обществу были непонятны его устремления и житейские надежды: кто он, куда направляется и чего желает?

Завоевание, на которое решилась Варвара, крайне рискованно: завоеватели былых времен, случалось, возвращались домой без войска, но у них оставался народ, жаждавший мести, и все начиналось снова; или возмездие настигало их, и они теряли не только войско, но и свой народ и даже родимые пространства, но на помощь могли прийти иные племена, и все восстанавливалось и начиналось сначала; конечно, они могли и погибнуть, но у погибших нет будущего в этом мире, и нечего об том рассуждать. Здесь же вам не грозила даже гибель, а уж отечество и вовсе оставалось неприкосновенным, и непосвященные соотечественники по-прежнему окружали вас, и ваша честь не была затронута, ибо она бывает затронута, если вы окружены посвященными радетелями за ваше благополучие. Нет, нет, все оставалось прежним. Препрежним, но... никаких надежд!

Удивительно, как в двадцать четыре года я могла все это осмыслить, не теряя присутствия духа и не обольщаясь. Видно, и впрямь судьба руководила мною, но когда б мне знать, как она может быть коварна!

4

...Дуня и привела меня в чувство, взгромоздила на кровать, обдувала, причитала, кропила водой. Все и прошло бесследно.

— Что же это было? — спрашиваю, все тут же отлично вспомнив. — Какой-то горький знак? Предостережение?

— Вы-то упали, барыня, — говорит она бесцветными губами, — они-то подходят, вот ей-богу...

— Кто же, Дунечка, кто же! Бестолковая ты какая!

— Хромой генерал, барыня, Николай Петрович...

— Дунечка, — говорю я с дурацкой улыбкой, — его же французы застрелили еще в двенадцатом годе, — и встаю с кровати с удивительной легкостью, словно ничего не произош-

ло, и без страха выглядываю в окно. Губинские пейзажи. Облетевшая листва. Голые сучья на деревьях. Тут вся моя жизнь. — Почему ты решила, что это был он, а, Дуня?

— Так вы же сами кричали, — говорит она, успокаиваясь, — и по имени его называли.

— Вспомнила, вот и все, — говорю я строго. — Разве не бывает! Ты-то сама ведь не видала.

— Не, — говорит Дуня и хитро улыбается: — Я вас на кровать волокла.

— Значит, опять соврала? И не стыдно?

— Прямо, соврала, — говорит она и притворяется обиженной: — Они не первый раз тута ходють... Нынче не видала — вас волокла, а третьего дни видала...

— Ступай прочь, — говорю я грозно, а у самой начинается сердцебиение.

После всех бурь, пережитых нами, о чем я думаю? Как двадцать лет назад все спорили о Бонапарте, так нынче — о крестьянах. Рабы не рабы, позор не позор, можно продавать — нельзя продавать... Но все это проходит мимо меня, не очень-то задевая... О чем я думаю? Я не властна над жизнью, я ее пленница, я ее дитя, мы все ее дети. Она преображается сама, исподволь, и наше терпение ей споспешествует. Не нам ее ломать и приспособлять под временную свою угоду. Разве, расшибив лоб на всяческих модных фантазиях, не к тому ли пришел и Свечин?

В шестнадцатом году и Тимоша, нагледевшись на всяческие европейские вольности, пылал и содрогался от жажды переустройств и плакал, поглаживая грязные головы холопских детей. Николай Петрович Опочинин дал Арине вольную, а она все там же живет, в Липеньках, позабыв, что она вольная, пьет горькую, якобы барина покойного поминая. Да ей не вольная нужна, а господский гардероб и зонтик — этакое чучело наводит тоску и уныние на все вокруг! Тимоша тоже когда-то тараторил о равных правах, а нынче его волнует справедливость, справедливость и милосердие, против чего возразить трудно, хотя при слове «милосердие» всякий раз вспоминается мне губинский пожар и их зверские лица, и я теперь только вздыхаю и пожимаю плечами: да я ли не милосердна, дети? На днях я повторила ему старую свою мысль о том, что мы не можем быть равными, стоит только поглядеть друг на друга. Он захохотал, а в прежние годы непременно оскорбился бы. Однако я чувствую за этим хохотом тоску и безысходность, и мне страшно становится за Лизу, она глядит на него с обожанием. «От тебя, Тимоша, всего можно ждать», — говорю я ему. «Вот уж нет, — отвечает он с грустью, — уже ничего. Течет речка, и я по ней...» Вот и я думаю о том же. Но отчего же каменеет его лицо, когда до него долетает крикливое пение дворовых девок? И отчего на поклон всякой деревенской бабы он покорно сгибает свою холеную шею?..

Там, в столицах, за калужскими лесами, что-то назревает, накапливается. Новые умы — новые притязания. А здесь истинная жизнь. Если объединить Липеньки и Губино, получится целое государство. Я передам корону Лизе, пусть царствует.

Эта корона была хороша на мне в былые годы, когда, отдышавшись в Ельцове после губинского пожара, я загорелась жаждой мести. Собрала ельцовских мужиков и сказала: «Хотите, жгите меня здесь, в Ельцове...» Они все на колени пали, многие плакали. «Тогда, — сказала Варвара, — кто хочет со мною идти, пусть собирается. Кто не хочет, виноватить не буду». Со мною собрались двенадцать мужиков, да повар Ефрем, да Дуня. Четыре ружья нашлось, штык, топоры, вилы. Получилось отличное воинство.

Вся деревня их снаряжала. «Этих, — сказала Варвара мужикам, холодея, — двоих... ну тех самых (имен упоминать не хотелось)... когда отыщем, камень на шею и в пруд...» Ельцовские мужики согласно кивнули. «А теперь с Богом...»

Бабы не причитали. Шел дождь с мелким снегом. Мужики расселись по дровням. Варвару с Дуней усадили в возок. Два поворота — и Ельцово скрылось.

На третьи сутки доползли до Губина. Деревня была цела, будто ничего и не происходило, дым из труб поднимался в низкие небеса. Подморозило. Остановились у губинского старосты в чистой избе. Сам Гордей подобрался к Варварину подолу — ножки поцеловать, но Варва-

ра его отпихнула, и он зачастил на четвереньках обратно к распахнутым дверям, где толпилась вся семья. Варвара не заметила на его тусклом жидкобородом лице ни страха, ни раскаяния. В голубых выцветших глазах не было ни слезинки...

— Где ваши атаманы? — спросила грозно, как смогла.

— Тута, — сказал Гордей от двери, — тута, матушка Варвара Степанна, в погребе дожидаются, матушка, сами явились, разбойники, с повинной.

Перед Варварой пуще разгорелось недавнее пламя, послышался треск горящих стен, и Лизы белое невинное личико выплыло из коричневого дыма.

— Связаны?

— Связаны, матушка. Как есть связаны по рукам и ногам. К вам в Ельцово везти собирались.

— А вот я сама приехала, — сказала Варвара. — Пора расплачиваться.

— Посечь надо, — откликнулся Гордей, — ишь чего надумали... Пушай покаются перед вами, матушка...

— Мне их покаяния не нужны, — сказала Варвара.

— Вестимо, — прохрипел Гордей. — Посечь надо...

— Посечь... — засмеялась Варвара зловеще и оборотилась к ельцовскому эскорту: — Делайте, что велено.

Все гурьбой вывалились из избы. С улицы доносились выкрики, перебранка. Губинское пламя взлетело до самого неба. Генерал Опочинин лежал у ворот собственной усадьбы, застреленный французским драгуном, и его любовь к Варваре стремительно холодела. «Неужто мы и впрямь варвары? — подумала Варвара, поеживаясь. — Что ж мы никак не угомонимся?» Закусив побелевшие губы, запахиваясь в шаль в жаркой избе, она вновь пыталась отыскать виновных, но, как и прежде, их имена и облик были неуловимы... Кто ж виноват во всем? Неужто всего-то эти два негодяя, подбившие других сжечь дом с живыми людьми?.. А может быть, маршал Ней, в чьих жилах крашенная кровь? Или сам Бонапарт, пообещавший спасение от рабства? Или она сама, Варвара, не приученная к состраданию? Или генерал Опочинин, так печально прервавший свое путешествие в поисках истины?.. Да и хватит ли двух склизких камней на двух чужих унылых шеях, чтобы ей уже не беспокоиться о собственном благополучии?..

Наконец явились ельцовские палачи, возбужденные, в промокших сапогах.

— Ну? — спросила Варвара.

— Все как есть сполнили, барыня, — усмехнулся Игнат и качнул кучерским кулачком.

«Бедная моя Лизочка, — подумала я в ту минуту, — так и проживет теперь всю жизнь с пламенем губинского дома в глазах! Разве это вытравишь?»

Тогда мне было тридцать пять, и я сознавала всю тщету моих усилий, слыша горький запах горячей Москвы, будто отсюда, из Губина, первая же искорка нацелилась на золотые главы первопрестольной. «Что же вы наделали, злодеи? — думала я, плача украдкой. — С кем же мне теперь сводить свои бесполезные счета? С вами ли с самими или с французами? Или с самой собой?» Красный петух, этот легкомысленный кровожадный и вечный искуситель и спаситель, витал над нами, трепеща крыльями, уже который век пытаюсь избавить нас от собственных наших ошибок.

Через неделю после расправы мы оставили Губино, обогнули Липеньки (я даже не обернулась в их сторону) и окопались в глухом бору, завидя на дороге разрозненный французский отряд. Меня поразило, что вражеское войско двигалось от Москвы. Колонна передвигалась нестройно. Лица угрюмы. Многие в бинтах. Молчание царило в рядах, лишь скрипели колеса возов и пушек да побрякивали неуместные железки. Я велела двум своим воякам разузнать обстоятельства сего странного явления. Мы удалились от дороги и принялись за землянки. Для меня мужики постарались, и вскоре я получила дворец, даже с сенями, с ковром из лап-

ника по всему полу, с глиняной печкой, отменным ложем, дворец, озаренный теплым сиянием шести свечек. Это все было сооружено проворно и вовремя: к дождю уже примешивался ранний снег. Игнат, ровно флигель-адъютант, не отставал от меня ни на шаг. Я расставила часовых. А вскоре воротились и лазутчики и сообщили, что Москва французами оставлена и наполеоны уходят в обратном направлении.

— Тут-то их и давить, — сказал Игнат, улыбаясь.

Сейчас он так же крепок, как в те годы, хоть и не молод, и черная кудрявая борода пронизана белыми искрами, да и кудрява ли? Потухший взор — одно угрюмство, да голова, всегда задранная, нынче опущена, рокошущий бархат голоса перемежается хрипом, теперь улыбки не дождешься. А в те годы, я помню, она не сходила с влажных губ — радуется ли он, затевает ли зло... Натуральный злодей с картинки.

— Дозволь, матушка, мы вот вчетвером на дорогу сходим, какого-никакого отсталого наполеона приволокем, ты его допросишь, и казним.

И он обстругал веточку и сунул ее в карман для зарубок.

Они воротились под утро, привели на веревке замерзшего француза. Он оказался сержантом восьмого полка. Шел снег, а он был в мундире. Синий женский платок покрывал его плечи. Худое зеленое лицо, запавшие, небритые щеки, в выцветших глазах обреченность. Это был первый из завоевателей, встреченный мною, и я почувствовала озноб. «Врагов должно судить, — думала я, — судить, прежде чем учинять расправу, — думала я, — а иначе мы в крови потонем, вон мои как вожделенно замерли, ждут сигнала, — думала я. — Сначала суд, а уж потом все остальное, что преподнесет им военная судьба...»

Его поставили на колени передо мною. Он покорно встал, но спину согнуть не смог, и грязные, замерзшие, омертвевшие пятерни сложил на груди, будто давно уже помер.

— Встаньте, — сказала я по-французски. В глазах его что-то промелькнуло при звуках родной речи, но тут же погасло. Он с трудом поднялся. — Вот народ, — сказала я высокопарно, кивнув на молчащих моих людей, — и он будет вас судить... Он справедлив... — Все мысли у меня перепутались, потому что его холод достиг меня.

— Сударыня, — проговорил он беззубым ртом и снова опустился на колени, — о сударыня, кусок хлеба, ради всего святого...

— Кого вы привели! — прошипела Варвара. — Мне покойники не нужны... Вы мне истинных злодеев подавайте!

Французу дали холодной каши и кусок сала и глядели на него, пока он ел, соболезнуя, будто он и не противник. Он проглотил первый кусок и застонал, проглотил второй, и снова тот же стон, тонкий и жалобный. Он глотал торопливо, давясь, и стонал, и горестная тень ползла по его лицу. Ночью он помер, и Варвара велела закопать его.

— А потом, — сказала она, — все пойдем к дороге. Вам, прохиндеям, доверять нельзя — вы ищете слабых, а мне враги нужны, злодеи!

— Ой, — сказала Дуня, — сперва они нас, теперь мы их... так и побьем друг дружку.

— Хлипок больно вояка, — усмехнулся Игнат, — сала не сдюжил.

«А наверно, был молод, красив, хохотал, — подумала Варвара, — женщинам шептал непристойности, целовался, и зубы сверкали, и перед Наполеоном голова кружилась».

Головы у нас кружатся легко. Головокружение — как хмель. Стоит кому-нибудь угодить нашему вкусу, нашим желаниям, как тотчас голова кружится. Много ли ей надо? Стоило этим подлецам, Семанову да Дрыкину, поманить красным петухом, как все мужики почувствовали себя оскорбленными моими милостями и кинулись жечь и убили бы, когда б у меня не оказалась по пистолету в каждой руке.

...Они часа через два уже затаились у дороги на заснеженном пригорке среди молоденьких березок и елей и залюбовались на пышную трагедию, развернувшуюся перед ними внизу. Можно было особенно не таиться — понурое войско едва брело, и на снегу, истоптанном сапогами, колесами и копытами, чернели погибшие и погибающие люди и лошади, повозки и

кареты с гербами. Ни стройных рядов, ни пышных знамен, ни барабанного боя. Каждый сам по себе, ибо грабят скопом, а расплачиваются в одиночку. Изредка в этом траурном месиве угадывался отряд, еще похожий на войско, а затем снова каждый сам по себе. Их странные одежды поражали взор, дамские туалеты соперничали с лохмотьями мундиров, даже серебряные ризы посверкивали то здесь, то там. Они текли, бросая в снег то ружья, то сабли, то мешки. Когда их обгонял покуда еще целый, счастливый экипаж, они выкрикивали вслед непристойности слабыми голосами. И ни один из них не походил на достойного лютой мести.

«Может, тоже в пруду помочить с камнем на шее?» — с ужасом подумала Варвара и вообразила того вчерашнего помершего сержанта, которого окунают в ледяной пруд для остротки: на-ка вот, мусью, попробуй-ка можайской баньки!

Наконец шествие скрылось за лесом. Ничто не двигалось на дороге. Лишь темнели пятна на белом снегу. Варварина армия приумолкла. Внезапно неподалеку раздался скрип полозьев, и с пригорочка покатались дровни, за ними другие, третьи, и все к дороге, к дороге, и неведомые мужики и бабы, соскакивая с дровней, засуетились среди темных пятен, нагружая дровни кинутым военным скарбом, французскими трофеями, будто бы возвращенными в родимое лоно.

И тут она заметила, как двое из ее мужиков покатались по снежному склону туда, к щедрой дороге, устланной гостинцами.

— Эй! Куда! — заорала она. — А вот я вас!..

Но один из них, оборотившись на мгновение, одарил ее такой радостной, детской улыбкой, что все вокруг нее начало рушиться и ей показалось, будто она совсем одна в опустевшем черном пространстве...

— Игнат! — прохрипела она в ярости. — Что же это!..

Однако мужики недолго занимались праведным грабежом. Показалась новая колонна отступающих французов, и они суетливо засеменяли обратно и остановились перед остолбеневшей Варварой, обливаясь потом, и начали сваливать прямо к моим ногам неприятельские ружья и прочее добро.

— Э-эх, — восхищенно сказал Игнат и выбрал себе ружье.

Моего столбняка никто не замечал. Все расхватывали ружья, и я уже не могла узнать прежних своих разбойников, атаманша не могла узнать их, и корона на ее голове начала испускать тихое сияние.

Французы приближались.

Эти не походили на давешних. Они шли рядами, и знамена возвышались то там, то сям, и всадники с султанами на шляпах, видимо офицеры, пришпоривали коней. Хорошо были видны широкие белые ленты, крест-накрест через грудь, и строгие ранцы за плечами. Варварины вояки примолкли, лишь Игнат зловеще выдохнул в тишине:

— Вот они!..

Это была, как догадалась Варвара, гвардия. Их, натурально, лучше кормили и обихаживали, и поэтому их смерть покуда шла терпеливо следом, выжидая. «Вот они, — подумала Варвара, задыхаясь, — вот они, которые всегда впереди, — подумала она, — они, а не тот беззубый сержант... они, спокойно застрелившие генерала Опочинина и Москву поднявшие на штыки!.. Вот по ком плачут мои пистолеты», — подумала она, вглядываясь в одного старого, седоусого, сосредоточенного, с белой повязкой на лбу...

— Вот они!.. — шепнула Дуня, прижимаясь к Варваре. — Не дай-то бог...

Внезапно одна из французских лошадей рухнула на снег, а всадник выкарабкался из-под нее и пополз за колонной, что-то крича. Затем седоусый гвардеец опустился на колени, постоял мгновение и удобно улегся на бок. Остальные перешагнули через него. Упала вторая лошадь, третья, еще несколько гренадеров будто устраивались на ночлег. Все разрушалось на глазах. Их и так было немного, сотни две, но и они ложились в снег один за другим, приклады ружей подсовывая под щеки, позабыв снять ранцы, становясь темными пятнами на белом снегу.

— Господь наказал, — шептала Дуня. «Нет, — подумала Варвара, — не мне их судить. Воистину Господь судит и наказывает, — подумала она, — и для каждого у Него есть казнь справедливая, хоть и не скорая... Мне ли быть судьей? — подумала она с содроганием. — Ведь Он и меня видит, как всех нас...»

Эта смертная дорога в поле казалась театральной сценой, но с правдашним снегом и с безумными актерами, обречшими себя на мучительную смерть. И действие развивалось стремительно, картины сменяли одна другую. Не успела пройти гибнущая гвардия, как вновь потянулись вразнобой одинокие разрозненные фигуры, вновь засияли ризы, запестрели дамские чепцы и меховые накидки. Темных пятен на снегу все прибавлялось. Только что павших лошадей раздирали и дрались слабыми кулаками из-за каждого куска мяса. Господь милосердный, какое наказание!..

И тут Дуня крикнула пронзительно:

— Солдатики-то наши! Эвон они!..

Это были пленные. Их колонна медленно плыла все по той же реке, даже не колонна, а выбившееся из сил стадо. Их окружали неприятельские солдаты в меховых шапках и, когда пленный падал в изнеможении, к его голове приставляли дуло ружья, с дороги доносился щелчок, звонкий на морозе.

— Душегубы! — закричала Дуня, обливаясь слезами. — Ироды!

Упавшего пристреливали, остальные продолжали движение, и все это монотонно, однообразно, не по-людски, будто машина какая-то, будто кто-то крутит выживший из ума, крутит и крутит тяжелое колесо.

Мне страшно вспомнить себя на том пригорке в наброшенном на плечи овчинном тулупе, в овчинной же мужичьей шапке с синей суконной тульей, окруженную свитой, замершей в обнимку со своими ружьями, и эта снежная сцена, на которую бесшумно валятся один за другим все, все, где убийц убивают и их убийц убивают тоже, а за ними уже спешат новые... И тот, кто крутит это колесо, свержает их в преступления, связывает их по рукам и ногам, и у них уже нет сил отрешиться... Каков соблазн!

Пока приканчивали обессиленных пленников, откуда ни возьмись выскочили всадники и с гиканьем и свистом налетели на колонну.

— Казаки! — крикнул Игнат. — Право слово, казаки! Ну сейчас они им... сейчас они их... Э-э-эх, паскуды!

С десяток казаков налетели на конвоиров и принялись их рубить. Еще не скрылась гвардия, а картина сменилась, и уже летели в воздух высокие меховые шапки и раскалывались ружейные приклады, кровь брызгала на свежий снег обильно и легко.

— Слава Богу, — молилась Дуня, — сейчас они им пропишут! Ну сейчас, вот сейчас... вот как... вот как... вот вам, душегубы, злодеи!..

Радости не было, было одно безумие. Пленные кто как побрели от дороги. Но тут почти исчезнувшая за лесом гвардия развернулась и быстрым шагом двинулась на казаков. Это был небольшой, но тяжелый квадрат с торчащими штыками. Грянул залп, и несколько казаков попадали в снег. Грянул второй, и оставшиеся полетели к лесу, нахлестывая лошадей, теряя товарищей. Третий залп достал их.

— Ну надо ж, — сказал Игнат растерянно.

А гвардия развернулась и снова направилась тем же путем на запад. Но самое ужасное произошло потом, когда, услышав залпы, пленные остановились, постояли и начали вновь медленно и обреченно сходить к дороге, сбились в стадо и, вновь окруженные невесть откуда взявшимися конвоирами, направились за уходящей гвардией. Вот вам и справедливость!

— Умом тронулись, — прошелестел Игнат.

Я зажмурилась от отчаяния и боли, а когда открыла глаза, рядом со мной никого не было, кроме плачущей Дуни. Мои воины уже миновали пригорок и приближались к дороге. Их было

почему-то много, и они все были отменного роста, и неприятельские ружья в их руках не выглядели обременительными трофеями. Я гордилась ими, ей-богу!..

Французы, конвоировавшие пленных, кинулись на мужиков, но те выстояли, и началась рукопашная. Я кричала что-то отчаянное, атаманское, я боялась за них, Варвара боялась за них, но битва завершилась слишком стремительно, и вновь пленные заторопились в сторону от дороги, понукаемые победителями, одни к дальнему лесу, другие прямо к моему пригорку.

Мы кормили шестерых спасенных, отогревали их водкой и плакали по трем своим погибшим.

Теперь, думала Варвара, три семьи без мужиков, нахлебники на моей шее, думала она и, позабыв про корону, суетилась вместе с Дуней, перевязывая раны, попрдерживая своих распаленных воинов, рвущихся в новые битвы, подливая водки, устраивая на возах лежа... На своих возах — для мужицких бездыханных тел... Воистину равенство, господа!

В сумерках, распрощавшись со спасенными солдатами, потянулись к лагерю. Вozy отяжелели. Кое-какие трофеи все же успели притаиться в прихваченных мешках. Воинов теперь было девять из двенадцати, и я — их атаманша в овчине, с потускневшей короной на голове...

Чей медный лоб повинен в случившемся? Нужно им ваше равенство, подлецы, как же! Военные трофеи вам нужны, и тем и этим, и слава, и власть над другими!.. Равенство... равенство... как же! Маленькие пронзительные глаза Свечина тогда еще жгли меня, мою живую рану, еще все было живо, еще не заросло, как он говорил мне зловещим шепотом: «Если вы думаете и впредь потакать своим людям, совершайте это без меня... Ваши вздорные фантазии разжигают страсти...» Это у меня-то! Он меня не так понял. Ну мало ли что вертелось в голове у двадцатилетней дуры, прикованной к этому человеку, что слетело с ее языка... «Да не вы ли сами, Александр Андреевич, морщились, милостивый государь, когда я заводила разговор о продаже Губина? Не вы ли, мой ненаглядный, не вы ли?.. Да, да, и с людьми, и скарбом, чтобы поселиться в маленьком Ельцове и наслаждаться любовью и миром?» — «Людей продавать нельзя, Варвара Степановна. Это позор. Как, впрочем, и возбуждать их преждевременными иллюзиями...»

И, вспомнив все это, уже давнее, улетающее, подобно злу, Варвара глубокой ночью ворвалась в землянку, где вповалку спали ельцовские герои, и тут густой дух самогона, лука и еще чего-то, о чем и сказать-то неприлично, остановил дыхание. Аромат бунта и неповиновения, господа, клубами вырывался из землянки и растекался по дремучему лесу! И не было никого вокруг, кто бы защитил Варвару...

И после, спустя много лет, уже в шестнадцатом, как вспыхивали черные сливовидные глаза Тимоши, когда он рисовал передо мной идиллические картины скорого блаженного братства, сотворенного грядущими усилиями его и его военных друзей! По опочининской нетерпеливой прихоти эти времена должны были открыться непременно вот-вот, незамедлительно, осененные мягким голубым взглядом государя-победителя и его кроткой улыбкой. Тимоша весь пылал, объясняя мне это, а меня охватывал ужас, когда я заглядывала в его глаза... Как горько быть прозорливой перед крушением дорогого человека!.. Господь милосердный, как стыдно вспоминать!..

...Жизнь разбойничья не сладка, о Варвара! Вот, господа, иллюзия равенства, о котором вы печетесь. Эти землянки, пусть даже с лапником на полу, эти сырые жердочки, и аромат преющей гнили, и скользкая погань, ползущая на тепло печи, и холодный окаменевший хлеб... Варвара-то думала, что двенадцать мужиков с ружьями сотворят чудеса, а оказалось, чудеса излишни, да и что двенадцать мужиков даже перед умирающим войском, даже потерявшим пушки и знамена, облаченным в краденые ризы? И, восхищенная их дневным героизмом, она с ужасом посматривала на ружья, в обнимку с которыми они храпели, словно старалась угадать сейчас же, не откладывая, каковы их помыслы и на что ей можно надеяться завтра...

В довершение ко всему под самое утро ее разбудила Дуня.

— Матушка Варвара Степановна, Пантелей не в себе... Горячка у него...

Покуда Варвара приходила в себя, привели Пантелея. Этот Пантелей, нынче давно уже умерший, стоял перед Варварой на коленях, кланялся до полу и молча плакал.

— Зажгите все свечи, — приказала Варвара. — Напился, спать не даешь!

— Он говорит, матушка, утопленники из пруда вышли, отряхнулись и в лес ушли, — сказала Дуня шепотом.

Пантелей стоял на коленях, закрыв глаза. Слезы бежали по его щекам, и бороденка блестела.

— Какие утопленники? — рассердилась Варвара. — Какие? Какие?..

— Ну эти, — сказала Дуня, — наши-то, которых вы велели в пруду казнить, с камнем которые...

— Подглядывал! — крикнула Варвара. Пантелей зарыдал пуше.

— Да ты скажи, скажи, — уговаривала Дуня, — матушка не обидит. Подглядывал он, матушка, не стерпел... Да ты повинись, повинись... Он, матушка-барыня, спужался весь...

Все тот же невыносимый аромат распространился по Варвариному дворцу. Потрескивали свечи. Генерал Опочинин утверждал, что мы одна семья. Бедный Николай Петрович. Да неужто так, мой генерал? Хороша же семейка! Я Пантелея женила на Матрене, утешала: «Ничего, что глаз один, Пантелей. Она сильная, послушная...» — «Премного благодарны, барыня. Кривая — это ничаво... за все ваши милости... руки-то небось целехоньки».

— Он, матушка, за ними покрался тогда, — тихо сказала Дуня, — они их окунули в пруд-то, как вы велели, а сами-то ушли да еще смеялись сильно, когда окунали. А те-то вылезают из пруда. Вода с них течет, и камни на шее... Они камни скинули, отряхнулись и в лес... Так, что ли, Пантелей?

— Да как же так? — притворно удивилась Варвара.

Пантелей тихонечко завыл.

...Совсем недавно Лиза спросила за завтраком:

Это правда, маман, что ты Пантелея на Матрене женила?

— Истинная правда, — ответила я.

— Как же ты смогла? — удивилась Лиза. — Она его любива?

— Ах, Лизочка, — сказала я с досадой, — он же неказист был, ты помнишь? Ну кто бы за него пошел? Что же ему было, так бобылем и помирать?..

— Так что ж, что бобылем? — строго сказала Лиза. — Это вучше, чем кривая Матрена, вучше. А так опять варварство...

Она вся пылала. Я пожала плечами. Что ей втолкуешь?

...Пантелей продолжал выть.

— Уберите дурня, — сказала Варвара.

Пантелея увели. Сна больше не было. Лесная жизнь Варваре уже не казалась заманчивой. Она велела заложить возок. Печальны были и этот лес, и благородные фантазии.

На рассвете выступили. Вozy отяжелели. На войне, уж коли ты жив, не миновать трофеев. Но, дурачье, эти трофеи мнимые! На них незримые клейма бывших владельцев. Не в радость будут они вам, не пойдут впрок, как мой немислимый трофей, завоеванный когда-то в честном бою у Чистых прудов да так и оставшийся всего лишь трофеем, не источающим тепла, всего лишь трофеем — не больше, дурачье...

Так думала тогда Варвара на исходе горького двенадцатого года, окруженная примолкшей своей свитой, калужскими своими лесами, тоской о потерянном, губительной для всех, склонных к самообольщениям, но на краю гибели все-таки пробуждающей к милосердию. Так думала Варвара, вновь миную Липеньки, а на этот раз и Губино, от которого потягивало гарью, в промозгом своем возке, удобном для трофеев, но не слишком приспособленном, как выяснилось, для осуществления благородных порывов.

Сержант французский не шел из головы, тот самый, уже не похожий на человека, разложившаяся плоть, потерявшая душу... тот самый, что, видно, в недавнем прошлом умел возлюбленной своей нашептывать соблазны... И неужели обаяние молодости исходило тогда от него? И иссушенные русские пленники, которых не менее иссушенные конвоиры приканчивали выстрелом в ухо, конвоиры, тоже полные в недавнее время обаяния, и жизнелюбия, и сердечности... И все они стояли перед глазами... Стоило ли иметь много детей? Она подумала о Тимоше, чужом и малознакомом, затерявшемся где-то в снегах; о капитане Бочкареве, тоже затерявшемся где-то... о генерале Опочинине... Вот как гибнут русские офицеры! В бою-то что? В сражении гибель не штука, думала Варвара, она еще до пули и сабли становится твоей единомышленницей; она твоя профессия, кровная твоя сестра... В бою-то что? А вот у ворот собственного дома, думала Варвара, ожесточаясь, под своими липами с благородным спокойствием разрядить пистолет в этот... как он писал... в квадратный... квадратное лицо оскорбителя, думала проигравшая атаманша.

Ее робко уговаривали остановиться в Губине на ночлег, но она не велела останавливаться, будто движение по лесной дороге могло вернуть утраченное.

Затем пала первая лошадь. Не французская, не трофейная, не краденая — ее собственная. Пришлось раскинуть бивак. Запалили большие костры, будто скликавая заблудившихся, озябших, но и вождедеющих к чужому добру...

— А что как, матушка-барыня, французы налетят? — спросила Дуня.

Но налетели, вырвавшись из тьмы, русские драгуны.

Бог подсказал Варваре запомнить лицо командира, красногубое, обветренное, с неопределенной улыбкой. Он представился слегка небрежно, словно только что из буфетной, словно это она к нему прикатила, а он спустился с крыльца...

— Бог ты мой, а мы подумали, французы... а после думаем, что за партизаны? А и в самом деле партизаны... и такая прелестная предводительница!.. А ведь еще мгновение, и взяли бы вас в сабли, сударыня. Бог милостив. — Осипший на морозе баритон и повязка на лбу. — Откуда, думаю, французы в нашем лесу? Их тут не должно быть... Они гораздо севернее...

— В моем лесу, — сказала Варвара твердо. Он снисходительно улыбнулся.

— Может быть, ваши люди голодны? — спросила Варвара.

Он закрутил головой, будто допустил оплошность, сказал, на нее не глядя:

— Н-да... чертовски, да и они тоже... какая странная встреча... вы такая красавица... и в этом лесу...

Варварины люди были милостивы и щедры. Поручик ел проворно и успевал делиться впечатлениями об окружающем мире. Его вальяжности хватило ненадолго. Ничего зловещего не было написано на его обветренном лице, окаймленном свежими бакенбардами.

Даже и теперь, в связи с нынешними обстоятельствами и его ролью в них, я не раскаиваюсь, что была щедра у того лесного костра в ноябре двенадцатого года. Какая отличная память была у моего гостя, как безукоризненно обрисовал он покойного Николая Петровича и его нелепую служанку с красными руками скотницы и в господском наряде, и пожар Москвы, и свое ранение, и плачущего Тимошу, и какую-то француженку, бежавшую по горящей Басманной... Милый, неумный, сытый, говорливый собеседник, когда б не нынешние обстоятельства... Его фамилия была Пряхин. Я почти успела позабыть ее, да вот это все, что теперь произошло, заставило вспомнить снова.

Пряхин.

А в давние довоенные годы, в один прекрасный день, меня осенила простая, бесхитростная мысль, способная родиться в голове человека, пришедшего в отчаяние от безуспешных попыток сорвать плод, не подымая рук, войти в дом через печную трубу. Я взялась за перо и написала своему избраннику откровенное письмо.

Милостивый государь Александр Андреевич!

Вот уже несколько месяцев, как мы с Вами с ожесточением, достойным лучшего применения, решаем мировые проблемы, бравируя самонадеянностью в общем московском кругу. Эти словесные фехтования, может быть и полезные для придания гибкости языку и изысканности воображению, становятся бессмысленными перед таким, как Вы, наверно, справедливо полагаете, вздором — я имею в виду тот мартовский полдень, когда Провидению было угодно увидеть Вас в моих объятиях. Я знаю, Вы не придаете этому значения, да я, пожалуй, тоже, ибо что могут значить подобные сумасбродства, вызванные отчаянием, или во хмелю, или, скажем, по случаю кончины тирана...

Сам поцелуй, конечно, не значит ничего, так, знак какой-то. Но как быть, ежели в нем открылась некая идея, которая сводит меня с ума, и с той мартовской поры я только и делаю, что стою пред Вами с поникшей головой и жду Вашего слова? Вы знаете об этом? Вы догадываетесь? Или моя сдержанность кажется вам равнодушием? Бога ради, не принимайте это письмо за стон, когда оно почти что вызов, потому что, как я поняла, мне нельзя так уж зависеть от милостей наших традиций. Надо, думаю я, пренебречь молвой и правилами поведения хотя бы настолько, насколько все это мешает разглядеть друг друга...

Я отправила это письмо, но неужели затем, чтобы теперь, по прошествии стольких лет, досадовать на свою опрометчивость и удивляться своему упорству? Помнится, тогда мне попалась на глаза или услышалась мысль о том, что завоевательные успехи Бонапарта вытекают из простого, им самим установленного правила: не тратить усилий на покорение отдельных крепостей, а добиваться общего разгрома противной стороны, и тогда, мол, оставшиеся крепости падут сами собой... Тогда эта идея, далекая, в общем, от моих собственных интересов, внезапно пронзила меня, когда я попыталась приложить ее к этой житейской ситуации. Ежели в моем завоевании, думала я, этот хмурый господин был крепостью, то что же тогда была общая победа? Кто был мой главный соперник, покорив которого я могла бы рассчитывать на успех в частном? Уж не победа ли над собой предназначалась мне сначала? Не возвышение ли над собственным ничтожеством? Так, значит, стоит мне только осуществить эту главную победу, как самая вожделенная из крепостей падет передо мной? Ах, господь милосердный, легко ли возвыситься, стоя на коленях? Не успев отвергнуть эту непосильную задачу, я вдруг поняла, что покорение целых стран и народов, эта кровавая игра, и все ее правила, и ее результаты — все это ничто, легкая прогулка рядом с великими тяготами моей войны. Ведь противника покоряют из ненависти к нему и из любви к себе, а моя же война вся была из любви к нему, и я не могла причинить ему боли. Так что же труднее?..

Сразу после изгнания французов я кинулась в Москву, подхватив семилетнюю Лизу. Я думала, что российская катастрофа и все испытания примирят нас и мы, обнявшись, поплачем на московском пепелище. Но действительность оказалась суровее. Мой мимолетный супруг был еще пуще неприступен, хотя и вежлив, и даже мягок, а Лизу гладил по головке и рассматривал ее с изумлением и на ее торопливые вопросы отвечал невпопад.

Но все это случилось потом, потом, а тут, как в сказке, из голубого конверта вылетел аккуратный листок и долго лежал на похолодевшей Варвариной ладони, прежде чем она его развернула.

Милостивая государыня Варвара Степановна,

третьего дня за чаем в доме Улыбышевых мой сосед по столу сказал, указав на одну из присутствующих дам, что его глубоко изумляет тот факт, что молодая женщина с такими неправдоподобно громадными глазами, прелестным лицом и спо-

способностью вести разговор на равных с генералами и дипломатами, имеющая все для того, чтобы осчастливить любого из присутствующих мужчин и отсутствующих не менее, что такая женщина свободно порхает меж нами в тесной, душной и жадной на невест Москве, и совершенно безнаказанно. Я ответил этому господину, что если он понимает под словом «осчастливить» известную способность именоваться супругой, вмешиваться в разговоры и рожать детей, то этим нынче мало кого удивишь, а тем более соблазнишь.

Простите великодушно, но мне показалось, что мистические наши объятия заразили в Вас бодрую веру в Провидение, пекущееся в Вашу пользу. Я, к сожалению, не мистик, а потому Провидению не слуга. Не уповайте на его порядочность — оно наша болезненная фантазия. Не скрою, мне милы Ваши глаза и Ваша манера вести словесные поединки и, более того, я испытываю к Вам нечто вроде привязанности после наших поединков, но что же за этим? Несомненно, есть какая-то тайна в Ваших калужских лесах и в Вашем калужском уединении, ибо они способствуют рождению женщин, о которых неловкие москвичи складывают восхищенные легенды... Слыхали ли Вы хоть одну из них?..

Ну что ж, подумала Варвара, не теряя грустной надежды, вот и еще один способ фехтования. Когда б она не знала Свечина способным улыбаться, она б, наверное, утратила веру в успех. Ее, наверное, оттолкнуло бы это каменное бесстрашие. Но она видела однажды, как он улыбнулся, будто украдкой, будто стыдясь, и краска проступила на его впалых щеках. От этого он выглядел беспомощным и домашним и нуждающимся в ее опеке; из улыбки проступил он сам, заслонив на мгновение привычный автопортрет, писанный тусклыми красками.

Собравшись с духом, обмакнув отточенное перо в чернила, усевшись поудобнее за маленьким столом перед большим овальным зеркалом, взглядывая на себя время от времени, откидываясь на мгновение и снова устремляясь вперед...

Милостивый государь Александр Андреевич!

Я пропускаю мимо ушей Ваше ироническое замечание относительно смысла слова «осчастливить», ибо склонна считать союз двух людей средством взаимного спасения. В Вашей иронии сквозит страх. Вы боитесь, как бы я не оказалась права, а тогда грош цена Вашей независимости, ведь придется, хочешь не хочешь, маршировать под дудку этого самого, презираемого Вами Провидения. Я вижу это с калужской лесной зоркостью, поверьте... Что же до моих особых внешних признаков, о которых Вы упоминаете, должна покаяться, что я, в общем-то, заурядная женщина, и единственное, чем могу похвастать, пожалуй, особой интуицией, во всяком случае, более изощренной, нежели Ваша, мужская. Что это мне дает? Уверенность в своих притязаниях. Чего же больше?..

Она, как дурочка, хвасталась своей интуицией, к услугам которой до той поры всерьез не прибегала, хвасталась, понимая, что это слишком сомнительный аргумент в таком побоище. Варвара гляделась в зеркало, она была все та же, если не считать смутного сомнения в своих глазах.

Переписка затягивалась, грозя превратиться в пустую привычку. Мне было позволено отвечать, не более того. Я хваталась, словно за соломинки, за случайные, редкие, трогательные детали его писем, но тут же следовал выпад, за ним укол, другой — и мои иллюзии разрушались снова. Катерина заметила, что я сохну. Я и впрямь сохла, дожидаясь очередного письма, обдумывая ответ, терзаясь отсутствием перспектив. Получалось несколько одностороннее избивание. Избивали меня. Не то чтобы я не отвечала, как следовало в моем положении. О, мои выпады были не менее молниеносны, а уколы не менее проникающи. Но что было в них проку, если не поединок был моей целью и если цель моя тускнела и отдалялась?

Уже кончалась осень, попахивало снегом. Бедный Николай Петрович не знал, что ему предстоит, и красовался, наезжая в Москву, в гостиных. То там, то здесь возникала его гигантская фигура, его круглое лицо а-ля Петр Великий, звучал его приглушенный бас, а глаза расточали тепло и дружелюбие. Однажды я даже подумала, разглядывая своего калужского соседа, что это уютное военное чудище, обреченное на скорую гибель от бомбы или пули, не стало бы тратить усилий на подобную переписку. Приглянись я ему, взял бы на руки и унес... да только куда? На поле брани, в пороховые утети? В казармы к своим мушкетерам? Уронил бы на бивачную солому?.. Мне однажды показалось, что он обратил на меня внимание, даже не сводил глаз, будто оловянный солдатик, но я не придавала тому значения, ведь не он владел моими помыслами. Иное дело мой Свечин, думала я, весь загадка, весь тайна; его слова, его поступки, каждый жест, относящийся ко мне, его малодоступность, думала я, и то, как он умеет сохранять достоинство без чванства, и то, как он ускользает из моих объятий (разве это не повод для отчаяния?), впрочем, точно так же, как в марте у Чистых прудов... Уж не женщина ли на моем пути? Так однажды подумала я, но слухи, обстоятельства, догадки к тому не сходились, да и опекающая меня Катерина, зоркая, как ястреб, успела шепнуть, что Свечин, мол, появляется в обществе из-за меня, этот самый генеральский сын, засидевшийся в архивных юношах, и что она это видит, это несомненно... «Он тебе безразличен, верю, верю, радость моя, но ты ему... ты приглянись, приглянись...» Я приглядывалась. Он, видимо, настолько привык к нашим словесным баталиям, что начал испытывать в них потребность. Слова, слова, слова... А я-то ждала, когда он меня обнимет, вот и все.

Уже кончалась осень, а к Рождеству должны были съезжаться лесные братья, помещичьи из дальних имений со своими выводками в Москву, в Москву на многочисленные празднества, кружиться и порхать среди белых колонн Дворянского собрания, учиться уму-разуму, набираться полезных сведений, составлять партии. И меня когда-то привозили, и я, проглотив аршин, толклась среди всех на ватных ножках, отчего, моя дорогая, глаза у меня и увеличились, и, хотя в скором времени все это стало уже казаться прескучным и пустым, они так и остались, думала я, а кому это нужно? Ну, может быть, какому-нибудь Пряхину, свалившемуся прямо с небес на генерала Опочинина, на Тимошу, на меня в военном лесу? Пряхину, что как возник когда-то в обозримом пространстве, так и поныне скользит вокруг, помахивая эполетами. Не приближаясь и не отдаляясь, словно болезненный призрак. Лишь иногда, обретя плоть, сваливается с небес, как ранее, как в шестнадцатом годе, как нынче...

Не успел поручик Игнатьев воротиться домой, как майор Пряхин подкатил в пропыленной бричке... Когда поручик Игнатьев, Тимоша наш, воротился домой, огрубевший и дикий, он навевался ко мне и оттаивал понемногу, приобретая облик, соответствующий нашим лесным представлениям о герое-победителе. Но сначала он обозначил свое возвращение возвышенными словами, которые выжег на гладкой липовой доске: «Все в мире меняется — только Липеньки неизменны». И велел прибить ее к воротам на въезде. Это предусматривалось ему в день благополучного возвращения к родимому порогу, после долгих верст и несусветных маршей по Европе, которую ему выпало освободить от орд Бонапарта, после длительного проживания на веселом парижском биваке среди гвардейских друзей и недавних врагов. Теперь липовая доска потемнела, так что выжженные буквы почти не различаются, и их автору уже не девятнадцать, как в ту пору создания сентенции... И многих уж нету кругом.

Но Липеньки тогда были все те же: деревня располагалась у самой Протвы на просторном прибрежном лугу, дом Игнатьева на пологом возвышении, окруженный запущенным парком, небо было все то же глубокое, многообещающее, как три года назад... И все те же круглые облака.

К Липенькам можно было не привыкать, они, словно дар Божий, выпали ему после трехлетней разлуки наградой за ратные труды, за горькие утраты, за ожидание смерти от пули, от штыка или сабли. Привыкать нужно было к себе самому, почувствовать вкус к прежнему. Это привыкание оказалось долгим и мучительным... Как странно: откатываться в панике от

еще не сломленных французов, страдать в походном лазарете, голодать, замерзать, маршировать по Европе, разувериться в чуде возвращения было проще. Но когда это чудо все-таки свершилось и миновали первые минуты лихорадочного узнавания родимых мест, наступило отрезвление и от всего повеяло чужим. Как это было страшно, не передать: знакомый дом, река, деревья в парке, картины по стенам, севрская чашка с отбитым краешком — и тут же вокруг полужнакомые лица, подобострастная отталкивающая речь, кислый запах из людской и ты сам, уже не смеющий и помыслить уместиться в той сокровенной полутьме под ломберным столиком, и в то же время (вот странность) этот кислый запах из людской сопровождал тебя по Европе, дурманил, вызывал загадочное умиление и ощущение чего-то вечного, кровного, неназываемого...

В те дни после первых восторгов свидания стало казаться, что с утратой армейского благополучия счастье кончено, а домашнего благополучия не бывает вовсе. Начались сомнения, всевозможные страхи, опасения, что истинная жизнь уже позади, минула, а это все с запахами детства непригодно, как чужое платье. Впрочем, первые восторги выглядели вполне натурально, как и следовало быть: Тимоша рухнул на траву, прижался к ней щекой, причмокивая, расцеловал лист подорожника, подвернувшийся под губы; вставши на колени, низко поклонился дворне, зареванной и испуганной; затем вскочил и очутился перед незнакомкой, в стареньком, выцветшем голубом, господского покроя платье, с зонтиком над головой, прикрывающей лицо ладошкой. И тут же догадался, что это Ариша... Она чмокнула его в щеку — «Бонжур, бонжур!..» — не постеснялась при всех и, причитая, побежала прочь, волоча следом облезлый зонтик.

Он кинулся в дом, в свою комнату, где все оставалось на прежних местах, хотя что это было «все», не понимал. Успел подумать: «Куда тороплюсь?» Мимоходом рассеянно потрогал случайные предметы, оказавшиеся под рукой: спинку кресла, занавеси на окне, расшитую подушечку на диване, шкатулку, где покоились все те же ножницы и несколько листков разноцветной бумаги для вырезывания силуэтов, присел к столу и, разбрызгивая чернила, вывел пером на бумаге: «Все в мире меняется — только Липеньки неизменны». И побежал, и опять подумал: «Куда спешу?» В кузнице выжег внезапную сентенцию на липовой доске и побежал к воротам, сопровождаемый задыхающимся Кузьмой. Старый слуга взобрался, побряхтывая, на ворота и приложил доску. Выглядело значительно. На темно-зеленом фоне старых дубов и лип эта свежая доска будто висела в воздухе, и надпись была отчетлива, и ее пронзительный смысл доходил до самого сердца, и сидящая голова Кузьмы поворачивалась от доски к нему и от него к доске в ожидании одобрения...

Таким образом он освободился от навязчивой идеи, словно завершил то, что много лет не давало покоя. Бежать было некуда, и он сообразил, что дед, Николай Петрович, погиб вот здесь, у ворот, на этом самом месте. Он медленно направился к дому. Жизнь казала свой непраздничный лик: дед погиб, от Ариши тянуло винным перегаром, лестницы в доме скрипели, пахло черт знает чем, люди выжидательно заглядывали ему в глаза...

А через год, как всегда внезапно, свалился с неба майор Пряхин.

В те времена я навевалась к Тимоше по его просьбе и живала там подолгу, налаживая его домашние дела. И одиннадцатилетняя Лиза на правах давнишней Тимошиной подружки являлась тоже. Мы жили неспешно, привыкая: Тимоша — к тишине, к независимости, я — к дому моего бедного генерала. И по вечерам к нам сходились минувшие тени, и мы украдкой оплакивали их, а заодно и себя.

Время от времени наезжали походные приятели Тимоши, в большинстве гвардейские офицеры, мелькали среди них иногда и фраки или сюртуки, недавно вошедшие в моду. Разговоры начинались с воспоминаний о походе, и голоса были звонки, сочны, а фразы отрывисты, приправлены смехом и недоумением, во всяком случае, мне запомнилось так. Пили шампанское с домашней ленцой, зимой, случалось, и водку под капусту по опочининскому рецепту. Разогревшись, толпой отправлялись в Аришину каморку — чокнуться с нею. Сей ритуал был

непременным, и эта молодая нелепая красotka обычно их ждала, успев нарядиться в неизменное свое голубое ветхое платье.

Что ни придумывал Тимоша, как ни одаривал ее платьями, она жила по собственному разумению: всегда в полотняной рубахе, в душегрее, а в торжественные часы в голубом Софьином платье, в перчатках бывшего белого цвета, в темно-синем чепце с оборками, под которыми теплились ее поблекшие, остывающие глаза.

Воздав ей должное, они возвращались в гостиную, разговор возобновлялся, голоса становились еще звонче, еще пронзительней и взлетали к потолку, перемешиваясь с табачным дымом, и уже угадывались очертания Варшавы, Берлина, Страсбурга, Парижа, и я, помнится, дышала этими ароматами и узнавала себя в толпах на Елисейских Полях, как вдруг, словно по общему уговору, все обрывалось и мы оставались одни среди безграничных российских пространств, умолкшие, трепетные, как оборванные струны, одни наедине со свечами и при тихшей дворней за дубовой дверью... С рабами наедине...

Помилуйте, думала Варвара, какой парадокс? Рабы с рабовладельцами об руку, наряженные в мундиры, докатились до тех берегов, откуда хлынули на них соблазны воли и благополучия, хлынули на них, думала она, высокопарные посулы иной жизни, и вот они докатились и с разодранными знаменами потекли обратно, повсеместно встречаемые кликами восторга?.. Угрюмое препятствие для горделивых слов в адрес отечества представлял для Варвары сей парадокс. Он возвышался, и ни торжественный бой барабанов, ни взрывы петард и ракет, ни праздничные славословия не способствовали его преодолению. И вот она молчала вместе с рабовладельцами в орденах и ранах, вглядываясь в их посеревшие лица, предполагала, что чистая, ясная, непререкаемая ее стезя, видимо, изменила ей, что здесь, среди этих прекрасных победителей зла, ее ожидают еще неведомые трагические повороты... Легко ли это в тридцать восемь лет?.. Легко ли?

Так было и в тот вечер, когда майор Пряхин, как обычно внезапно, свалился с неба, будто вырвался с отрядом драгун из калужского леса, соскочил с седла и, плача от радости и умиления, перецеловал всех подряд, а при виде меня все вспомнил, ахнул, сочными бывальными губами прижался к моей руке, потянулся к лицу, да я закапризничала, но он не обиделся, не придавал этому значения, утирал слезы кулаком по-детски, и темно-багровый шрам сиял на его лбу.

— Вы такая же, бог ты мой!.. А я ведь вспоминал вас, атаманша! Глядите-ка, господа, вот благородная русская женщина, которая умеет и обольстить, и раны перевязать, и француза поддеть на вилы!..

— Тебя тоже русский мужик однажды поддел на вилы, — сказал Тимоша, — неприятное ощущение...

— Бог ты мой, — засмеялся Пряхин, — это было чистое недоразумение... Тимоша, приятно видеть тебя в родном доме среди друзей и тебя, Зернов, — обратился он к немолодому полковнику, некрасивому, с бескровными ниточками поджатых губ, с утиным носом и насмешливыми губами. — И тебя, Акличеев! — крикнул он сидящему поодаль Тимошиному ровеснику, прискакавшему из Петербурга на это сборище ветеранов, толстому, доброму, меланхоличному, с прелестной небрежностью упакованному в серый фрак, постоянно проливающему шампанское на панталоны, отчего они все в едва заметных пятнах с нечеткими контурами. — И тебя... и тебя... — говорил Пряхин, летая по гостиней.

Он знал всех, и все знали его. Он живо втянулся в общие разговоры, словно бывал здесь неоднократно. И когда все направились чокаться с Ариной, он летел впереди.

Он был пунцов от волнения, но рука была тверда. Широкая, нехоленая, мужицкая рука, и сабля в ней, должно быть, покоилась надежно даже тогда, когда где-то под Раштатом он пошел на Тимошу, угрожающе вытянув руку со стальным клинком. У Тимоши на правом плече рубец не от французского удара. Тогда поручик Пряхин выплачивал Тимофею Игнатьеву старый московский долг, и душа покойного генерала Опочинина кружилась над соперниками.

Тимоша был ранен, но генерал был отомщен. Тимоша не забыл своего московского обещания, все было по правилам. Пряхин не куражился, просил прощения, выхаживал корнета и делал ему примочки тою же искушенной рукой.

И вот теперь он подходил к Арише с загадочной улыбкой, многозначительно сверля ее северными глазами, а после в гостиной, шутливо рыдая, повиснув на моем плече, выкрикнул:

— Бог ты мой, она меня не вспомнила! А я все помню. И знаете почему? Потому, что я с детства землю пахал: пахал-пахал, покуда на меня наследство не свалилось! Вот почему... По мы, Пряхины, древнего рода, и, представьте себе, у меня теперь триста душ, а было бы и поболее, когда бы некоторые по европейским могилам не затаились... Но я не горюю, триста душ — это справедливо. То не было ничего, один старый лакей, символ какой-то просто, а тут сразу триста!.. А эти все бубнят о всяких несправедливостях. Бог ты мой, я думал, что дома-то, по крайней мере, они успокоятся, обмякнут, ан нет, все та же страсть переделывать, обижать одних за счет других...

Ну ладно... Пока они тут решают мою судьбу, я жить хочу, как мне предназначено. Вот так. Я недаром пахал, я своих людей жалею. Я им как брат, и они за эти три года веревочкой моей не попользовались, ждали меня, как брата... а кто тот высший судья, который знает, как все распределить, чтобы было справедливо? Бог ты мой, ведь ежели наоборот, так мне быть дворовым у своих же мужиков? Почему это справедливо?

Не я решал, не мне менять. Главное — доброта и совесть. Мне, знаете, стоит в глаза моим бабам заглянуть, я сразу все про них знаю, я все могу, я даже ребеночка у одной принимал, сыночка... все, все знаю... — И оборотился к полковнику Зернову: — Ты-то хоть не то-ропись, Зернов, подумай, не юнец, чай... Ты ведь мудрый. Какие на твоей памяти ужасы были? А тут еще мы, кровь не соскребя, душой не очистившись, туда же... Бонапарт кровь лил, лил, а что получил?.. Нельзя так вот сразу... все решать... обрывать... и все прочее...

— Ну почему же сразу? — отозвался полковник. — Не сразу, сотни лет...

Тут я вспомнила юного Свечина, сгоравшего на том же костре, и генеральские пророчества его отца. Пряхин захохотал невесело, всплеснул руками:

— Вот именно, так точно сформулировано: а не хотите ли нового Пугача?.. — И сказал мне тихо: — Сударыня, вещие слова! Там, в Европе, что ни вечер, что ни бивак, что ни офицерская сходка — и тотчас этот грустный шепот о нашем свинстве. Бог ты мой, будто там, в Европе, все ажур... Везде плохо... Господа, везде, где есть люди, там плохо. Если бы все жили по совести, жизнь была бы прекрасна... Неужто и впрямь нужно уничтожить одних, чтобы другим было хорошо?..

— Опомнись, Пряхин, — сказал Тимоша не по-доброму, — не уличай всех в живодерстве...

— Я познакомлю вас с замечательным человеком, — сказал Зернов.

— Господа, — рассмеялся Пряхин, — я вспомнил древние времена. Тысячи лет, Зернов, а не сотни... и всегда одним было хорошо, а другим плохо... Так давайте ловить момент... Пред ликом этой дамы, господа, нам всем хорошо, и это никогда уже не повторится...

И тут все умолкли, как по команде. За окнами была ночь. Она укрывала в темень громадные пространства, вызывавшие в нас столько ожесточения и боли, вдохновения и любви, — всё — леса и степи, города и селения, и показалось, что вымерло всё это и лишь мы одни, живые и теплые, с бокалами в руках и тоской во взорах, прислушивались к собственному сердцебиению. Что сулило нам утро, ежели оно должно было наступить? Неужто мало было нам кровавых пришельцев? Мало было нам собственного зла?

Акличеев, расплывшись в кресле, кивнул мне из полумрака, словно соглашался с моими мыслями; полковник Зернов попыхивал трубкой; Пряхин вглядывался в окно, в темноту, будто видел там дневные солнечные пейзажи; Тимоша ходил из угла в угол, длинноногий, кудрявый, напрягшийся...

— Больше всего в Париже меня поразил кабинет Наполеона, — сказал как ни в чем не бывало Акличеев, — то есть не в Париже, а в Сен-Клу, даже не столько его кабинет, сколько одна простая мысль, родившаяся в этом кабинете. Мы вошли туда и встретили там одного нашего капитана из дворцового караула. Он сидел на роскошном диване и оттуда через широкое окно любовался чудной панорамой — весь Париж был как на ладони. И вот, глядя на этот чудный вид, наслаждаясь роскошью покоев, он сказал: «Охота же ему была идти к нам, в Гжатск!»

Тимоша хмыкнул.

— Разве здесь вид из окон хуже? — будто обидевшись, сказал Пряхин.

— Я познакомлю вас с замечательным человеком, — ни к кому не обращаясь, сказал полковник.

Я не придавала значения его словам. Это теперь мне многое стало известно.

Однако воспоминания увели меня в сторону от главных событий моей жизни, когда еще не пахло московской гарью по всему свету, а сердце мое было переполнено безысходностью. Я загадала: ежели на последнее мое письмо, которое уже созрело в моей душе, не последует ответа, стало быть, судьба мне возвращаться в Губино и обо всем позабыть, и бог с ним совсем, с провидением, с мартовским злополучным прикосновением к тому, что не мне предназначено. И тут я будто прозрела, обида и горечь сделали свое дело, мне увиделся мир, да и я сама в ином освещении: буря опустошила мои леса, оборвала хрупкие ветви, легкомысленные листочки, бесплодные цветы, сомнительные упования... О чем жалеть? Осталось вечное, главное, самое необходимое. Да, но все же и горечь... Я собралась с духом и написала короткое письмо, по всем правилам. Последнее, будто выстрелила в пустоту.

Милостивый государь,

боюсь, что Вы восприняли мои письма как своеобразное продолжение гостинной полемики, что мне не очень улыбается. Мне гораздо приятнее вести разговор с глазу на глаз, если, естественно, есть о чем сказать друг другу. В продолжение разговора я вдруг поняла, что серьезные основания для беседы, которые мне, видимо, только померещились по молодости лет, не представляют для Вас интереса. Мне печально, если Вы досадуете на зря потраченное время, хотя, Бог свидетель, руководствовались я самыми добрыми чувствами и раскаиваться мне не в чем.

Остаюсь с надеждой на Ваше великодушие

Варвара Волкова.

Охлаждая себя, приказала готовиться к поездке. В голове все время вертелись пропущенные слова, а именно «и бескорыстными намерениями...» сразу же после «чувствами...». Но они не были бескорыстными, а лгать не хотелось.

Шли дни. Выпал и растаял первый призрачный снег. Ответа не было, как я и подозревала. Я старалась нигде не бывать, хоть это было нелегко, ибо предрождественские страсти накалялись и приглашения сыпались одно за другим. Я многим была интересна, и можно было в отчаянии натворить бог знает чего.

Кучер Савва утверждал, что следует повременить с отъездом, подождать, пока путь не ляжет. Я нервничала, выговаривала и кучеру, и Дуне, но в душе была рада этой невольной отсрочке. Наконец по истечении месячного напрасного ожидания я разрубила этот узел, по легкой декабрьской дороге направилась в Губино. И тут по дороге, в полудреме, в поисках чего-нибудь утешительного я вдруг отчетливо увидела перед собой Николая Петровича Опочинина... Вас, наверное, затрудняет несколько мое пристрастие к общению с призраками? Нет, нет, это всего лишь воображение, которое время от времени обострялось до крайности, напоминая мне о том, что мир неоднозначен и переполнен неожиданностями.

Чем больше я отдалялась от Москвы, чем сердечнее распаивались мне навстречу калужские леса, тем настойчивее потребность в покое охватывала меня и грела. Что мне были

журавли в небе, пусть гордые, пусть блистательные? Я распалила свою фантазию и, спасаясь от московской раны, крикнула о помощи.

Перед Рождеством в Губино съехались соседи. Помнится, было шумно, сытно, все ярко освещено и невесело. Прикатил и мой генерал.

Я смотрела на него новыми глазами, он мне нравился, но так, как могут нравиться люди, нам не предназначенные. За столом он сидел напротив меня, и круглое его лицо казалось напряженным, и шутил он с какой-то опаской, и на мои слова откликался с поспешной бессвязностью. Пил мало, ел рассеянно. После, в гостиной, маячил у меня перед глазами то здесь, то там, выглядывал из каждого угла; где бы я ни оказалась, возникал и он; проходя мимо, сказал мне таинственным шепотом:

— Стерлядь была сказочная!

Я отправилась распорядиться на кухню — он оказался там; я прошла через столовую — он беседовал с таким же гигантом Лобановым, делая вид, что беседа эта крайне его занимает; я вернулась в гостиную, села в кресло — оказалось, что он сидит в соседнем... Он преследует меня, подумала я, дорожное видение в руку!.. Но тут же до меня дошло, словно сознание очистилось, что это я сама хожу за ним по всему губинскому дому, и разглядываю его с пристрастием, и изучаю откровенно, словно не искушенное в хитростях дитя.

«А что ж, — подумала Варвара, — пусть он меня и спасает, коли так...»

Он тяжело поднялся и отошел. На этот раз Варвара пригвоздила себя к креслу и не шевельнулась и густо покраснела. Но он тут же воротился и сказал своим мягким, невоенным басом:

— Поймал себя на том, что хожу за вами по пятам...

— Видимо, — сказала Варвара строго, — это профессиональное — привычка преследовать.

— Что вы, — засмеялся он, — какое уж там преследовать... Я, Варвара Степановна, больше специалист по ретирадам...

— А мне показалось, что это я хожу за вами... — сказала она без улыбки.

Он вздохнул.

— Вам эта участь не грозит — отступить предназначено мне...

«Спаси меня, спаси, — подумала Варвара, — ты же храбрый и добрый?»

Он сидел в кресле, большой, обмякший, все еще чужой, старый, сорокачетырехлетний, и тщательно вытирал платком ладони.

«Самое ему время делать предложение», — подумала она без особой радости.

Она представила себе его огорченное лицо, когда в один прекрасный день, скоро, вот-вот влетит в ее руки заветный московский конверт от господина Свечина с призывом, с мольбой, с холодной просьбой, полунамек-полуприглашение... И тогда она сама выберет лошадей — тройку, четверню — и бричку умастит благовониями, и Савве пообещает вольную...

Но оробевший генерал укатил в Липеньки, так и не предложив своего спасительного супружества, и затаился там в обнимку со своей амбарной книгой. Прошел месяц, другой... Тут-то Варвара и развесила по кустам бубенчики...

Когда я совершила свой предосудительный визит, чтобы удостовериться, не потеряла ли я надежды на спасение, и мы сидели там, в доме моего генерала, вместе с его загадочной Софьей, подозревающей меня в святотатстве, я поняла, что генерал обо мне помнит, помнит...

Москва тем временем молчала, будто ее не было и вовсе. Николай Петрович глядел на меня, не таясь, и предчувствие предсказывало мне, что это, знать, и есть то самое, натуральное, истинное, подлинное из всего, на что не поспешила моя судьба. Как быстро откликнулся он на мои подозрительные сигналы и, ворвавшись в мой дом поздним вечером с пометами метели на бровях, на ресницах, ввязался в тот давний лихорадочный диалог, какой-то пустопорожний и никчемный, я уж точно и не припомню о чем, только и помню, а может, мне кажется, что в этом диалоге мелькали отрывочные признания, во всяком случае, я это поняла так. И я дума-

ла тогда, что все-таки можно было бы обойтись без всяких лишних и пустых слов, а просто сказать главное и на том порешить... Кажется, он стоял на коленях и обнимал мои, и целовал подол моего платья, и плакал... И это круглое страдающее лицо, влажное от слез... Несколько раз пришлось выпроваживать Аполлинарию Тихоновну. Она тогда была жива и крайне любопытна. Голова кружилась от его прикосновений... «Подождите, подождите, — задохнулась Варвара, — да подождите же!..» И взлетела к потолку, словно от легкого дуновения... «Да подождите...» И поплыла мимо темных окон, провожаемая свечами, книгами, портретами предков... А, все равно, все равно... и больше не пыталась шевелиться...

...Самое замечательное было то, что он не выглядел победителем, чего следовало ожидать, предварительно наглядевшись на его гигантский рост, широченные плечи и всякие генеральские штуковины, украшающие его победоносный мундир. Напротив, он был кроток и тих и даже несколько растерян, и в самую пору было уже Варваре брать его на руки и успокаивать, и уверять, что его поведение не было дурным, нет, нет, он поступил, как должен был поступить (она же не деревяшка какая-нибудь... мы ведь живые люди... да она сама, сама... живые, горячие...), и гладила его плечи, грудь, щеки... «Он любит меня, — подумала с грустью, — какое богатство». И снова гладила его и просила не закрывать глаза, а смотреть на нее и прикасалась губами к его лбу, к его губам в бессильной надежде вытравить из памяти тот случайный, давнишний, неправдоподобный московский поцелуй.

Расплата наступила тут же, когда он усомнился в справедливости предложенного ему союза, когда возник меж ними призрачный, расплывающийся силуэт Варвариного московского мучителя, и тут уж оказались беспомощны и торопливо натянутые генеральские одеяния со всеми регалиями, и гигантская, несокрушимая, казалось бы, фигура, и Варварины растерянность, вкрадчивость и бесполезная порядочность... «Вот за что любят!..» — подумала она в ужасе, пытаясь объяснить, семена следом по комнатам, тронутым слабыми бликами позднего зимнего рассвета...

Сердце разрывается от воспоминаний.

6

Я любила Свечина горькою любовью, с проклятиями, с ожесточением и лихорадочно собирала всевозможные редкие слухи о нем, негодуя на клеветников и завидуя его избранникам. Мне равно враждебны были и те и эти... А писем не было.

Я узнала, что он оставил архив Иностранной коллегии и начал читать лекции по всеобщей истории в Московском благородном пансионе, и это тоже явилось предметом для злоязычия. Дорого бы я дала, чтобы на один час очутиться рядом с ним в какой-нибудь там московской гостиной, слышать его голос, негодовать на его холодность и ничтожные знаки внимания принимать как бесценный дар, и в то же время вот какое событие в проклятой моей глубинской спальне... Несчастный генерал! Какой чудовищный портрет моего московского гения нарисовала я тогда генералу, как унижала перед этим поверженным гигантом моего мучителя, надеясь хоть как-нибудь поколебать свою постылую слабость... Теперь сознаю, что, видимо, все-таки была права в той, казавшейся тогда отвратительной, откровенности. Конечно, видя опочининскую тоску в глазах хорошего человека, разве об этом не пожалеешь?.. Ах, Николай Петрович, Николай Петрович, ведь это как бы и не я тогда выпаливала, не я, а моя судьба, моя и ваша, она сама, ей было так угодно... мы тогда оба были... и я, и вы... мы оба были подобны тряпичным куклам, произносящим чужие враждебные слова, и мера нашего поведения определялась не нами...

Генерал укатил в свое войско и затерялся где-то вдаль и стал забываться, и вот в середине третьего года, воротившись из поездки в Ельцово, я обнаружила на письменном столе неказистый измятый конверт, показавшийся мне верхом изящества. Я долго боялась вскрыть его, ходила из комнаты в комнату, и маленькая моя Аполлинария Тихоновна неслышно семе-

нила за мной. Я вскрыла конверт и поразились собственной прозорливости, о которой я не постыдилась торопливо доложить растерянному генералу...

Милостивая государыня,

все так же ли Вы склонны к воинственным диалогам или помещицы заботы затмили все собою? Я же, как и прежде, занят скучнейшей всеобщей историей, а нынче и того пуще, вбил себе в голову, представьте, поразмышлять над четырьмя именами: Александра Македонского, Цезаря, Аннибала и нынешнего возмутителя умов... Не кажется ли Вам, что Бонапарт готовится не то чтобы возвысить высокопарные лозунги революции, а всего-навсего прибрать к рукам весь мир столь же примитивно, как и его малоцивилизованные предшественники? Не кажется ли Вам, что в этих делах остановиться невозможно, если хоть одна удача на этом поприще сопутствовала тебе?.. Конечно, древний мир не так изыскан, как изваяния, оставшиеся нам от него, он вишив и подл и пропах козым сыром, но в нем заключены истоки множества наших заблуждений и самообольщений и даже трагедий... Надеюсь, что смогу повидать Вас еще до осуществления Бонапартом его тайных замыслов. Откладывать нельзя — пасьянс истории коварен. Два года — срок вполне достаточный, чтобы все взвесить, и слишком незначительный, чтобы, встретив, Вы могли меня не узнать.

Остаюсь с глубоким уважением и искренним почтением

Александр Свечин.

Разве я не кричала моему генералу, что если оттуда последует сигнал... разве я солгала?.. что если последует сигнал, который и подавать-то некому, но если он все же последует...

Аполлинария Тихоновна валялась у меня в ногах, эта маленькая сухонькая старушка со смуглым сморщенным личиком и детскими любопытными глазами, притворщица, играющая в наивность, корчащая из себя выжившую из ума дурочку, она была мудра и обладала завидными зоркостью и предчувствиями... Я и нынче слышу, как она кричит мне, безумная вещунья: «...а они-то как же? Они-то? Чего они увидют, вернумшись? Vous avez tort, madame, be aegliger l'attachement du general! Горе какое! О чем они подумают?.. Да нас ведь засмеют! Et poutrant vous aviez la reputation d'une femme raisonnable... vous aves perdu la tête. Рехнумшись... Gars alors il va vous outrager. Он вас бросит — и ни о чем не спросит! Je vous assure...»¹

Но крик ее распалил меня пуще. Очнулась я уже в возке, уже миновав Малоярославец. «Откладывать нельзя — пасьянс истории коварен». Неужто крепость пала? Я не покорила главных сил, а она уже пала? Я не покорила сама себя, а она уже пала?..

Все последующее происходило слишком стремительно и неправдоподобно. Варвара, едва ввалилась в московский дом, тотчас написала короткую неряшливую записочку с приглашением и велела отнести ее. Затем занялась туалетом с помощью одуревшей с дороги Дуни. Все валилось из рук. Сложность заключалась в том, чтобы почему-то непременно быть в том самом наряде, в каком он видел ее последний раз и мог запомнить. Дуня все исполняла не так, не так!.. Челядь носилась по дому с выпученными глазами, гостиную опрыскивали духами, чтобы заглушить затхлые ароматы...

В скором времени пожаловал и мой посыльный, а следом и господин Свечин, как ни в чем не бывало, будто мы не расставались и я не пробивала головой в течение двух лет стены его неколебимой цитадели.

Как просто все свершилось. Хотя Варвару обмануть было трудно, она восприняла эту простоту как заслуженную награду, как драгоценный праздник — устала. Более того, он улыбнулся с порога! В нем ничего не изменилось — ни в одежде, ни в лице, ну, может быть, чуть

¹ Вы напрасно пренебрегаете любовью генерала, сударыня! ...Ваша хваленая разумность вам отказала... Вы просто не в себе. ...Он же отвергнет вас с позором. ...Уверю вас... (фр.)

больше мягкости в небольших темных глазах, но, возможно, и почудилось, и улыбка быстро погасла, какая жалость...

— Можно подумать, что вы крылаты, — сказал он, — так стремительно пересекли губернии.

Она вцепилась в спинку кресла, стараясь не дышать, решила, что следует сейчас же сказать ему, что она его любит и вот откуда такая стремительность... да он и сам все это видит. Вся ее жизнь отныне... и это невыносимо... Если не скажет, тут же и упадет — потеряет сознание.

Но не сказала и не упала, а спросила, приглашая располагаться:

— Как поживает Цезарь, Аннибал и прочие?

— А знаете, — откликнулся он с живостью, — я очень увлечен. — И засмеялся, и это было очень неожиданно и приятно. — Впрочем, все гораздо сложнее. Мне интересно.

«Если это интересно тебе, — подумала она с покорностью рабыни, — это должно быть интересно и мне».

— Как ваша лесная жизнь? — спросил он вежливо.

«Какая глупость — вспоминать сейчас тот мартовский поцелуй, — подумала она. — Отчего ж я не воспользовалась тогда клочком бумаги? Он бы уже тогда посещал меня, и неизвестно, как бы все там сложилось...»

— Почему вас так беспокоят Бонапартовы вождения? — спросила она.

— Если я докажу, что у них у всех одна природа, — проговорил он спокойно и бесстрастно, — стало быть, в скором времени можно будет ждать корсиканского гения к нам... Кстати, меня замучило, что я никак не могу вспомнить вас на мартовском снегу у Чистых прудов...

— Нашли о чем вспоминать, — усмехнулась Варвара.

Усмешка получилась жалкой, она это почувствовала. Уставилась на него, по своему обыкновению не отводя глаз, досадуя, что время уходит, уходит жизнь. Когда б он знал, когда б мог догадаться, сколь часто в сновидениях и наяву те проклятые и восхитительные объятия маячили пред нею, будто ничего уж более важного и значительного не могло произойти!.. Мой дорогой, думала она, согласно кивая ему и вслушиваясь в его приглушенные интонации, солнышко мое, ты сам меня позвал, какой праздник!.. Затем ее обволакивала горечь какой-то неясной утраты, и кончики пальцев холодели, но тут же приливали кровь, она проводила ладонью по щеке, и на щеке оставались следы ожога... «И совсем не хочется сомневаться», — подумала она с удивлением.

— ...Ну хотя бы Аннибал, — сказала она, — что он, был безумный?

У Свечина были впалые щеки, высокий лоб, короткая прическа с редкими проблесками седины. Ничего особенного, ничего нового. Но видимо, в том и заключалась власть природы, думала она, чтобы столкнуть наконец, свести воедино две разрозненные жизни, думала она, нуждающиеся друг в друге... Какая-то неразгаданная страсть выталкивает Аннибала из его уютного Карфагена, а меня из Губина, думала она, и мы летим исполнить наше злое или доброе предназначение! Она чувствовала, что наступает долгожданная минута, но времени нет, чтобы тщательно подготовиться, хотя разве не она засыхала сто раз на дню, и отчаивалась, и набиралась сил и огня все эти два года лесной, отшельнической жизни, успев нанести неизлечимые раны какому-то несуществующему генералу?.. Но ведь не по злой воле, упаси бог.

Самое трудное теперь миновало, думала она, это то, отчего сохнут; теперь только не испугаться, не отступить с горделивой осанкой (не совершить ретирады), и посмотрела на серебряный колокольчик, прикорнувший на краешке стола. Теперь главное — не показать слабости, думала она... скрепляющий раствор меж кирпичами... а впрочем, вот именно, зачем скрывать? Пусть, думала она, все само собой, как есть...

— Интересно, — сказала она, глядя на него, — и Аннибал, едва взгромоздившись на опустевший трон, начал жить не по своей воле?..

— Ну вот видите, — нахмурился он, и это тоже ему шло, — стало быть, именно так... А этот был некрасив и суров (как ты, моя радость, подумала она). Окривев в Италии, стал

даже страшен. Что заставляло его создавать армию шпионов, да и самому наряжаться в парик и лохмотья и не брезговать следить за подозрительными друзьями? Разбойник с повадками эллина, хорошо образованный убийца. Десять лет он распоряжался судьбами мира и внушил такой ужас римлянам, что в течение многих поколений его облик казался исчадием ада... Кстати, он тоже совершил переход через Альпы, чем заслужил всеобщее восхищение, и потерял при этом две трети войска, о чем не принято упоминать... Погиб? Он погиб оттого, что силы Карфагена не соответствовали его мировым задачам, а образованность не помогла увидеть в предшествующих примерах грозного предостережения...

— Вы имеете в виду Александра? — спросила она, разглядывая колокольчик. Она составила, как ей показалось, четкий план поведения. Ей нужно было только решиться на первый шаг.

— Нет, — сказал он, — имею в виду его отца Филиппа. Когда Эллада позвала на помощь, он обрадовался случаю явиться не поработителем, а спасителем, освободителем Фессалии. Его воины были украшены лавровыми венками, и я не удивлюсь, если историкам станет известно, что на венках были начертаны высокопарные слова о свободе и равенстве... Он не стеснялся красивых жестов, когда того требовали обстоятельства, и однажды, умерив свою кровожадность, отпустил всех пленников, одев их во все новое, а тела убитых с почестями предал земле и предложил выгодный мир. Афиняне за это поставили памятник Филиппу, и тотчас он вырезал в Фивах патриотов и установил всюду свои гарнизоны... Куда его влекло? Кто внушил ему эту губительную страсть подавлять других? И вновь, что самое ужасное, его деяния и гибель были предметом восхищения и подражания, а следовало содрогаться...

— Боюсь, — сказала Варвара учтиво, — что наша цивилизация всего лишь маскировка того же самого, хотя Бонапарт не взял бы в жены дикарку Олимпиаду. — И засмеялась. — Неужели они все страдали одним недугом?

Он одарил ее в ответ кроткой улыбкой, говорившей о нем больше, чем пространные рассуждения о истоках мировых катастроф. Одарил и прикрыл глаза...

— Получается так, — ответил с недоумением. — И это не дурной характер или что-то в этом роде... Вероятно, то место, на которое они усаживались, было отравлено...

— Я люблю вас, — сказала она слишком громко, — но, видимо, я обольщалась, считая, что крепость повержена и ее уцелевший гарнизон с барабанным боем, с развернутым знаменем выходит из ворот, чтобы сдать мне на милость. Мне просто отворили ворота, и я получила обременительное право считать себя спасительницей цитадели, чтобы затем с почетом быть выдворенной прочь. Но стоит ли теперь, по прошествии двадцати лет, размахивать кулаками?

Сначала все было феерически прекрасно: и стремительное венчание, что отвечало нашему обоюдному желанию, и незамысловатое свадебное торжество, и поездка в Петербург, а затем в Губино... Незадолго до венчания он привез меня к своему старому отцу, прикованному к постели временным недугом. Я думала, что увижу старого Александра, а увидела небольшого толстяка с розовыми одутловатыми щеками под клетчатый английский пледом, над которым пенились кружева его сорочки. Я приготовилась к трудному свиданию, а все получилось просто и легко, и не успела я поклониться, как он сказал из своих кружев:

— Благословляю, благословляю и очень рад. Какая вы глазастая! И это кстати, ибо за Сашкой нужен глаз, — и захохотал. — С тех пор как мы остались с ним вдвоем, он отбил от рук. Он ведь весь в свою маман, а она была сурового и независимого нрава, и мне от нее частенько доставалось... Я уверен, что буду любить вас, моя дорогая.

— Я тоже, — сказала я, счастливая от такой встречи.

— Так, значит, вы, — сказал он, — намереваетесь шокировать Москву молниеносным венчанием, а затем фьюить?.. А вы знаете моего сына? Клянусь, я знаю его чуть больше, чем вы, — и вновь захохотал. — Одно пусть утешает вас: он джентльмен... А вы, значит, сирота?.. Я знавал вашего деда. Крутой был человек. Ничего не разбирал, когда безумствовал, дворня

ли, благородный ли, как что не по нему, тотчас по башке, пардон, или в пруду топить с камнем на шее. Да, да, а что вы думаете? Я знаю, был суд, и не в губернии, а в Петербурге. Вон куда дошло! Я однажды, моя дорогая, к деду вашему заезжал в это ваше... Губимо? Губино. Ничего не помню уже, кроме Марфуши, это у вашего дедушки сенная девка была, лет ей под семьдесят было. Кривая на один глаз. «Марфуша, — спрашиваю, скидывая шинель, — отчего у тебя глазок-то кривой? Пошалила в детстве?..» А она говорит: «Это, сударь миленький, барин наш изволил собственной ручкой выколоть...» У меня челюсть отвисла, моя дорогая... А отец ваш это унаследовал? Ах, был кроток?.. Ах, вы утверждаете, что через поколение? — и снова захохотал, побагровел, раскашлялся, погрозил мне пальцем: — Значит, вот вы какая?.. Берегись, Александр!.. — И он перекрестил нас и кивнул, отпуская. Мы пятились к дверям, а он посылал нам воздушный крест полной розовой ручкой, покуда мы не скрылись.

— Я счастлива, — сказала я, — старый король милостив!..

...Теперь, когда по лицу моему скользят невеселые тени минувших лет и здравомыслие уступает печали, Лиза спрашивает всегда невпопад, с вызовом, будто бросает в меня камень:

— Отчего же ты ушва от него? Ты же его любива! — И пожимает плечиками от негодования. Она негодует на меня не за давний мой шаг, а за попытку отмолчаться. Я отмалчиваюсь, ровно горничная, только что не шепчу дрожащими губами: «Смилостивьтесь, барыня-голубушка...» Все есть тайна, и ничего я не могу объяснить своей дочери, да, наверное, и никому... Напрасно призывать в свидетели случившееся меж нами. Беда заключалась в том, что, когда наш поединок доходил до своего апогея, тот мартовский поцелуй у Чистых прудов начинал казаться злополучным. Возводить хулу не в моих правилах, винить себя не за что. То была не моя прихоть. Придавать значение житейским мелочам, когда все уже рассыпалось и отдает злой шуткой?..

После нашего путешествия — оно было прекрасным — мы уехали в Губино, где Свечин проводил время в компании с Аннибалом и Цезарем, иногда снисходя до меня, а я занималась деревенскими трудами не покладая рук, почти убедив себя, что большей идиллии не может быть на этом белом нервном, разочарованном свете. Запах лаванды постепенно уступал аромату свежего молока и мяты.

Стоял июль. Сквозь кисею в комнату пробивались большие сизые мухи. Я вошла в кабинет. Он смотрел на меня отчужденно, поджав губы, как большой обиженный ребенок. Я хотела обнять его, но он слегка отклонился. Это меня не ранило, я умела не придавать значения житейским пустякам.

«Вам наскучило в деревне? — спросила я. — Давайте уедем. Как скажете, так и будет». — «Я все время слышу крик этой девки, наказанной вами... И это невыносимо...» — «Мой дорогой, — сказала я мягко, как могла, — ее наказали еще вчера...» — «Да, но я слышу и не могу привыкнуть». Я постаралась быть немногословной. «Не придавайте значения... Ежели вас раздражает такой пустяк, что же будет с вами в серьезном случае?» Он посмотрел на меня так, словно я совершила предательство. «А серьезный случай, — спросил он, — это когда топят в пруду с камнем на шее?.. Или наше благородство годится только для московских гостиных?» Я ответила еще сдержанней, еще обстоятельнее: «Да вы же сами на нее негодовали! Вы плохо знаете деревню. Ежели не наказать, вас перестанут любить, над вами станут втихомолку потешаться. Это не мною придумано... Но если это вам так тягостно, я постараюсь не огорчать вас. Как захотите, так и будет...»

Ты думаешь, моя дорогая, девку эту били? Ее велено было вернуть в деревню, чтобы она не околичивалась здесь в нестираном сарафане с пальцем в носу! Указательный палец вечно копошился в носу, словно там залежался золотой клад... Я ведь сначала предложила ей выбрать между дурными привычками и работой в поле, и твой отец морщился, видя этот заскорузлый палец, воткнутый в ноздрю...

— Ну что ты говоришь? — морщится Лиза в подражание отцу. — Какие квады?

Я сказала тогда Свечину: «Как захотите, так и будет... Хорошо, я верну ее... Вы этого хотите?..» Он поморщился и пожал плечами... Что-то постепенно пропадало день за днем, и

я должна теперь это объяснять? Станет ли яснее, если я скажу, что не покорила крепости, а просто была в нее впущена? В ее стенах продолжалась обычная небесная жизнь, и мои земные претензии ей не соответствовали.

«Кроме блистательных цезарей минувших неправдоподобных времен, — говорила я как бы случайно, роняя на ходу, — есть подлинные нынешние времена: неурожай, молоко и пшеница, деньги и зависть, зависимые от нас люди и иллюзия собственной независимости...» — «Вы же не какая-нибудь уездная госпожа Чупрыкина с трауром под ногтями, — смеется он, называя любимое мной имя, — не какая-нибудь там, чтобы топить в пруду с камнем на шее...»

И снова наступает мир, пусть не такой блестящий, пусть даже плохонький и робкий, но выслуженный мною... Я хочу иметь множество детей, милостивый государь мой, и видеть их восседающими и возлежащими на моих золотых нивах; множество здоровых красавцев и красавиц с гудящей голубой кровью в жилах. Надежда на это сотрясает меня, а всякое препятствие доводит до исступления. Я вижу и чувствую, как всякие там обстоятельства и злонамеренные лица пытаются помешать этой, как они считают, сумасбродной прихоти калужской барыньки то словом, то презрением, то угрозой нашествия, то предвестием бунта. Они спроваживают верных мне мужчин на поля битв или охлаждают мною любимых, и подтачивают меня сомнениями, и даже палец в грязном носу дворовой девки рассматривают как плод моей несправедливости, как укор моей несправедливости.

И он снова смеется, представьте. Может быть, он меня даже любит?..

Но когда Лиза в который уже раз спрашивает меня: «Отчего же ты ушла от него?..» — разве я могу ей что-нибудь объяснить? Да каким же образом? Неужели с помощью каких-то житейских пустяков, которые лишь пуще разжигают в ней дух несогласия? Можешь ли ты наконец понять, что я не покорила этой крепости? Быть пленницей в ней — это не для меня, гостьей — разве к этому я стремилась? «И ты сбежала со мною на руках», — говорит она безжалостно.

Господи, если бы я сбежала! Я избавила любимого мною человека от необходимости меня возненавидеть. «Можно подумать, — говорит она, — что та дворовая была во всем виновата». — «Какая дворовая?» — не понимаю я. «Ну та, которую ты спровадила в деревню...» Боже мой, Лиза! Мы говорим целый час о вещах страшных, о разлуке, о гибели чувств, а ты поминаешь опять этот пустяк, о котором пора забыть!..

Не знаю, не знаю, как все сложилось бы, окажись генерал Опочинин более прозорлив и менее щепетилен. Я, наверное, смирилась бы в конце концов и с его мундиром, и с неизбежностью своего вдовства и научилась бы, наверное, ожидать его с полей сражений, аккуратно рожая тебе сестер и братьев, с благоговением принимая к его аксельбантам при встречах, обдавая его лесным холодком и радуясь его влюбленным взглядам... А может быть, кто знает, изловчилась бы нарядить его в сюртук, и все последующие споры военных честолюбцев вершились бы уже без него, потому что никто еще до сего дня не смог доказать, что бряцание кованой сталью и реки крови могут осчастливить людей и принести им долгожданное успокоение.

В двенадцатом году после вынужденных походов по калужскому лесу Варваре стало известно, что Свечин пребывает в Москве. Зная его характер, она, конечно, не предполагала, что он остался в столице при французах, чтобы, например, взорвать Кремль вместе с корсиканцем, подогреваемый неведомыми ему лаврами генерала Опочинина. Но тем не менее он в Москве оставался, лишившись дома, в одиночестве, наедине со своими цезарями, а может быть, и впрямь с некой французской дамой, покинувшей его в трудную минуту, о чем тоже ходили слухи. Иллюзий не было давно, любовь ведь перегорела задолго до московского пожара, но старый друг (при этом она усмехнулась), может быть, нуждался в участии, и атаманша, еще полная батальным возбуждением, а с нею Дуня с закутанной Лизочкой на руках бросились в Москву по разбитой дороге.

Трупы людей и лошадей, брошенные пушки и целехонькие экипажи — все это уже не волновало; она видела, как расправлялись с живыми, как молниеносно прекращали их кратковременное пребывание на этом свете, так что можно было и не содрогаться при виде их жалких оболочек, полузанесенных снегом. Однако она и на сей раз была отравлена и в полудурмане добралась до сожженной Москвы.

Но прежнего сверкающего карнавала, столь привычного взорам въезжавших, теперь уже не было. Путников окружало почти кладбище с одинокими фигурками, отыскивающими свое прошлое.

Варварин дом обгорел, был разграблен, хотя остался цел. Зато огонь пощадил каменный флигель в глубине двора, где и проживала московская ее дворня. Путникам были рады и, конечно, не стеснялись слез. Большая комната, где обычно останавливались дальние гости, оказалась вполне пригодной для жилья. Варвара поручила прислуге Лизу, а сама с Дуней помчалась на Чистые пруды, уже не замечая ничего вокруг.

Знакомый дом, где она, еще ничего наперед не зная, готовилась к свадебной поездке, остался цел, хотя в окнах отсутствовали стекла и груды кирпичного хлама загораживали вход. Она пробиралась туда, сопровождаемая испуганной Дуней, стараясь не замечать разгромленного благополучия, и по замусоренной лестнице двинулась на второй этаж. Чем ближе она подходила к цели, тем отчетливей становилось, что дом необитаем. Но какой могла быть та французская дама, думала она, чье расположение не казалось ему обременительным? Воображение рисовало ей молодую брюнетку с пухлыми жадными губами, почему-то непременно наряженную в платье из светлой кисеи с мушками, говорливую, с туманным взором и учливой улыбкой... Страстное тело и холодное сердце, как сказал кто-то...

Она вошла в совершенно пустую гостиную, если не считать охапки гнилой соломы на полу, и, замирая, отворила дверь в бывшую свою спальню. Густой слой пыли покрывал редкие предметы в этой комнате. Следов жизни здесь не было. В чернильнице окаменевшие чернила, голая кровать (о, не ее, не ее!), пустые книжные шкафы, скомканые бумаги на полу, круглый стол без скатерти и знакомый фарфоровый кофейник с отбитым носиком — старый неразговорчивый приятель из счастливых времен, с которым не поговоришь о прошлом. Смерть и разрушение... Варвара спросила бы какого-нибудь из уцелевших воителей, так ли он представлял себе счастливый окончательный мир, когда с пистолетом в руках топал по военной дороге, мечтая о победе и славе. Да у кого было спрашивать?..

Она перешла в другую комнату, понимая бессмысленность своего пребывания в этом доме. Там оказалось то же самое — смерть и разрушение... Легко ли ей было? Легко ли было ей в этом склепе, где когда-то...

Вдруг легкое Дунино «ой» долетело из бывшей гостиной, и, когда она бросилась туда, она застала свою курносую компаньонку замершей перед одиноким портретом, покрытым пылью и забвением, притаившимся на голой стене. Молодая дама с громадными синими глазами уставилась на Варвару с самонадеянностью, годной для лучших времен.

Она помнила гладко выбритого капризного живописца, приглашенного Свечиным, и когда спросила: «Зачем это вам?» — «Пусть будет, — улыбнулся Свечин, — будем вспоминать...» Она уселась в кресло перед живописцем, не подозревая, сколь самонадеянна ее поза, представляя, очевидно, что жизнь отныне пребудет неизменна, как она и задумала...

Эта самонадеянность теперь показалась Варваре столь неуместной и даже оскорбительной, что впору было сорвать со стены это совершенное изделие, оставленное здесь, как показалось тогда Варваре, в насмешку над ее былыми фантазиями... Теперь я думаю иначе, и воспоминание о собственной молодости, кратковременной и невозвратимой, не ожесточает, а, напротив, вызывает приливы грустного умиления. «Сымать?» — шепотом спросила Дуня. Но Варвара, словно отказавшись от себя же самой, резко повернулась, и они покинули эту могилу.

Бесхитростная француженка Бигар, о которой много рассказывал Тимоша, воротившись из похода, и была, видимо, той дамой в кисейном платье с мушками, которую я воображала вцепившейся в моего бывшего кумира с французской горячностью и сноровкой.

«Она была чудесная женщина, глупая, добрая и бесхитростная, — сказал Тимоша с обычным воодушевлением, — такие могут пойти на баррикады даже из приятельских побуждений...»

Кстати, перед тем как навсегда уйти из того дома, Варвара все же вернулась в спальню и подняла с пола несколько смятых и пожелтевших листков. Уже спустя много времени она их развернула. На одном располагалось несколько ничего не значащих столбцов цифр, на другом приглашение посетить Вяземских в один из каких-то благоуханных довоенных четвергов; два оставшихся листка оказались письмами. Первое, оборванное, из деревни, неизвестно кому и от кого.

...третьего дня узнала, что деревня моя сожжена, также говорят, что и московский дом, но последнее еще недостоверно. Все ограблено, мужики разорены до крайности. Приказчик уехал и что-то заклал в кладовой, чего злодеи не открыли, а что закладено, люди оставшиеся не знают. Известно, что осталось несколько немолочной ржи — у меня на месяц, может, хоть что-нибудь будет, а скот мой и крестьянский хлеб и платье все отнято.

Представьте, что всех мужчин и женщин моих больше 300 человек, и как их год кормить, чем жить и где?

Истинно терплю!..

Второе, на французском языке, повергло меня в трепет.

Высокочитимый господин Свечин!

Толпа избилла меня. Наверное, это справедливо, и я навсегда покидаю Россию. Вот сейчас, сию минуту. Я намеревалась в последний раз повидаться с Вами, но вдруг поняла, что женщина с большими синими глазами — не фантазия живописца и что в Вашем горьком сердце для меня не может быть местечка.

Прощайте же, прощайте, прощайте...

Л. Бигар.

И это было все, что оставалось у меня после нашей блистательной победы.

Пребывание в Москве было уже бессмысленно, да и страшно, да и, видимо, права была Аполлинурия Тихоновна, когда утверждала, что нельзя возвращаться по старым следам — получишь по физиономии... И все-таки что значило это немногословное письмо бежавшей француженки? Неужели в сердце московского затворника теплились остатки бывшего ко мне расположения? Ведь украшал он свое жилище изображением моего самонадеянного лица в позолоченной раме... Не насмешкой же над прошлым красовалось оно на стене...

Так или иначе, дом был пуст, портрет оставлен разрушаться, а мои благотворительные помыслы оказались напрасны...

И в этот момент мне доложили, что господин Свечин желает меня видеть.

Я полагала, что передо мною возникнет существо в поношенном рединготе, с увесистой палкой, с седыми космами, вылезаящими из-под шляпы, существо, достаточно ярко описанное мне Тимошей впоследствии в письме из полка, существо, несколько не напоминающее вальяжного господина с Чистых прудов, о котором я когда-то помышляла со счастливым ужасом. Этот же господин в отличном фраке тоже показался мне чужим и значительно старше своих сорока лет. На губах его теплилась улыбка, представьте, по всему предназначавшаяся не мне, а пространству, неисповедимости обстоятельств, игре случая.

— Я узнал, что вы меня искали, — сказал он чужим голосом. — Я только что из Петербурга и вот узнал... Может быть, вы привезли Лизу?

— Да, я привезла Лизу, милостивый государь, чтобы дать ей возможность повидаться с вами... Видимо, я виновата в том, что девочка столько лет... Но вот и она, и если теперь невозможно заглядывать вину, то можно хотя бы погладить ее по головке... Ну, как вы это сделаете? Лиза подошла к нему без робости, и затем ее детское удивленное «*rara, rara*» до сумерек витало по комнате... Он подарил ей маленький медальон с изображением императрицы, этой молодой несчастливой женщины, числившейся в счастливых, и девочка тотчас повесила его себе на грудь.

— Вы приехали, чтобы спасти меня, по своему обыкновению? — спросил он.

— Нуждающийся во спасении, — сказала я, — всегда очень зорек к чужим бедам.

Он вежливо меня поблагодарил и утешил своими новыми успехами в Петербурге, где ныне служил в Иностранной коллегии, а в Москву воротился завершить кое-какие дела...

Я было собралась иронично спросить его, отчего же он позабыл на стене мой портрет, но иронии не оказалось места в том сдержанном холоде, который распространился меж нами. Все было пристойно, не по-московски прохладно и тягостно. От чая он отказался, но не спешил уйти.

— Мы оба виноваты перед нею, — сказал он, продолжая свою мысль, — но друг перед другом нисколько.

Я подумала, глядя на него, что от поношенного редингота военных времен он отказался не без труда и что этот отменный фрак и прочие мелочи, украшающие его, — плоды чьих-то загадочных усилий.

— Удалось ли вам установить, — спросила я запальчиво, — как влияют древние тирании на нынешнюю катастрофу?

Он усмехнулся и ответил, не глядя на меня:

— Мне удалось установить, что мы и народ — одно целое и мед, которым мы были вскормлены когда-то, действует и поныне благотворно...

— Значит, этим объясняется, — крикнула я уже без прежнего ожесточения, — желание моих людей сжечь меня живьем?

— Скорее, вашим фамильным пристрастием, — сказал он жестко, — топить в пруду с камнем на шее...

Это напомнило мне славные времена наших поединков, однако поединок нынешний был враждебнее по тону, и только Лизино «*rara, rara*», время от времени повторявшееся в комнате, видимо, предотвращало беду.

И все же мы с Лизой вышли его проводить. Экипаж, который дожидался его, не соответствовал своим отменным петербургским видом страдальце Москве.

Не высказав ему всего, что наболело, я цеплялась за какие-то несущественные для меня мелочи.

— Вы были таким ярким поборником свободы, — сказала я с досадой, — а нынче в тирании находите приятные стороны...

— Варвара, — сказал он, — не говорите высокопарных глупостей на развалинах... Какая тирания? Власть, которая разъединяет нас, в результате гибнет. Разве вы в том не удостоверились? Но власть, объединяющая нас, достойна быть воспетой... Равенство — это не равенство притязаний, милостивая государыня. Богу — Богово, кесарю — кесарево. Никуда не денетесь. Рабов следует освобождать, но для этого не надо гильотинировать королей.

Я хотела что-то возразить, по своему обыкновению, но петербургский экипаж уже катил по московским обломкам, по нашему наивному прошлому, по Лизиному счастливому «*rara, rara*».

Стоит ли иметь много детей, если сыновья рождаются в киверах и лосинах, а дочери с личиками вдов?

До сих пор не могу понять, как же это столь беспомощной оказалась моя хваленая прозорливость, когда я сама взяла Лизу за теплую руку и подвела ее к Тимоше? Несколькими годами раньше мы с ним беседовали о всяких житейских проблемах, когда меж ним и Лизой уже протянулась прочная беспощадная ниточка. Тогда еще, кажется, можно было влиять, пресекать, воздействовать, отвести грозу... ах, опять слова, слова, слова... Гроза затаилась и обманула меня. И мы, как это водится, говорили о будущем благополучии, а не о возможных несчастьях. Какие-то все глупости, несуразности слетали с уст... какие-то клятвы, которыми они будто бы были связаны. Одним словом, фразы, предназначенные вместо кирпичей в стены будущего дома... Тимоша с присущим ему вдохновением и страстностью говорил о винокуренном заводе на берегу Протвы, что сразу поправит все дела и уже через год «можно будет вздохнуть по-настоящему».

— А тебе, Тимоша, не мешает, что Лиза не произносит твердое «л»? — почему-то спросила я с глупой улыбкой.

— Притащива водку к вуже, повожива ее на водную гвадь, усевась, замахава весвами и попывыва? — засмеялся он.

Все было вот таким трогательным и райским, я помню. И я сладко спала. Может быть, сказалась усталость предшествующих лет, а может быть, это наше всегдашнее нежелание признавать возможность неминуемой грозы, чтобы все-таки жить, ежели это нам выпало, а не сходить с ума?

— Теперь моя жизнь очень заполнена, — сказал он, — во-первых, я понимаю, что без труда не вытащить... а во-вторых, я жду, надеюсь, скучаю, восхищаюсь... Чего же более? — И покраснел, а глаза отливали печалью.

Но при этих словах Варвара размякала, становилась добрее и думала, как все мы, что если мы и были прекрасней, чем наши дети, то они будут счастливее. Солнечная погода всегда чревата грозой, уж этого-то забывать не следует. Но они позабыли. Так время от времени ей напоминала о превратностях фигура генерала Опочинина, возникающая вдали под окнами, за стволами деревьев, на горизонте, на пустынной деревенской улице, припадающая на липовую ногу, повергающая ее в обмороки, доводящая до тошноты, до пронзительного тоненького крика о помощи... Но это случалось не часто, а так в основном все складывалось прилично. А тут ее еще обволокло спокойствие иного рода.

В том же шестнадцатом, а может, и в восемнадцатом Тимоша однажды укатил на Украину знакомиться с «замечательным человеком» и пробыл там с неделю. Так как Варвара была для него сестрой милосердной и его поверенной, он, воротившись из поездки, сразу же заехал к ней. Был растерян и удручен. Долго молчал и глядел в сторону.

— У них заговор, — сказал хрипло. — Они все военные заговорщики. Смерть и разрушение...

Варвара снова припомнила все слышанные ею случайные летающие слова об этом «замечательном человеке», о полковнике с холодной и неотвратимой немецкой фамилией, вокруг которого теперь раздавалось жужжание Тимошиных единоверцев.

— А ежели разбудят Пугача? — спросила она, посмеиваясь.

— Какой там Пугач! — удивился он. — Они сами, все сами... Боюсь, что застольные беседы кончились... Это военный заговор, и они бессильны остановиться — кони понесли... А я, представьте, думал о винокуренном заводе, думал, как Липеньки перестрою и заставлю мужиков и баб, заставлю спать в чистых постелях, а не на печи. Я и им это говорил так, между прочим, моим заговорщикам, и они жалели меня и почитали это юродством... И такое вооду-

шевление было вокруг, такое вдохновение, что за собственное ничтожество хотелось голову разбить о стену, и дед мой, подумал я, тоже, наверное, зажегся бы там, чтобы вместе, всем вместе взлететь в черное августовское небо... — Губы у него задрожали. — Они обсуждали свои намерения и за это поднимали бокалы, их денщики сбивались с ног, подливая им и поднося и выслушивая упреки в нерасторопности, а я думал: легко же благодетельствовать все отечество, понукая собственного мужика.

Он страдал, а Варвара, вздыхая облегченно, принялась было утешать его, но Тимоша неожиданно рассмеялся и сказал:

— Я говорю Кузьме: «Ну вот, Кузьма, представь себе, жизнь переменится, каждый сам будет по себе — и ты и я, и мы и вы, будет рай на земле...» А он прищурился, лукавец, и спрашивает: «А кто же, батюшка, пахать да служить будет? С кого спрашивать?» Я говорю: «Что значит спрашивать? Вон твой отец с Пугачом ходил, жег и казнил...» — «Да рази это рай — жечь, казнить? — говорит. — Рай, когда ангелы поют, батюшка...» Я ничего не понял, но водки ему поднес, и философ этот лукавый удалился с малиновым носом.

Он улыбался. Только губы вздрагивали слегка. Больше всего Варвара боялась, что опочининские страсти и чувство долга толкнут его на сумасбродство, она заглянула ему в глаза — в них царило умиротворение.

— А Пряхин? — спросила Варвара.

— Пряхин? — сказал он небрежно. — Выпил водки, спел про князя Багратиона, сказал: «Господа, не пора ли пожалеть Россию, она от крови и так еще не обсохла». Вытер усы и уехал.

— А ты? — спросила Варвара.

— Я? — удивился Тимоша. — Я их всех люблю, обожаю, как братьев. Я?.. Пил с ними... Что я? Поддакивал... Поддакиваю, поддакиваю весь в дрожи, а Акличеев мне кивает из угла, кивает и говорит: «Я понимаю, Игнатьев Тимоша, я тебя понимаю, понимаю, дружок...» И при этом так кивает, так кивает, будто говорит: «Прощай, прощай, не поминай лихом!» Я хотел переломить себя, но Зернов сказал: «Ты, конечно, по-своему прав. Я люблю тебя, Игнатьев, видит бог, через несколько лет ты все поймешь, когда мы встретимся у тебя в Липеньках и потопаем чокаться к Арише. Вот будет парад!..»

Вот вам и парад, весь этот ужас, который произошел теперь, когда все ручейки слились, секреты распахнулись и нет возврата.

А тогда после его слов я глядела в окно и видела за ним пространства, о которых все радели и пеклись, томясь и рискуя, но Варвара тогда подумала не об этом, а о себе и о Лизе и о двух пистолетах, напряженно затаившихся в ореховом ящике. Пространства были там, а она здесь, и она подумала: «Меня пожалейте, меня!» Однако Тимошины слова и его решимость все-таки несколько успокоили ее, и она посмела вздохнуть облегченно.

Да, и вот тогда, вздохнув с облегчением, Варвара проводила Тимошу, помахала ему с антресолей, видела, как за деревьями скрылась его ладная спина, потом долго следила, как он мелькал меж стволов, растаивал в ранних сумерках, в клочьях розового тумана, и вдруг подумала, что, вздумай вновь генерал возникнуть из ничего, из горьких воспоминаний, из этого самого тумана и направиться к ее дому с искаженным от боли лицом, она на сей раз не грянется бездыханной перед таинственными знаками природы, а будет ждать с терпеливой надеждой...

И тут он и впрямь вышел из-за дерев, прихрамывая на своей деревяшке. На нем был белый долгополый сюртук, без погон, седая непокрытая голова склонена не по-генеральски, на круглом лице ни боли, ни ожесточения...

— Дуня!.. — успела я крикнуть.

...И вот так всякий раз, а после невразумительный разговор с девкой, напуганной не меньше меня, и из этого разговора я так и не могу уяснить: больна я или это какой-то знак?

— Ты-то чего трясешься? Небось он не к тебе шел, а ко мне...

— А чего им ходить-то? — хнычет она. — Лежали бы себе...

Она подает мне нюхательную соль и смотрит на меня так, будто я успела уже пообщаться с призраком и связана с ним тайным сговором и ей уже не под силу разгадка наших шашней, но это все притворство.

— Дура ты все-таки, — говорю я, — ступай, ступай вон.

...Шутка ли вспоминать все это теперь, когда тебе под пятьдесят и из зеркала глядит на тебя чудовищная старушечья маска, еще живая, еще пытающаяся выглядеть пристойно, с большими пустыми глазами, в которых и осталась, может быть, лишь крохотная толика свечения, чтобы подбодрить Лизу. Я не виновата перед нею. Все произошло по воле Божьей. Когда в минувшем декабре докатились вести о петербургском ужасе, я в первое мгновение подумала, что нас ждет самое худшее, но это предположение тотчас и погасло, потому что все это не могло иметь к нам никакого отношения, ведь правда, Тимоша? Эти слишком давние съезды и споры и всякие кровожадные перспективы, ведь это все было отвергнуто, не так ли? Уж что они там все воображали, твои бывшие компаньоны, это было для нас тайной, пока ты возился с винокурными делами и с участием глядел на своих холопов, а у нас с Лизой все как-то счастливо улаживалось... Кто теперь спросит за юношеские фантазии, за кратковременный порыв, если ты в калужском уединении, а это они с пистолетами, позабыв о тебе, собираются на такой безнадежный праздник?.. Они сами выбирали, что им было по сердцу, а ты этого не хотел... Глупости все это, трагические глупости, горячность и самонадеянность...

И действительно, миновали декабрь, и март, и апрель, и тут, как обычно, с небес свалился полковник Пряхин...

А еще четыре года назад никто и не мог предполагать, что все так вот опрокинется и повиснет в гнетущей неопределенности.

Мы сидели за вечерним чаем. Как раз недавно зазвенела натянувшаяся ниточка меж Тимошей и Лизой, зазвенела подобно тетиве, толкнувшей стрелу. Редкие июльские комары почти не досаждали, и я не ощущала себя старухой. На плечах моих лежала розовая шаль. Лиза сидела напротив, почти совсем взрослая, моя взрослая дочь, случайное мое дитя, заменившее мне всех остальных неосуществленных своих сестер и братьев.

Я запомнила этот вечер потому, видно, что тогда впервые по-настоящему с пристрастием разглядела свою семнадцатилетнюю барышню. И в ней не оказалось ничего от меня, представьте, и это меня тогда поразило. Зато отцовского, свечинского было в ней с избытком: небольшие зоркие глаза, выпуклый лоб, редкая обворожительная улыбка и трогательная небрежность в жестах и неоскорбительная надменность в позе... Некрасивое, некрасивое мое дитя, острое на слово... И рядом я вообразила Тимошу...

«Ты что, в самом деле чувствуешь, что ты... тебе кажется, что ты ее... ну, в общем, ты хочешь сказать... Ты даже уверен?..» — говорила я ему, заикаясь. «В самом деле, — ответил он очень просто. — Я эту барышню, как вы ее изволите величать, люблю, и она меня, кажется, тоже. Вас это огорчает?..»

И стрела полетела...

И вот мы пили чай и молчали, и я понимала, что теперь моя дочь думает о своем возлюбленном! Впрочем, я давно это предугадала и втихомолку молилась о том, чтобы только поскорее перегорели в Тимоше излишние опочининские страсти, непригодные в домашнем обиходе.

Мы пили чай на открытой веранде губинского дома. Пламя свечей не шевелилось. Парк утопал во тьме. Молчали птицы. Дуня принесла горячее молоко, и половицы скрипнули под босыми ногами. Не верилось в этом покое, что белый дом с распахнутыми окнами, укрытый вечерними тенями, еще не так давно, каких-нибудь десять лет тому назад, трещал и разрушался в диком огне и я, еще не старая, с короной на голове, в каждой руке по пистолету, ринулась с крыльца на примолкшую толпу. Ан да Варвара! Какова была!

И не с той ли поры пришлось заново выращивать в себе снисходительность, милосердие, великодушие? Но и по нынешний день они все же не те, что были когда-то. Какие-то блед-

ные, чахлые, замешенные на подозрении и тревоге... И дом не тот, приземистей и теснее, без запахов детства, без прошлого, годный для Лизы, но для меня чужой. Он променял свой екатерининский размах и мирное самодовольство на печальные воспоминания и неуверенность в завтрашнем дне. И книги уже не те в новых шкафах, полированных и добротных с виду. То были Вольтер и Монтескье, откровения Цезарей, и кровавые прогулки Аннибалов, и державинские высокопарности, от которых захватывало дух: книги, подобранные одна к другой, в коих соперничали величие и строптивость, гордая непреклонность и жажда перемен. А нынче все больше Вертеровы слезы да изыскания господина Карамзина о наших древних жестоких сварах, знакомство с которыми губительно не только для юношеских сердец; да множество всяческих наставлений, как уберечь хозяйство от гибели и за счет чего утяжелить скудеющие кошельки...

Пламя свечей не шевелилось. Парк утопал во тьме. Молчали птицы.

— Наш мивый сосед запаздывает, — сказала Лиза. — Правда, я его не пригвашава, но он сам напросился нынче вечером. Уж не передумав ви?

— Скоро он сделает тебе предложение, — сказала я рассеянно, как могла, — я вижу, все клонится к тому...

Она вздохнула.

— Я родивась в Кавужской губернии, — сказала скорбно, — отца своего не знава...

— Бедная сиротка, — поддержала я.

— ...так и росва среди природы, уповая на ее мивости. Еще в детстве мне встретився моводой чевовек, победивший Бонапарта, порывистый и бвагородный. Я гвянува в его гваза и сразу понява, что он предназначен мне.

— Как-то уж все очень просто и легко с этим делом, — сказала я будто себе самой, — ни бурь, ни смятения...

— ...но я торопивась, я быва терпевива, — продиктовала она, — наконец время приспево, все образовавось...

— Кто же этот счастливичик? — спросила я, кутаясь в шаль.

— Ах, не спрашивайте, сударыня, — продолжала она, не отводя скорбного взгляда. — Вы еще достаточно моводы и собвазнитевьны, чтобы я могва рисковать знакомить вас с ним. Вы, еще чего доброго, его заманите... Вам не жавко сиротку?..

— А если я его знаю, и он чудовище, и вам грозят всяческие беды?.. Назовите хотя бы имя.

— Его зовут Тимофеем, — сказала Лиза, вперив в меня свои глазки.

— Нет, не знаю, — равнодушно откликнулась я, а сама подумала с удовлетворением, что хоть манера пристально разглядывать собеседника у нее моя... хоть это... хоть что-нибудь.

— Ну вот видите, — произнесла она с укоризной, — вы, конечно, и друга его не знаете, которого я жду с ним вместе. Не знаете?.. А это господин Аквичеев, такой симпатичный хохотун и фронт, жаждущий всяких общественных и повитических переустройств.

— Что это значит? — спросила я, теряя желание шутить.

— Ну, немножечко пустить затхвую кровь, например. Иви сдевать так, чтобы у вас нечаянно по привычке не возникво жевание какой-нибудь вашей девке привязать камень...

— Лиза! — крикнула я.

Дуня по пояс высунулась в окошко. Во тьме всхрапнула лошадь и послышались голоса.

Лиза со звоном опустила ложечку в чашку. — Прости, *maman!* Прости меня, прости...

Да что уж «прости»? Пересчитывая все давние раны, убеждаешься в ничтожности последней, самой свежей, если, конечно, она не смертельна. При появлении наших гостей Лиза так и оставалась сидеть с наостренным на поединок лицом и не думая сменить маску. Пришлось мне вдвойне засветиться улыбкой, пригласить сесть, кликнуть подать, принести, приказать лакею заменить стул на поместительное кресло для Акличеева, куда он плюхнулся, отдуваясь, предварительно перецеловав нам ручки.

— Вы правы, — сказал он, утирая пот, — последняя рана ничтожна. Постепенно ведь привыкаешь, и вот уже все кажется пустяком... А мы сейчас совали свои длинные носы в винокуренные дела Тимоши. Ну, я вам доложу... Мне бы не лениться, я бы тотчас поправил свои дела, ей-богу... — Он говорил и похохатывал, будто и впрямь собирался все это совершить, а может, и собирался, кто его знает?

— А отчего же вы такой венивый? — спросила Лиза.

— Отчего? Да оттого, сударыня. Моя божественная природа, вот и все. Ну и, конечно, моя жена... Сама судит, сама распоряжается, сама меня отстраняет...

— Почему же? — удивилась я.

— Да все потому, что лентяй, — захохотал он, довольный. — Сейчас, например, должен, кровь из носу, лететь на Украину... там грандиозная охота на волков... — Он мельком глянул на Тимошу. — А вот не могу оторваться от чая со сливками... И корю себя, и презираю, а прихлебываю...

— Не понимаю, — сказала я, — какие вам еще винокуренные заводы, если вы, как я догадываюсь, намерены все перевернуть, всех уравнять, сменить свой щегольской наряд на грубую блузу мастерового? Не понимаю...

— Зато я понимаю, — хохотнул он. — Это ведь когда еще будет-то, если вообще будет... А я тут пока понежусь... а мои две тысячи душ для меня пока покряхтят, покряхтят, — и оборвал смех. — А что это мы с вами о каких мрачных предметах беседуем?

— Действительно, — сказал Тимоша, — вот что значит столичный ленивец и богач... у него замечательный турецкий халат, а уж курительных трубок несметное число! Он читает книжки — все в золотых переплетах...

— Не понимаю, не понимаю, — проговорила я, — к чему это вам и вашим друзьям все эти давно умершие французские фантазии? Зачем они вам?.. — И подумала, что богатые толстяки, хохотуны и жуиры все-таки не могут, не должны мечтать о кровавых переустройствах. Для этого следует быть поджарым, жилистым, подвижным и ожесточенным, с ускользящим взглядом и в черном, по крайней мере, сюртуке, а не в длинном светло-коричневом по последней моде, и не в белом пикейном жилете, и не в панталонах в лиловую пронзительную полосу, и не в этом сером самодовольном боливаре, и не с карманными золотыми часами, усеянными бриллиантами, с кокетливой цепочкой на виду. Как эта пухлая рука в перстнях сожмет рукоять пистолета или шпаги, а вот это улыбающееся холеное доброе лицо с двумя подбородками как сможет убедить иных неискушенных мечтателей в пользе бунта и крови?..

— Какие французские фантазии, милая Варвара Степановна? — захохотал он. — Это же все сказки, все прошло... и потом, почему французские? Мы тут насмотрелись на свое, на родимое, и это нас немножечко возбудило... да теперь-то, при нашем возрасте и при семьях, господь с вами... Прелестная охота на волков и та мне в тягость, а уж весь вздор пятилетней давности, он-то и подавно... — И покраснел от напряжения, и погрозил мне пальцем. — Лучше чаю со сливками. — И заглянул в свою порожнюю чашку...

Я налила ему сама. Тимоша сидел неподвижно, как, бывало, зачарованным мальчиком, расширив глаза и полуоткрыв рот. Лиза исподтишка на него любовалась... И ниточка зазвела под аккомпанемент подозрительных намеков, под таинственную музыку, которая всегда будет в наших душах, ища выхода.

«Отчего это летом на волков охота», — внезапно подумала я.

— Если выбраться за пределы нашего сливочного карнавала, — строго произнес Акличеев, — многое может показаться удручающим и невыносимым...

— Свивочный от свова «свива»? — спросила Лиза.

— Это как вам угодно, — ответил Акличеев. — Так что уж лучше, может быть, и не выбираться... Здесь у вас хорошо. А у меня, между прочим, почти все болота, но мои мужички страсть как сноровисты, впрочем, и лукавы — пальца в рот не клади. — И снова хмыкнул.

Уже было поздно, когда велели запрягать, и акличеевские лошади были возбуждены, предчувствуя дальнюю дорогу. Я представила себе на минуту, как гонится за степными вол-

ками этот герой минувшей войны, этот заплывший жирком петербургский франт, отец трех дочерей, и воздушные слухи о возможном заговоре казались мне светской сплетней. Какая наивность!

Когда Тимоша высказал однажды вполне деликатное нетерпение относительно сроков, связанных с Лизой и их общими планами, я не советовала ему торопиться. «Любовь не терпит. Да и вообще, что за искусственные препятствия? Какая холодность...» — «Целуй ей ручки, Тимоша, рассказывай свою жизнь, спрашивай, как здоровье... Да мало ли дел?.. Что же до любви, она порыв, Тимоша, порыв, да и только». — «А потом?» — «Потом одно старание, друг мой, чтобы не опростоволоситься перед любимым человеком». — «Фу, какая скука!..»

Представляю, каково ему было с неотсыревшим порохом в сердце выслушивать мои наидания. Пока безумие, думала я, струящееся от его друзей, может служить соблазном, пусть не торопится. Пусть слегка отсыреет, думала я, Лизе не нужны катастрофы. Довольно с нее губинского пожара. Одно лишь лицезрение этого страшного пламени и мужичков моих с вилами в ручищах, изготовившихся к последнему прыжку...

Я все-таки оказалась милосерднее, когда велела Игнату привязать двум зачинщикам по камню на их дубовые шеи... Лиза ведь из другой жизни. Разве ей что-нибудь объяснишь? Она вся из карамзинских причитаний да из Тимошиного добросердечия, и того, моего, ей не объяснить. А уж теперь и подавно мне бубнить с превосходством о своей правоте моей израненной детскими впечатлениями дочери и вовсе неприлично. С меня спрашивать нечего. Я была прозорлива, но беспомощна. Даже эти чудовища, Семанов и Дрыкин, царствие им небесное, призывавшие мужиков сжечь меня заживо с дочерью и дворней, даже они не выкрикивали мне проклятий, когда их волокли к пруду с камнями на шее, и после, когда, посиневших, облепленных тиной и всякой дрянью, швырнули в телегу и повезли по ночной воровской дороге в Тулу, чтобы сдать в солдаты. И потом, наверное, когда Бонапартовы пули сразили их где-нибудь под Вильной или Дрезденом... Они мои покои веку, их кровь — моя кровь. Вот, значит, и я ее пролила... и война кончилась.

8

Все у нас складывалось как должно, покуда минувшей осенью не пришло известие о таганрогских событиях. Государь скончался от простуды, но поговаривали, что от тоски. Чего же ему было тосковать? Я всегда была бессильна разобраться в этих петербургских сложностях. Может быть, им всем, и государю и его причту, не хватало нашего уездного здоровья? Привязанности к простым вещам? Возможности быть натуральным в своих поступках?.. Умер мой ровесник, осиливший самого Бонапарта и положивший конец батальным упражнениям стран и народов, и оказалось, что именно Россия умиротворила наконец просвещенную Европу. Как странно, не правда ли?..

А ведь совсем недавно Тимоша посмеивался над моими патриотическими умилениями: «Умиротворили, умиротворили, не пожалели крови, но ничему не научились...» — «Как то есть ничему? — ахнула я и вспомнила, как мои мужички сошлись врукопашную с французскими конвоирами, так что я их, Бог свидетель, простила. Простила тогда, хоть и виду не подавала, и уже трудно было понять: я ли их туда привела, на место их гибели и победы, или они меня повлекли за собою, чтобы что-то во мне дрогнуло раз и навсегда. — Воистину равенство, господа!.. Отчего же они меня тогда в лесу не прикончили, Тимоша? Знать, горе у нас было общее, Тимоша, и кровь общая... Разве напрасны наши утраты?» — «Утраты не напрасны, — сказал он, — а жизни человеческой грош цена...» — «Неправда!» — крикнула я. «Правда!» — засмеялся он. «Что же ты тогда не пошел со своими гвардейцами? Почему отворотился?» — спросила я с сарказмом. «Опять кровь, — сказал он, — глупости всякие...»

И вот будто бы император наш скончался от тоски. Но если его охватила тоска, что же этого не заметили в его блестящем окружении? Не заметили и не предотвратили... Я помню,

как еще в шестнадцатом годе поползли слухи о каких-то метаморфозах в умонастроениях государя. Мы этому значения тогда не придавали: пахали, сеяли, любили, стрелялись — все своим чередом. Какие там метаморфозы? Блаженные годы.

Тут еще посетивший меня однажды мой давний благожелатель Бочкарев, уже не капитан, а действительный тайный советник, вот именно действительно приобщившийся петербургских тайн или приобщившийся действительных тайн, уж и не знаю, как лучше, сообщил мне, что у них там, у них подумывают даже об освобождении крестьян. Когда я всплеснула руками, он многозначительно улыбнулся в ответ и принялся внушать мне, что это созрело, но что это не грозит ни бунтом, ни прочими кошмарами, а напротив, потому что совершается сверху, по воле государя, а не с помощью пугачевских виселиц. «Чего же вы испугались, дорогая? Вы будете в полной безопасности, при земле же, при всем, что имеете, лишь отпадет необходимость опекать эту армию холопов... Они сами будут добывать себе свой хлеб да еще вам же платить за вашу от них свободу... Да, да, это вы освобождаетесь от них, от ответственности, от излишних хлопот...»

Я уже начала приобщаться к новому образу мыслей, как вдруг эти метаморфозы! И вновь поползли слухи о возвышении гатчинских лицемеров, а у нас, в России, ежели нет слухов, стало быть, и ничего нет, ибо истина всегда почему-то бывает глубоко зарыта. Поползли эти слухи и другие, что против желаний государя образовалась сильная партия, не разделяющая его либеральных устремлений. Видимо, дыма без огня не бывает. Розовощекий, ясноглазый, с приветливой улыбкой, наш общий любимец утих и начал нас сторониться, источая уже не прежние волны обаяния и доверия и любви, а неприязненность и отчужденность.

Это как бы отбросило тень на всю нашу последующую жизнь, на наши маленькие дела; все и у нас, у простых людей, начало меняться, будто мы долго стояли в блаженстве на одной ступеньке, не двигаясь, наслаждаясь недавней победой, а тут вдруг опамятавались, засуетились и переступили на другую; мой злополучный Свечин стал учителем в доме великого князя Михаила, женился на графине Безобразовой, молодой и богатой петербургской красоте, и стал недосыгаем, а Тимоша вот тогда-то как раз и впился в своих гвардейских друзей, испытывая искреннюю боль от наших российских несовершенств; Лиза впервые с обожанием глянула на него; я впервые увидела в тумане хромого своего генерала и содрогнулась; затем ожесточились денежные обстоятельства, мы распрощались с Ельцовом, а следом уплыл почти восстановленный московский наш дом. Конечно, время прошло, и Тимоша сам вспоминал свои заговорщические былые порывы смеясь и пожимая плечами, вернее, недоумевая по поводу той недолгой лихорадки, но что-то все же переменялось безвозвратно: Свечин оставался недосыгаем, Лизина любовь росла и пугала, и я заметила, что сама разучилась быть непринужденной в походке и жестах, как бывало, когда корона как влитая держалась на моей голове. Может быть, это от возраста, но, может быть, и от постоянного напряжения, от предчувствий...

Вот о чем я думала, когда минувшей осенью дошло до нас известие о преждевременной кончине государя и можно было подводить собственные итоги...

Тем не менее оставшиеся в живых продолжали совершать предназначенное, а их ведь было большинство, и, когда стало известно, что после некоторого замешательства у нас присягнули новому государю, а именно молодому Николаю Павловичу, страсти забушевали, и румянец вновь покрыл щеки, и вновь захотелось расправить плечи и вскинуть голову, позабыть печали, покрутиться среди людей, послушать живые речи. Мы давно не выбирались из нашего прекрасного захолустья, а там, в Москве, накатывало Рождество, на Тверской, наверное, готовилась иллюминация... Не часто бывает так, что не одно, а множество приятных событий выпадают одновременно: и новое многообещающее царствование, и Рождество, и Лизина свадьба, намеченная на май, и вот эта поездка на рождественские праздники... «А почему в Москву? А давайте-ка в Петербург!..»

Мы выехали поездом в три экипажа. Дорога была хороша. Я помолодела... Стыдно вспомнить... Уже накануне я вся горела, будто двадцать лет назад, будто вновь меня ожидала Москва, и все ее былые соблазны, и Чистые пруды, и что-то там еще, загадочное и прекрас-

ное, и почти недоступное, без чего я не проживу в этом мире, и теперь я наслаждалась, глядя на строгую и насмешливую мою Лизу, на ее женское трепетание и шуточные выговаривания Тимоше за нерасторопность, за не тот жилет, не то жабо, не ту рубашку, не те сапоги и галстуки, не те, не те... Внезапно выяснилось, что мы чего-то не предусмотрели, от чего-то отстали, что-то в нас все-таки несуразное, нелепое, лесное, уже неистребимое. Да полноте, успокойтесь...

В Москве не пожелали задерживаться. Заскользили дальше. Погода благоприятствовала. Даже не заметили, что первопрестольная несколько необычна и не так нарядна, и не так шумна и красочна, как бывало...

На шестые сутки вывалились из саней у мятлевского крыльца, вошли в громадный дом князя Василия Захаровича, камергера и моего двоюродного братца, расположились в предоставленных нам роскошных комнатах, одуревая от предвкушения предстоящих безумств, и наконец собрались все вместе в просторной ротонде, где уже был накрыт стол к ужину. И тут-то мы заметили не слишком предрождественское сияние на лицах близких нам людей, а, напротив, растерянность и озабоченность, которых не могли скрыть ни радушие, ни печальная любезность...

— Ты не расстраивайся, Варварушка, — сказал Василий Захарович, — ведь у нас тут бунт был со стрельбой. Неужто до вас не докатилось?

И тут мы все узнали: и о декабрьском происшествии у Сената, и о крови, и об арестах, и о молодом государе, проявившем чудеса храбрости и хладнокровия, и что теперь весь Зимний и гауптвахта и крепость забиты бунтовщиками.

— И большинство из прекрасных фамилий! — с ужасом сказала княгиня.

— Чего же они хотели? — спросила я непослушными губами, будто не знала, чего они хотели. На Тимошу страшно было смотреть. Одна Лиза делала вид, что слишком занята с десятилетним Сережей Мятлевым, красивым худеньким мальчиком в белом пышном кружевном воротничке. Она машинально отвечала на его бесчисленные вопросы, иногда невпопад, и тогда он сердился: «Да что вы все чушь какую-то мне говорите!»

— Serge, — сказала княгиня, — оставь Лизочку в покое, у нее голова болит...

Мальчик пребольно ущипнул Лизу за руку и сказал, отходя прочь:

— Противная старуха!

Наши рождественские радости померкли перед этим страшным событием. Мы заторопились, и не прошло и трех горестных дней, как наш поезд потащился в обратном направлении. Хотелось надеяться, что столичный яд не распространится до калужских лесов, где мы опомнимся и воспрянем духом. Но отравка была сильна, и вот минуло три месяца, а действие ее не проходило. Внешне, казалось, все протекает как должно, но все протекало под действием этого яда, и исцеления от него не предвиделось.

— Сдается мне, — сказала я Тимоше, — что твои бывшие друзья рискуют не только репутацией.

— Разве бывшие?.. — спросил он в меланхолии. — Когда заходишь далеко, трудно остановиться... и вообще... когда заходят слишком далеко, это уже не риск... Они ведь меня не спрашивали... — И вдруг спросил, бледнея: — Вы меня одобряете?

— Одобряю, Тимоша. Это не для тебя, — сказала я, теряя присутствие духа. — Я ведь тревожусь не только о Лизе.

Он засмеялся.

И так, посмеиваясь и сомневаясь, отчаиваясь и надеясь, мы продолжали класть свои хрупкие кирпичи, не задумываясь, ровно машины. Мы поступали как все, и стены росли, и только, наверное, я одна в нашем бескрайнем муравейнике не могла взять в толк: что это, для чего, кому нужно, почему именно так и для чего я сама, если и без меня все это будет расти, и подниматься, и обрушиваться время от времени, и вновь подниматься еще выше?

Я могла бы выкрикнуть это в распахнутые окна, собравшись с духом, откровенно и непререкаемо, но ни Тимоша, ни Лиза не одобрили бы моего трагического пафоса, а уж об ос-

тальных и говорить нечего. Глупо все это. Ни из окон, ни с крыши, ни даже с медынской пожарной каланчи, ни даже с кремлевской башни ни до кого не докричишься... А уж раскинувшись на мягком сиденье старой нашей коляски — и подавно: голос глух, пространства огромны, да и хочет ли хоть кто-нибудь, чтобы я выкрикивала свои пошлости, нарушая их покой, в этом раннем апрельском поле, едва избавившемся от снега, в моем поле, окруженном моим лесом, к которому, петляя, направляется моя дорога...

Все мое кругом. Даже старый Игнат, сидящий на облучке, изогнутый в крючок неведомой хворью, бывший красавец и палач. Что же он-то успел за свою жизнь? Какие карнавалы запомнились? Я его женила на красивой девке, он не смел ослушаться, даже благодарил, подлец, а вскоре, видимо, уморил ее. По всему было видно, что он. Но ни полицейский исправник, ни домашние, ни свои, ни чужие ничего доказать не смогли. И поджигателей моих в пруд макал, и с французских покойников добро срывал, и гнева моего боялся пуще смерти, ну еще что-то... Вот и все карнавалы...

Коляска мягко бежала по влажному песку. Я велела остановиться и ждать меня. Дорога уходила влево вдоль леса, и я пошла по ней, не зная куда и зачем. Почему-то торопилась. Конечно, моя маленькая тоска и мои скромные домашние предчувствия — не то, что тоска и прозрения государя, но для меня и этого достаточно. Много ли мне надо, чтобы спешить, задыхаться и с ужасом вглядываться в изгибы дороги, в далекое, ослепительно белое пятно на черном поле, приближающееся ко мне? Я уже все поняла и не сводила глаз с этого пятна. Кровь в ушах глухо застучала. Лошадь всхрапывала где-то за деревьями. Доморощенный палач дремал на облучке. Я шла навстречу человеку в белом все медленнее, медленнее. Он передвигался с трудом, высоко подымая деревянную ногу, седые космы развевались на апрельском ветерке, седая борода, седые отвислые усы, белая рубаха ниже колен, круглое, в морщинах лицо... Он приблизился и опустил на колени аккуратно, плавно, сосредоточенно, будто навсегда...

— Встань, старик, — сказала Варвара расслабленно, — косточки застудишь.

Старик поднялся. Черный крестик покачивался на впалой груди. С близкого расстояния рубаха и космы не казались ослепительно белыми. Все отливало желтизной, ветхостью, разрушением...

— Отвоевался? — спросила Варвара. — Зачем пугал меня? Приходил зачем?

— Повиниться хотел, матушка-барыня, да как ни приду, рассказывают, занедужили, мол, барыня...

— Ну вот встретились, — Варвара глядела строго, — чего же ты хотел?

— Повиниться хотел, — сказал старик.

— Одного не пойму, — нахмурилась Варвара, — за что ты меня сжечь собирался? Я тебя поила, кормила, пальцем не трогала...

Ветерок усиливался. Варвару знобило. Гнева не было. Ни гнева, ни жалости. Одна нескончаемая тревога, дурные предчувствия. Неужели, подумала она, вот так теперь до скончания века терпеть эту тревогу? Так боялась, так мучилась, думала она, а столкнулась нос к носу, и ничего — ни злобы, ни боли...

— Прости, матушка, — сказал старик, — мы ваши милости помним.

И непонятно было: не то рыдал, не то насмехался.

— Значит, жив остался? — спросила она, тяжело дыша.

— Бог спас.

— А Дрыкин где?

— А кто ж его знает, — сказал старик. — Кого ведь на войне и побил... Прости, матушка...

Она зажала в кулаке серебряный рубль.

Вот так все и свершилось, просто и омерзительно, потому что от старого поджигателя долетал тошнотворный запах разложения. А вы, милостивый государь, кричали о равенстве, подумала она неведомо о ком, а кроме страдания да отчаяния чему научили?.. И снова поду-

мала, глядя на старика: а этому-то какие карнавалы запомнились? Кроме того карнавала — никаких. Когда ждал, когда я выбегу из горящего дома, думала она, как буду в ногах у него ползать, молить о пощаде и он волен будет отпустить меня или казнить, думала она, и толпа, шумевшая вокруг, разогревала его еще сильнее, чем пламя губинского дома, и он задышался от гордости и страха, думала она. Но гнева не было...

— Бог простит, — сказала она и дала ему серебряный рубль.

Он рубль взял, потянулся губами к ее руке, но она брезгливо отпрянула.

— Прости, кормилица...

— Ступай, — велела нетерпеливо.

Гнева не было. Какой уж тут гнев? Варвару сотрясало, пока она всматривалась в спину уходящего солдата — Бонапартова соперника, спасшего и ее, и Лизу, и эти леса в обмен на деревянную ногу и серебряный рубль из Варвариной холодной ладони.

Озноб усиливался. Коляска катила слишком медленно. В довершение ко всему посыпал мелкий, невесенний дождь. Все мое, подумала, усмехаясь, а сколько людей у меня — позабыла сосчитать.

И вот приехала, и тут неожиданно, как всегда, с неба свалился полковник Пряхин.

Он успел постареть, хотя, если не очень приглядываться, все как будто оставалось прежним: выцветшие северные глаза, яркие губы, лукавый баритон, и для всех припасены приятности. Легкий, ловкий, роковой. Он ужинал с нами, как в прежние времена, и петербургские слухи будто обретали плоть, но они-то с Тимошей пикировались через стол, как в прежние времена, все больше сравнивая выгоды воинской службы с вольным помещичьим житьем, и в это шутовское сражение мы все старались окунуться с головой, чтобы, не дай бог, не заговорить о разрушающих последствиях петербургских событий... Даже Тимоша, вот уже три месяца ходивший с отравой в крови, попытался сверкать глазами, заулыбался, воспрянул, даже извлек лист бумаги и набросал столбец цифр в доказательство собственной правоты, даже подмигнул Пряхину... и погас.

— Уныние и трепет, — сказала я, — петербургская болезнь.

— Это почему же? — поморщился Пряхин. — Из-за этих дел? Бог ты мой, и напрасно... Теперь, слава богу, все улеглось как-то, все развивается нормально... первоначальное ожесточение перегорело, поверьте... Вы можете представить себя на месте государя?.. Представьте только, как это все выглядело для него... ну, это нам кажется: особые мнения, благородные помыслы, ну, бунтишка, несогласие, шалость, заблуждения... но вы представьте... я бы, например, от страха и ужаса, когда все качнулось, просто велел бы всех заковать и картечью, картечью... Бог ты мой, вы понимаете, как это все свалилось на голову? Тут вообще можно было рехнуться... А нынче спокойное расследование... Да ведь заговор же, бог ты мой!..

— А казематы? — сказала Лиза.

— Ах, Лизочка, какая прелесть! — засмеялся Пряхин. — Можно подумать, что разговор идет о прогулке на яхте, и вдруг казематы.

— Вот именно, — подтвердил Тимоша несколько рассеянно и глянул на Пряхина: — Ты хотел мне что-то сказать...

— Успеется, успеется, — отмахнулся Пряхин.

— Конечно, я понимаю, — сказала Варвара, — разве вы могли бы нынче обойтись без всех ваших ослепительных побрякушек, ленточек, аксельбантов и султанов? Теперь вы в этом так погрязли, что и не остановить... вы бы у меня в поместье теперь заснули бы...

— Вам наша жизнь кажется скучной, — сказала Лиза, — а у нас простор для размышлений, может быть, заскорузвый, но натуральный...

— Они там что, все закованы? — спросил Тимоша словно у самого себя.

— Бог мой, да отчего же? — заторопился Пряхин. — Отчего же все? Да почти никто... Ох, как вы все на меня навалились, — засмеялся он, — помещичье житье, благословенный покой... Да я ли не мечтаю об этом? Я ли не рвусь туда, к своим пенатам?..

— Вот и выходит, что честовлюбие вас закружило, — сказала Лиза невесело. — А что вас к нам привело?

— А вы мне совсем и не рады? — тихо спросил Пряхин.

— Да рады, рады, — сказал Тимоша в нетерпении, — что же это?.. Но видишь, приходится вот все это обсуждать, потому что там не чужие же люди... и вдруг такое...

— Разве вдруг? — еще тише спросил Пряхин. — Как же это вдруг?

— Ну, в том смысле, — сказала Лиза, — что можно было, наверное, взять с них честное слово, например, иви как-нибудь еще...

Нынче я обо всем этом пишу легко, ибо все завершилось благополучно, хотя некоторая дрожь все же охватывает меня, стоит лишь вспомнить эти злополучные полгода, продержавшие нас в отвратительном страхе, неведении, рождавшие дурные мысли о достойных людях... Но тогда я сделала Пряхину знак одними глазами, чтобы он не слишком напирал на эту тему, потому что Тимоша был бледен, оставил перо и глядел в сторону, а Лиза распалась и тонкими своими губами произносила ранящие слова...

Тут Пряхин рассмеялся и сказал:

— Я почему-то сейчас вспомнил тот лес, помните? Это ведь было давно, а кажется, вчера, когда мы выскочили оттуда и я увидел вас. Бог ты мой, подумал я тогда, ну до чего же хороша атаманша! — И добавил с грустью: — Как быстро время бежит, безжалостно как-то, ведь правда? Это для меня самая печальная загадка...

— Иви можно было бы их из повков увовить, — упрямо произнесла Лиза. — Зачем же сразу в каземат?

— Ах, Лизочка, Лизочка, — улыбался Пряхин, — ну совсем дитя... Да и потом, бог мой, надо же уметь и ответ держать...

— И как же все они держат? — спросил Тимоша без интереса.

— Нужно уметь и отвечать за свои действия, — повторил Пряхин, — ежели ты мужчина...

— Какие вукавые обстоятельства... — сказала Лиза.

Тут Тимоша сказал строго:

— Ты о чем-то хотел со мной...

— Даже не обстоятельства, Лизочка, а несчастье, — простонал Пряхин, — настоящее несчастье... — И повернулся к Тимоше: — Успеется, Тимоша, успеется...

Вдруг, подумала я, Пряхин сейчас встанет и скажет: «Господин Игнатъев, я прибыл из Петербурга с официальной целью — арестовать вас по подозрению в соучастии...» Что же будет, подумала я. Как мы все будем себя вести? Как он будет смотреть нам в глаза? Впрочем, отчего ж и не смотреть, если с официальной целью, подумала я. И мне показалось, что эти зловещие слова уже сгрудились на его таких юных губах и вот-вот должны слететь...

— А как там следствие, — спросила я лениво, — продолжается?

— Бог ты мой, — сказал Пряхин, морщась, — да уж все завершилось, бабки подбиты... Все, все... так, мелочь какая-то.

Я вздохнула с облегчением, что не укрылось от его настороженного взгляда. Он поставил чашку на блюдец, тряхнул головой, сказал:

— Надеюсь, дамы нас простят. Мы выйдем, Тимоша, по мужскому делу? Буквально на одну минуточку...

И они направились к двери рядышком. Пряхин на вершок сзади. Один высокий, сутулящийся, как сейчас вижу, а другой, напротив, прямой, невысокий, выточенный из чего-то там иного. Вот польза военной службы, подумала я тогда, службы и твердых намерений.

Вскоре они и воротились.

Тимоша высоко держал голову и глядел на Лизу с улыбкой.

— Полковник Пряхин меня арестовал, — сказал он с порога. — Зачем же мы болтали обо всем?

— Не мели вздора, — прогудел Пряхин с укоризной. — Мне велено от высочайшего Комитета доставить Тимошу в Петербург, и, бог ты мой, какой же арест? Меня даже предупредили, что несколько пустяковых вопросов... Сначала я их почти склонил, что привезу письменные ответы... Они были согласны... я уж было собрался... и этот, закорючка эта... я им сказал: неловко, мол, отрывать человека от дома, тащиться тут полтыщи верст, но граф, этот педант... вези, да и все...

— Пряхин, — сказала я, — что же вы сразу-то не сказали?

— Не смог, — выдохнул он, — почему-то такая мысль была, что что-то изменится... как-то неправдоподобно... и потом, почему? Бог ты мой, да мы когда-то вместе, можно сказать, в юности... это черт его знает когда... пустая болтовня... Я говорю: я Игнатьева знаю с лучшей стороны... А вот именно вы и доставьте, полковник Пряхин... Хоть стреляйся!

— Ну можете вы хоть правду сказать? — крикнула Лиза. — Что, так и было?..

— Святой крест, Лизочка, бог ты мой, — сказал Пряхин. — Вы ни о чем не беспокойтесь. Я рядом буду... — И он своим сильным кулаком ударил по столу.

Какие страшные были дни. Как я была не ко времени прозорлива! Фельдъегерская тройка отпрянула от крыльца с оскорбительной стремительностью. Когда бы все теперь не кончилось благополучно, разве я смогла бы написать обо всем этом? Мы потеряли его, потеряли, думала я, он не вернется. На следующее утро проводила Лизу. Она поскакала следом за ними с письмом к господину Свечину. Я собственной рукой написала слезные слова в печальной надежде, что, если эти слезные слова дойдут до сердца этого, ныне высоко парящего человека, он просто по врожденному благородству, а отнюдь не под воздействием воспоминаний двадцатилетней давности замолвит слово перед кем-нибудь где-нибудь там у них и что-то такое произойдет, без чего мы не сможем жить дальше.

Милостивый государь Александр Андреевич,

самые крайние обстоятельства вынудили меня написать Вам это письмо и рискнуть отправить Лизу на перекладных, чтобы она вручила Вам этот крик о помощи двух одиноких женщин. Я никогда не рискнула бы обременять Вас просьбою о заступничестве за жизнь и честь жениха Вашей дочери, когда бы не знали его с отроческих лет и не отзывались бы о его патриотическом поступке с лестной для него похвалой. Теперь в этих ужасных, известных Вам обстоятельствах, которые мы все переживаем, промелькнуло его имя. Это все могло случиться либо по чьему-либо навету, либо по простому недоразумению, ибо мне с малых лет известна жизнь этого человека и, кроме обожания нашего государя, я никаких иных чувств в его душе не знаю. Не сомневаюсь, что Ваше слово смогло бы существенно повлиять на решение его участи. Не осмеливаюсь долее обременять Вас, ибо Лиза, хоть и в отчаянии, все-таки сумеет дополнить мое торопливое послание достойно и вразумительно.

В надежде на Ваше великодушие

Варвара Волкова.

Я едва успела дописать письмо, так она торопилась. Нисколько не уповая на свои жалкие, слезные слова и даже на милосердие Петербурга, я стала готовиться к самому худшему. Я знала, на что способны люди, когда они облечены высшими правами, как холодны и мстительны бывают они, опасаясь за собственное благополучие да к тому же испытав приступы смертельного страха. О, эти высшие права в руках тех, под чьими ногами покачнулся пол, пусть хоть на одно мгновение!

На десятый день Лиза воротилась, осунувшаяся и не склонная к остро словию. Отец встретил ее с внезапной радостью. И он и госпожа Свечина опекали ее и воодушевляли, как могли. Тимоша был помещен в крепость. Свидеться с ним не удалось, но Александр Андреевич оказался кладом при его положении и связях. Уже на второй день он успокоил Лизу, сказав,

что, как он выяснил, дела Игнатьева, собственно, никакого и нет и что скоро мы сможем обнять его. «Это не моя заслуга, — сказал он, — мне не пришлось и пальцем пошевелить в его защиту, — и внезапно, как он умел, улыбнулся, — мне было бы лестно считать себя спасителем твоего жениха, да и вообще сделать для тебя хоть что-нибудь. Но чего не было, того не было».

Мы проплакали с Лизой весь день. Нет, нет, слез не лили, обильных и бесполезных. Они накатывались, зрели, давили изнутри, веки порозовели, ресницы были влажны, слова произносились затрудненно, как и подобает в минуту спасения от уже неминуемой катастрофы.

Конечно, думала я, моя дочь так связана отныне с Тимошей, что можно было бы ждать беды, не окажись его фортуна более удачливой. Но, думала я, разве все на том и кончилось? Разве это была та самая минута высшего очищения, та самая последняя ступень, перешагнув которую попадаешь в царство вечного блаженства? Да и есть ли такие минуты, возможны ли они, думала я, здесь, в этой земной жизни? Не следует ли подготовиться к чему-то такому, что исподволь дожидается нас впереди, думала я, и от чего бесполезно зарекаться? Разве мы все прошли?..

Я думала обо всем этом, вглядывалась в худенькое и решительное лицо моей взрослой и затаившейся дочери и могла с уверенностью предположить, что теперь она как раз и изготовилась к любым неожиданностям и эта полугодичная житейская школа со столь страшным финалом закалила ее и возвысила. Как будет ей трудно, думала я, когда ей вернут ее сокровище, это трепещущее существо, подвергшееся унижению, даже в счастливые минуты не избавленное от опочининской тоски в глазах, и ей, думала я, придется собрать весь наш здравый смысл, накопленный за многие столетия, чтобы суметь противостоять этой тоске, кстати, тоже ведь не вздорной и не случайной.

Лишь к вечеру, немного успокоившись, Лиза спохватилась и вручила мне конверт от господина Свечина, который я долго и тщательно вскрывала, ощутив, к удивлению своему, давно позабытый трепет.

Любезный друг Варвара,

письмо Ваше было столь внезапно и столь беззащитно, что я не смог воспринять его просто как просьбу о помощи и очень разволновался. Тут, натурально, все одно к одному: и Ваше письмо, и приезд Лизочки, хотя и вызванный такими нерадостными обстоятельствами, но тем не менее она, конечно, предстала передо мной, такая взрослая и умница, и, как заметила Полина Борисовна, вся в меня.

Вы не беспокойтесь о судьбе Тимофея Михайловича. Для него все сложилось более чем благоприятно. Он держался с достоинством. Его искренность и откровенный монолог вызвали даже сочувствие у строгих членов Комитета. Полагаю, что через неделю, по завершении формальностей, вы сможете обнять его. Мне даже не пришлось приложить усилий, и единственное, что я успел совершить, — это нашептать генералам Левашову и Бенкендорфу, как этот почти еще мальчик непререкаемо и твердо отправился из горячей Москвы спасать отечество. Генерал Бенкендорф, мне лично не симпатичный, но в последние месяцы играющий не последние роли, при этом вспомнил свои собственные юношеские фантазии и даже заблуждения, да и вид Тимофея говорил сам за себя — вид человека, преисполненного веры в собственную невинность. Поэтому я и не сомневаюсь несколько в благоприятном исходе его дела, хотя общеизвестно, как накалены страсти, и, несмотря на великодушие государя и все его попытки быть максимально снисходительным, события таковы, что, как ни поворачивай, пред глазами членов Комитета проходит вереница несчастных людей, вообразивших себя способными изменить ход истории...

Те, кому они так страстно подражали, снесли свою Бастилию в тот момент, когда страсти нации перегорели и крепость стала им не нужна. Мы же свою не трогали и не тронем еще долго, и вовсе не из лени, а просто, видимо, из потребности в ее

хладном граните, способном время от времени остужать не в меру горячие головы, мечтающие о разрушении...

*Разрушить легко, но как **быть** потом? Все знают, как разрушить, как пустить кровь, как вздернуть, как захватить, как покорить... Но как сделать меня счастливым, не знает никто.*

Наказание им предполагается весьма суровое, может, даже слишком, нежели могло быть, однако умысел на цареубийство и кровавая мешанина, хладнокровно сочиненная ими, не оставляют никаких радужных надежд...

Я говорю, что Ваше письмо столь взволновало меня, что в памяти моей невольно восстановился наш странный, нервный и кратковременный союз, и минутная горечь прошедших дней заставила меня уже в который раз отмотать ниточку (Ваше выражение) до самого начала и вновь убедиться, что Бог, диктующий нам наши поступки, всегда справедлив и великодушен. Видимо, Ваша фантазия, с помощью которой Вы меня нарисовали, оказалась значительно талантливее своего рисунка, а Ваш рационализм и того более испугал меня, хотя я теперь понимаю, что все это лишь бледное отражение нашей жизни, вечного поединка неумемной фантазии с хладным гранитом...

Ваш портрет мне все же удалось извлечь из московских руин, и он украшает мой кабинет и, надеюсь, переживет меня.

Скажите Лизе от себя, хотя я старался внушать это ей ежедневно, что она может, должна видеть во мне своего друга, пусть не очень счастливого, что естественно, но любящего и не до конца сокрушенного предрассудками времени.

С самыми добрыми чувствами всегда к Вашим услугам

А. Свечин.

Как безжалостно он писал о поединке фантазии и гранита, будто не было на свете уже ничего, кроме этого побоища, под которым мы никли! А как же, думала я, предстоящий май и связанные с ним наши маленькие счастливые паузы?

Но предстоящий май ничего не переменял в нашей судьбе, и мы оставались в неведении до самой середины июня, терзаемые новыми страхами, ибо утешительные слова господина Свечина соседствовали со зловещими предвидениями. Однако Провидение и на сей раз было милостивым, и из пропыленной брочки сошел Тимофей, и Лиза, оказавшаяся у входа, бросилась ему на шею... Стояла такая странная полдневная тишина. Я высунулась из окна второго этажа. Они стояли совсем подо мною, но не было слышно ни звука. Я крикнула им. Они подняли головы. Тимоша улыбался, был прям и даже, кажется, шире в плечах, и Лиза казалась рядом с ним совсем девочкой. Я заторопилась к ним навстречу.

Не могу сейчас описать всех ощущений, хотя тому каких-нибудь три дня. Туман застилает память... Впрочем, запомнился теплый, еще апрельский сюртук на Тимоше... гладко выбритое, землистого цвета улыбающееся лицо... и странный, неведомый запах, стремительно распространявшийся по лестнице... Чем ближе мы сходились, тем он становился сильнее, он проник в комнаты, в гардеробную, и, когда мы позже сидели за столом, его источали хлеб и молоко; вязкий, неотвратимый, пропитанный отчаянием запах сырого каземата, запах распада и гибели и человеческого унижения, наспех сдобренный стыдливым французским одеколоном.

Не дай вам бог вдохнуть его хотя бы однажды...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С.-Петербург, августа 14, 1926

Любезный Игнатъев!

Надеюсь, ты добрался благополучно и нашел своих в добром здравии.

Теперь, когда все позади, признаюсь тебе, что за эти несчастные полгода мне пришлось пережить, пожалуй, поболее, нежели за все предшествующие годы. Ты спросишь, почему? А вот почему. Какие бы у нас у всех ни были различные мнения о некоторых предметах, ну ты сам знаешь, что я имею в виду, но и ты, и наши давние друзья-приятели для меня не просто случайные встречные, а нечто побольше: много было говорено, попито, пережито, связано даже противуречиями. Ну что ж, хоть Провидению не удалось нас примирить во взглядах (ты это понимаешь), но по душе, по взаимной симпатии мы остались прежними, и вот мне с моим сердечным отношением выпало на долю в один прекрасный день вестъ свой батальон, чтобы пресечь их напрасные попытки! Застольные споры давно закончились, а вместо них вступили в дело власть, закон, сила. Я честно и благородно всегда отстаивал свои убеждения, и это не то что я с ними заигрывал и лицемерил, а пришла пора — и пошел противу них, и они не могут обвинить меня в лукавстве. И это я тебе говорю потому, что ты и сам утешал меня тогда, по дороге в Петербург, сказав, что ни у кого не может подняться на меня рука и ты меня понимаешь, потому что лучше все как оно есть, нежели братоубийство и дурной пример для наших людей. Бог свидетель, я не хотел им зла, они сами упрямо выбирали по своему вкусу, но в том, что именно мне суждено было им противодействовать, я вижу трагическую и несправедливую насмешку судьбы!

Ты сказал, что простил меня. Я тебе верю. Если бы я усомнился в твоих словах, я не стал бы тебе писать. А теперь мы остались вдвоем.

Надеюсь, ты отошел немного и сумел все осмыслить и уже не похож на того удрученного арестанта, каким выглядел по дороге в Петербург и затем, входя в ордонанс-гауз, так что сердце у меня переворачивалось, а сделать я для твоего облегчения ничего не мог. Скажу тебе по совести, выглядел ты, брат, неважнецки и на меня глядел с осуждением, хотя вскоре убедился все-таки в моей незлонамеренности. А когда я провожал тебя обратно из Петербурга после неопасной твоей, недолгой отсидки, ты был уже совсем другой, и помнишь, как мы обнялись? Я помню: по-братски, по-гвардейски.

После твоего отъезда во мне вдруг все переменилось. Захотелось, любезный друг, на волю, к черту, к пенатам. И раньше влекло, но как-то ненатурально, несерьезно, а тут дрогнул и будто прозрел. Да что ж это такое, подумал я, сколько же можно тянуть эту пышную ляжку? И теперь кровь из носу, я вырву отставку зубами и укачу к своим деткам на вольные просторы.

Я рад за тебя. Как хорошо, что ты на воле. Бог не допустил несправедливости. Забудь этот дурной кратковременный сон. Как выйду в отставку, сразу прикачу к тебе и не должен буду никуда торопиться, и уж тогда всласть наговоримся, повспоминаем и помянем... Скажи Варваре Степановне, что я влюблен в нее с той поры, как встретились в лесу, а уж Лизочка твоя — просто ангел. Трижды обнимаю тебя твой

Пряхин

С.-Петербург, октября 21, 1826 года

Разлюбезнейший Тимоша!

Ответа от тебя пока не получил, но терпеливо жду, будучи знаком с капризами нашей почты. Полагаю, что вы с Лизой осуществили свои сладчайшие намерения. И то дело. Бери пример с меня: жду шестого наследника, а первые пятеро живы-здоровы и полны бодрости. Пусть они живут в довольстве, не зная моего полунищего детства и отрочества. Мне бы, конечно, дождаться твоего письма, но я не утерпел, потому что однажды, перебирая свои давнишние бумажки, нашел несколько, имеющих к тебе отношение. Конечно, это не изящная литература, бог не дал, но все же живые дневники твоего старого друга Пряхина, в которых он бесхитростно запечатлел несколько дней из славного нашего совместного прошлого. Читай, смейся и грусти.

Теперь уж все в былом и как бы его и не было вовсе, а все же, что там ни говори, оно наша жизнь, не выкинешь. Натурально, я читал все это и досадовал, что недостало терпения записывать все подробнее и на протяжении всей кампании, да что ж теперь кулаками-то махать? Я сам перечитывал эти заметки, смеялся и плакал, ей-богу, и все время ты стоял предо мною: то тот самый, из тех времен, совсем еще мальчик, насмешливый и порывистый, готовый даже на сумасбродство, ежели оно показалось тебе благородством; то этот, нынешний, взрослый муж, познавший даже каземат и многое другое, а главное, понявший, что в государстве надо жить, исполняя его законы, а иначе случится анархия и черт знает что...

Ты помнишь, как мы с тобой обнялись? Трижды, по-братски, по-гвардейски, ведь теперь нас осталось двое.

Нынче дела мои с отставкой движутся постепенно в нужном для меня направлении. Слава богу! Скорее бы! Зачем мне это все? Все эти погоны, воротники с обшлагами, аксельбант и прочее? Я же видел, как срывали погоны на июльском плацу и шпаги ломали над головами... Вот и выходит, грош цена всему этому. Конечно, я многого лишусь, и прежде всего полковничье жалованье, да но ведь и трат пропасть, ибо, покуда своих кровных не вложишь, в гвардии не проживешь... А мне ли тягаться с Бобринскими да Зубовыми? У себя в деревне я и сам что твой князь, да и люди мои меня любят; да и Петербург опостылел после всех известных тебе дел.

Ну ладно, брат, читай и смейся, да не насмехайся надо мной: от чистого сердца посылаю, писал как умел.

...Раштат, 1 января, 1914

Боже, благослови начало нового года, осчастливь мир Твой миром, возврати нас со славою в объятия к родителям и сыновьям нашим...

Об том я молился, проснувшись.

Вчера около двенадцати часов ночи, только я уснул, как Демьянов прислал звать проводить вместе улетающий год и встретить вместе же наступивший с бутылкой шампанского... Однако сон уже подкрадывался столь сладок, что я пренебрег. Сегодня утром по заведенному обычаю был с поздравлениями у Кикина, у того же Демьянова, у графа Сиверса, у Акличеева. Оттуда все в церковь, где выслушали обедню и молебен, обер-священник проговорил проповедь, а когда вышли, я в одном мундирчике порядочно продрог — морозец изрядный, да и ветер прескверный.

Обедали в здешней картинной галерее. Слухи: действительный камергер Жеребцов везет государю ключи от Данцига. Натурально, все пили и за это, ибо гарнизон Данцига во главе с Раппом сдался и все там забрано.

Мороз держит. Переправы через Рейн нет. Мы обедали, обедали, и обед постепенно перешел в ужин — вот и вся наша жизнь. Тимоша Игнатьев пьет мало, и, может быть, потому вокруг него все вертится, а может, его темперамент возбуждает всех, а может, молодость. Во всяком случае, он шалит, шутит, и все смеются, а умолкает — все пьют, и он среди всех как у Христа за пазухой...

И когда начались всякие разговоры о том о сем, чего я так не люблю, ну, всякие там сравнения нашей и французской жизни и всякие революционные прелести, я сказал, мол, чего же тут хорошего и так далее... Тут все на меня напустились, но без злобы, а Акличеев сказал: «Господа, не трожьте Пряхина, у него сын родился». — «Вот именно, — сказал я, — сын родился. Мне его надобно кормить, а на революции у меня надежд нету». И Тимоша, конечно, первый загорелся, но тут, слава богу, Райнхильда его поманила, что ли, и он выскочил из-за стола со взором, годным для атаки... В сердечных увлечениях он пылает, будто в сражении, а вот под Веной, когда поскакали на французские позиции, я глянул на него — лицо у него было вдохновенное, как перед любовным свиданием. Я ему после сказал даже: «Тимоша, нельзя так возбуждаться, в атаку идути. Хладнокровие прежде всего. Поверь старому вояке...»

Раштат, 2 января

Подумать только, еще совсем недавно отступали мы с проклятиями по русской равнине, а нынче так, будто бы между делом, берем вражеские крепости. Не буду хвастать, что это легко. Жертвы сильные, но какое сравнение с прежними временами!

Вечером все-таки завалился к Демьянову пить чай и пунш с ромом и слушать всяческие надоевшие споры меж двумя несогласными партиями. С одной стороны, майор Акличеев, душенька наш, насмешник, но умница и толстяк, полковник Кикин, капитан Зубов и Тимофей Игнатьев и еще разные, а с другой — сам Демьянов, который не столько спорит, сколько сталкивает всех лбами, подполковник Шефлер, полковник Платов... Ну и конечно, у Тимофея в его восемнадцать лет голова забита всяким вздором. Я же молчу и слушаю, потому что акличеевская партия провозглашает истины красивые, но пагубные, а ее противники пекутся о вечном, хоть и не всегда радостном. Разговоры тянутся, покуда чай, как говорится, в самом начале, а уж потом начинается жеребятина.

Пришел домой, писал, по обыкновению, письма батюшке и домашним. Дай бог, чтобы этот год был мне счастлив благополучным возвращением домой и общим всей Европы спокойствием.

Раштат, 3 января

Обедали сегодня и ели пирог у Тишина. Произвели его в именинники так, для смеху, и под это дело не пожалели шампанского.

Вот только что воротился от Тишина снова. Там подзакусили немного, выпили пуншу, и уже ужин не под нужду. Перед сном вдруг вспомнилась та калужская атаманша в лесу у костра... Какие у нее были глаза! Оказалось, соседка Тимофея. Вот наши-то женщины каковы!..

Раштат, 4 января

Тут мы неплохо прижились с пуншем, с шампанским и всяким прочим, но предстоит ведь двигаться и сражаться, вот только мост через Рейн наведут. Тогда споры затихнут, восемнадцатилетняя Райнхильда исчезнет с глаз долой: и толстые ее губки, и кривые зубки, и шепот по углам, и намеки... Она знает, что мы временные,

вот и липнет и оживляет немного наш армейский быт своим нехитрым милым кокетством.

Помнится, как та смеялась, московская француженка, когда я выздоровел и жили мы в саду каком-то среди птиц почему-то... Полное безумие. Луиза Бигар. А была она свидетельницей моего позора, промывала стыдную рану на моем драгунском афедроне, и лицо ее при этом было сосредоточенное и строгое. Теперь я говорю: был ранен злоумышленником в бедро, да какое бедро? Просто в зад вилами... и молодая француженка, созданная для наслаждений, терла мой зад спиртовой тряпочкой! Этого забыть нельзя!.. Если доберемся до Парижа, буду ее искать. Отчего она в ту московскую ночь была так непреклонна! Рана ли ее моя отвратила? Уж будто и впрямь была строга.

Завел о ней разговор с Тимошей, но он отмолчался.

Раштат, 5 генваря

Вчера капитан Зубов угощал всех жареным гусем с капустой по-нашему. Честно говоря, немецкие и бельгийские походные деликатесы порядочно приелись, и Зубов решил нас всех побаловать. Ну, при этом, как водится, началось с водки, а после все перемешалось — шампанское, мозельское, а в довершение пуниш, ром. Глаза у всех горели, а языки были как бы и не свои. Мороз отпустил, пошел снег, и можно наконец восстанавливать переправу, и это всех тоже, конечно, подогревало.

Зубов неожиданно пригласил дам к столу, так что мы несколько разбавились и подтянулись. Была хозяйка дома с дочерью, с Райнхильдой, и хозяйская сестра Ильза. Хозяйке лет под сорок. Она миловидна, но холодна, соломенная вдова и все такое. Ильзе примерно двадцать три — двадцать четыре, с хорошим бюстом, хохотушка и не прочь поддерживать опасную беседу, но, как заметил майор Акличеев, эти хохотушки обычно труднодоступны, как альпийские перевалы, их простота мнимая, а температура — одна видимость. Иное дело Райнхильда: она кокетничает исподтишка, подкалывает незаметно, но глубоко, глазки прячет, а сама иногда стрельнет из-под ресниц наповал.

За время похода я многих перевидал, многие были щедры на многозначительные взоры, и нервные польки, и мягкие немки, да все, и Райнхильда не лучше прочих. Да к тому же когда б я не знал, как искажается наше зрение под воздействием гуся и водки!.. Тимофей Игнатьев сидел как раз напротив нее и будто бы пил, ел, разговаривал будто то с одним, то с другим, да я-то видел, как он смеялся для нее, показывал ровные белые зубы, встряхивал черными кудрями, а когда поднимал бокал, то как выгибал руку, чтобы она видела, как он это для нее делает, а она все видела, плутовка...

А я? Бог ты мой, не успел повладычить в своей пензенской, насладиться как следует, и надо же: оторван от дома уже который год!.. А как я летом просыпался в своей комнате, в раскрытые окна ветки яблонь буквально протискивались со скрипом и ароматом! Лежу, уже слышится возня моих милых Васеньки и Настеньки, и Прохор шуршит под дверью, не решается с кофеем войти, и птицы поют...

Раштат, 6 генваря

Встав очень рано, так что еще совсем было темно, написал домой очередное письмо, затем пил чай. Слухи: будто бы Талейран приехал в Базель для переговоров. Дал коляску мою Брежинскому, который с Шефлером отправился в Баден за жалованьем. К вечеру читал приказ командующего о переводе за Рейн и особенно о баденцах, чтобы они обходились с французами хорошо, а то уже и сейчас тьма жалоб. А нашими весьма довольны и принимают хорошо. Брежинский перед отъездом с товарищами вытянул

по стакану доброго пуншу и в дорогу еще прихватил бутылку моего прекрасного рому. Акличеев, не знаю за что, прислал мне шесть бутылок шампанского. Смотрел моих верховых лошадей. Мальчик засек ногу. Я велел всех перековать к походу.

Раштат, 7 генваря

Масалов — именинник девятого числа, но так как мы девятого переправляемся через Рейн, то и отпраздновали именины эти сегодня. Он дал славный обед, народу была куча, наши, ездившие в Баден, воротились к самому столу, было весело, и даже шалили, забросались хлебом и пробками, и особенно досталось бедному Паренцову.

Первый корпус переходит завтра, а мы послезавтра и идем на Гагенау. Слухи: лорд Веллингтон побил французов шибко, 10 000 в плену.

Вечером опять заглянул к Масалову. Там во всех углах картеж. Выпил чаши две чаю и чашку пуншу, тишком за двери — и вот уже в халате мараю бумагу. Когда-то Бог порадует миром? Уж мы ли не молимся и не просим об этом?

...Сам не знаю, почему стала вспоминаться мне та француженка Луиза. Поболее полутора лет минуло, уж не бивачная ли тоска? Закрываю глаза и ясно вижу: невысокая, в гладкой каштановой прическе, кареглазая, в глазах бес, худосочный хитроумный французский бес, себе на уме. Ситуация была печальная, и мы все тогда, в те поры, были как бы не в себе, а иначе, кто знает, как бы все сложилось...

«Ладно, — сказал я вчера Зубову в разговоре, — доберемся, даст бог, до Парижа, попробуем французских графинь и баронесс». — «Они ждут не дождутся», — засмеялся Акличеев. «Это уж нам решать тогда, — сказал я, — рады будут». — «И ты, Пряхин, сейчас уже об том беспокоишься?» — спросил Брежинский. И тут я вспомнил Луизу, засмеялся и сказал с таинственным видом: «Есть одна знакомая певица, ежели отыщу, никаких баронесс не нужно...» И подмигнул Тимоше. Богач калужский смутился, но промолчал. Я не любитель всяких безумств, и вот, подумал я, не худо бы и впрямь встретить Луизу и пожить мирной парижской жизнью... И этот вздор поселился во мне всерьез, и даже вошло в привычку, засыпая, представлять себе, как мы встречаемся на парижских развалинах и какое у ней при этом лицо. «Ну певица — это другое дело, — сказал Акличеев, — потому что на графинь рассчитывать несерьезно». — «Вот именно, — сказал Сиверс, — не кончилось бы обыкновенными шлюшками...» И тому подобное, обыкновенная жеребятина ближе к ночи...

...Вот уже и стол накрыт, и надо немного закусить на сон грядущий.

Раштат, 8 генваря

Сегодня утром живот у меня так болел и такой был рез, право, и не помню, когда уж так страдал. Выпил вина с мушкатным орехом и самого крепкого чаю чаши четыре без сливок, но все не помогло, и промучился до самого обеда. Однако надо было готовиться к завтрашнему. Мост все еще не навели из-за оттепели и прибавления воды, но первый наш корпус все же переправился на лодках, а кавалерия на паромах.

Слухи: говорили, что государь еще 1 генваря перешел за Рейн, и это славно — прошлого году в этот день государь перешел Неман, а нониче Рейн. Обедали дома, и хозяйки мои лечили меня горькими вареньями, горькими ликерами и запрещали кое-что есть, однако ж я встал из-за стола сытешенек и гораздо здоровее, нежели сел.

Вечером зашли Игнатьев с Шефлером, а попозже Акличеев. Выпили по чашечке пуншику для укрепления желудка, а после беседовали о счастье мирной сельской жизни в кругу милого семейства, молили Бога о благодетельном мире и так незаметно вытянули по второй и по третьей... Тимоша мне все простил, и я замечаю даже некото-

рую неловкость с его стороны, что он меня принудил когда-то с ним драться в такое время.

Конечно, мы по-разному мыслим о многих вещах, и он по темпераменту горячий приверженец акличеевских сумасбродных прожектов, но он сердечен, добр, готов все с себя отдать за друга, и это главное, а то пройдет. Я заметил, что их партию волнуют не судьбы России, а собственная правота, они о себе стараются, а мы — мы хотим, чтобы Россия процветала, как она есть, а не по французским меркам. Когда Бонапарта поставим на колени, то ли еще у нас будет! Вот уж заживем!

Лаутенбург, 9 января

Вот и перешли за Рейн и кочуем уже во Франции! Кто мог вообразить себя при начале войны, чтобы так далеко забрели мы, поражая врагов. Бог ты мой, какое счастье! Вчера еще был Раитат и мы прощались с нашими хозяевами, с Ильзой и Райнхильдой! Слава богу, все чисто кончилось, и никому нет причин сокрушаться... Тимоша Райнхильде ручку клюнул наспех, отворотился и пошел к коню, ни разу не оглянувшись, голову вздернув, как он умеет. В мои двадцать пять, имея семью, уже поздно так вот влюбляться, хотя кто может знать, что меж ними.

Вчера была бурная и кратковременная атака наша на сотню каких-то заблудших обезумевших драгун. Подмяли их лихо и рассеяли, а после недосчитались Дьякова. Мир праху его. Как все быстро происходит! Если посчитать всех павших, получится страшная картина, и уж лучше не считать — руки опускаются. Игнатъев был весь в крови, но, видимо, чтобы перебороть возбуждение, спешил медленно и долго возился со стремями, мы его окружили, но оказалось, что кровь чужая.

Вечером добрались до Саарбурга и буквально свалились в отведенной комнате, холодной и мрачной. И тут же привиделась Луиза. Конечно, я был слишком большой дурак и весьма самонадеян, рассчитывая, что первое же мое слово повергнет госпожу Бигар в беспамятство — и вот уже она моя. Нет, так не бывает. Женщина не может распахнуться навстречу при первом твоём комплименте. Нужно уметь ждать, а атаковать вкрадчиво и несуетливо. А ведь были сигналы с ее стороны, да я их не понимал. Какие сигналы? Да разве существуют слова, чтобы нарисовать их? Случайный жест, движение пальцев, бровей, интонация, быстрый взгляд, кажущаяся холодность, тепло, распространяющееся меж вами, — что оно все? Ни цвета, ни вкуса.

Теперь, вспоминая все эти мелочи, ясно вижу, что не был ей безразличен, и кто знает, что было бы, будь я потерпеливей и помягче... Впрочем, на этом проклятом нонешнем биваке чего не нафантазируешь!

«Она влюбилась в одного московского господина, — небрежно поведал мне Тимоша. — Он нас кормил, дал нам приют, а она в него влюбилась...» — «Представляешь, — сказал я, — мы ее встречаем в Париже? Приятно — почти родственница». — «Еще бы, — рассмеялся он, — такие компрессы, какие она тебе ставила, сблизжают...» — и укрылся почти с головой и погрузился в свое чтение под одну свечу.

Нанси, 14 января

В 1-м часу пополудни явились в большом и прекрасном городе Нанси. Говорят, что он лишь числом жителей уступает Парижу, но расположением и красивыми зданиями не хуже самой столицы.

Утром сегодня был славной русской морозец, а к полудню солнышко разыгралось — Франция! Мы гуляли по городу и дивились его красотам и множеству нищих, и мальчишки-оборванцы кричали, завидя нас: «Vive roi Alexandre!» А Тимоша смеялся и говорил им: «Эх вы, изменники! Кричите: “Vive Napoleon!”»

Слухи: Блюхер был вчера атакован Наполеоном и даже выгнан из Бриена, но, подкрепясь корпусом Сакена, поколотил порядком злодея, занял опять Бриен и отнял несколько пушек с пленными. И мы предполагаем, завтра быть порядочному делу. Помилуй Бог...

Шармон, 25 генваря

Бог мой, до чего же разоренная страна! Ничего нет. Ночлеги холодны, как могилы. То ли дело Германия! А здесь все мерзко и угрюмо. Еле добрались до сего местечка. От холода и в голову не идет, что писать. Здесь наводят переправу через Сену, и, коли Бог поможет, завтра будем на той стороне. Увы, через сколько же рек надо переправиться, чтобы возвратиться в родимые места? Не завидуйте французам: право, ничем не заслуживают ни похвал, ни подражания.

Не вынеся холода, мы отправились искать Шефлера и там нашли всех наших у камина. Эти французские каминьки, черт бы их подрал, нисколько не греют, одна видимость, но, когда все сгрудятся перед пламенем, становится теплее, и мы к ним приникли, тут и еда явилась и водочка, так что настроение как-то поднялось и можно было бы сидеть так вечно, когда бы не снова разговоры о том же: кто лучше да где лучше, и у кого какие преимущества, и снова о российском рабстве! О каком рабстве, дурачье?..

Вернулись к себе хмурые и молча. Допили полбутылки водки и завалились спать, пока тепло не вышло... Перед сном сказал Игнатьеву: «Послушай старого вояку, не мучай коня, куда ты экую торбу с книжками с собой возишь? Я ведь тоже книги люблю, да нонеча война». Он отмахнулся, а может, показалось.

Мери, 29 генваря

Сена-то узка и грязна, так что я ее ни с одной речкой нашей сравнить не решусь. Стоим второй день. У нас пренегодная крестьянская избенка, двери прямо со двора, без сеней, у хозяев ничего нет, и мы обсели камин. Хозяйка преглупая, а хозяин грубиян, насилу заставил его скинуть шляпу...

Замок Пон на Сене, 31 генваря

Вчера было жаркое дело! Авангард с Паленом весь день дрался у Ножана, и уже под вечер успели занять половину до мосту, а 25-й Егерский полк сильно пострадал, и командир онаго, полковник Ветошкин, славной, храброй офицер, убит; жаль, очень жаль — оставил семейство и жену.

И вот мы в замке, где всегда жила Мария Петиция — мать Наполеона, однако никакого великолепия в замке не видно, пуст и заброшен, жителей совсем нету. Уж лучше было бы стоять в простой крестьянской избе у хозяев, где можно хоть что-то сыскать, а здесь ни куска хлеба и ничего. В замке все перебито, переломано, осталось немного фарфоровых тарелок, очень обыкновенных. Видно, что госпожа матушка Бонапартова все с собою поприбрала... Под Ножаном Шефлеру продырявило бок осколком гранаты, и его увезли... Не ропщу, лишь тихо горюю, молю Господа нашего, чтобы меня поберег для Настеньки и Васеньки и для третьего моего Георгия, которому когда-нибудь пещься о славе России.

Тимофей Игнатьев ходит с повязкой на лбу. Он уже давно не улыбался, как некогда Райнхильде. Некому, да и не с чего... Удивительно, как равные обстоятельства всех выравнивают. Я с детства в поле надрывался, каждый кусок хлеба был на счету, Тимоша катался в масле, а нынче все мы одинаковы — грязны, угрюмы, молимся вти-

хомолку о спасении, чтобы дожить до конца и вернуться... Стало известно, что Людовик XVIII обратился с прокламацией к французскому народу, стало быть, Бонапарт в чистой отставке!

Нынче утром проснулся с ощущением радости. Что же такое! Постепенно вспомнил премилый сон, будто бы просыпаюсь у себя в доме и никакой войны. Продолжаю фантазировать... Лежу в мягкой теплой постели, окна распахнуты, и прошлогодняя яблонька заглядывает в комнату. На ней цветы. Стало быть, весна! Нега... Рукою лень до шнурка дотянуться, однако надо. И Прохор вносит горячий кофе со сливками и румяную пышку. Пчела гудит. «Который час?» — спрашиваю. Восемь уже. А впереди целый день. В окно слышу Настенькин голосок. Вот сейчас встану, выйду на веранду и в лобик ее поцелую... Клумбы перед крыльцом зарастают, надо бы велеть пополоть, надо бы псарню проведать... да мало ли дел? Анна Борисовна ждет меня к чаю и краснеет, едва я покажусь. В ее двадцать два выглядит восемнадцатилетней. «Ты что же это краснеешь?» — спрашиваю лукаво. «А я не краснею», — говорит она шепотом, а сама заливается еще пуце и на детей посматривает...

Лучше дома своего ничего нету! Где же оно все? Почему я проснулся в замке Петиции Бонапарт на холодной лавке и чего найдут наши изворотливые денщики на завтрак? Неизвестно, может быть, снова придется закусывать сельдями да яичницей. А уж что завтра, никому знать не дано...

Скорее бы уж Париж. Тогда-то можно смело сказать, что яблонька неспроста мне приснилась. Господь милосердный, приведи нас к миру...

Здесь, Тимоша, у меня большой пропуск, извини. Сам помнишь, не до записочек было. А еще прикладываю пару листков, для меня печальных, но дело прошлое. Надеюсь, что, когда встретимся, все вспомним подробнее...

...Париж, 11 мая

Давно не брался за дневник. Чувствую себя парижанином. Наконец и питаемся нормально, и жизнь прекрасна. Париж — город веселый, но грязный. Все хочется спросить у Акличеева: что же вы собираетесь переменить? Чему учить Россию? У нас иной дворовый почище моется, нежели их свободные граждане... Однако, бог ты мой, не за тем я взялся за писанину, чтобы сводить политические счета.

Странная история произошла третьего дня, странная, чтобы не сказать ужасная. Тимоша неделю назад сообщил мне, что напал на след Луизы Бигар с помощью какого-то француза. Где он его выкопал, не знаю. Одним словом, ниточка потянулась в парижской суете, я неделю ходил сам не свой в ожидании, и спустя несколько дней ко мне заскочил Тимошин человек с сообщением, что барин будет ожидать меня завтра, то есть третьего дня, в конце бульвара Гобеленов у церкви в пять часов пополудни. Являюсь. С трепетом, признаться. Игнатьев уже там, один, со вздернутой головой, по обыкновению, и разглядывает меня с таинственным прищуром.

Ситуация сложилась премилая: она получила записочку Тимоши и тотчас пригласила его свидетелься. Обо мне он умолчал, то есть не то чтобы умолчал, но написал, что будет с одним знакомым ей по Москве человеком, и я, таким образом, выполнял роль сюрприза. Тут, признаться, всякие сомнения закрались мне в душу. «А если она меня не узнает, не вспомнит?» — спросил я осторожно. — Представляешь, в каком я окажусь глупом виде?» Но Игнатьев так был увлечен своим спектаклем, что не придал моим словам значения.

Мы шли вверх по грязной улочке Муфтар, перепрыгивая через лужи, кучи мусора и здоровенных ленивых собак с добрыми голубыми глазами, лежащих прямо под ногами

прохожих. Удивительно, как весь этот бедлам соседствует с пышными витринами лавок! Вот вам и конституция...

Через столь же грязный двор мы прошли к крыльцу и постучались в красивую дубовую дверь. Она распахнулась, и премиленькая юная горничная в чепце повела нас по скрипучей лестнице. У меня от волнения колотилось сердце и язык стал деревянным. Сейчас, думал я, появится Луиза и закричит, и кинется Тимоше на шею, а меня, конечно, не узнает, не вспомнит, и я буду стоять в стороне, досадуя, что рискнул прийти незваным, краснея от позора и сердясь на весь мир. Я тронул Тимошу за руку и спросил: «Послушай, а хорошо ли, что я иду без приглашения? Бог ты мой, а что, как она не вспомнит?» — «Ты сошел с ума, — шепнул он, — разве можно забыть твою рану?..» Тут я совсем растерялся при упоминании этой постыдной раны...

Нас провели в большую темноватую комнату и оставили дожидаться. Луиза появилась внезапно, и была она точно такая же, как в те московские поры, да и платье на ней было, как мне показалось, все то же; будто она с самой Москвы и не переодевалась. Она тоже была растеряна, как и мы, но не закричала, не бросилась Игнатьеву на шею, но просияла и расцеловала его в обе щеки, затем оглядела меня, глаза ее погасли, интерес пропал, и она протянула мне руку... Я еще пуце покраснел оттого, что все так сбылось, а Тимоша подмигнул мне и сказал Луизе: «Вглядитесь, Луиза, взглядитесь-ка в этого человека», — и рассмеялся. Она улыбнулась мне учтиво и сказала: «Я помню вас, вы русский офицер, который был ранен в Москве... Очень приятно вас видеть живым и здоровым...» — «Да это же Пряхин, Пряхин, — захохотал Тимоша. — Ну Пряхин!» Брови у нее взлетели. «Да, Пряхин, конечно», — сказала она растерянно и глянула на Игнатьева. И по всему видно было, что ожидала она кого-то другого... «Верно, я очень изменился с тех пор», — сказал я, стараясь выглядеть браво, но кровь хлынула мне в голову от срама, в котором я очутился.

Игнатьев с жаром тараторил ей, как мы вместе жили в каком-то чертовом саду, да я почти ничего не слышал. Вдруг она рассмеялась и сказала: «Я на минуту подумала, что вы преодолели эти страшные пространства только для того, чтобы встретиться со мной». — «Ну да, ну да, — заторопился Тимоша, — для чего же еще?» — «Вы чем-то расстроены?» — спросила она у меня. «Жаль, — сказал я, — но время мое вышло... Дела». И прищелкнул каблуками, будто ничего и не произошло. Она велела подать вина и сыру, что-то рассказывала, как она бежала по нашему-то снегу, что-то такое, а я раскланялся и даже нашел в себе силы ручку у ней поцеловать...

Вчера целый день был не в себе от этого вздора, будто меня в карты обжулили. А нынче утром проснулся и подумал, что не так уж она и хороша, как показалось на первый взгляд. Слишком худа, вот что...

Вот так-то, любезный друг. Воспоминания бывают и горькими. Как я мучился, а нынче и вспомнить не могу ее. Жива ли?

Хотелось бы письмецо от тебя получить, как ты обо всем этом думаешь. Ведь нас теперь осталось двое. Ты да я. А остальные бог ведает где. Сдается мне, что их ошибка в том, что они всегда о себе думали. Говорили, мол, о России, а на самом деле о себе... Бог ты мой, сколько же кибиток да возков покатило на сибирские просторы! В Петербурге спокойствие и всеобщий столбняк.

Обнимаю тебя, любезный Тимоша.

С поклонами ко всем твоим всегда твой

Пряхин.

С.-Петербург, 5 февраля, 1827

Друг сердечной, Тимоша!

Не может быть, чтобы ты затаил противу меня зло. Ведь ты человек искренний и прямой и не стал бы притворяться, что зла не держишь, ежели бы и впрямь держал. Уж лучше бы сказал тогда на почтовой, и дорожки врозь, чем нонче отмалчиваться. Пишу, пишу, а все попусту. Что же мне подумать? Может, я досадил тебе своей писаниной? Так ведь это ж наше короткое славное прошлое, все так и было. Бог ты мой, разве я когда покривил душою? А теперь, когда нас осталось изо всех двое, надо теснее держаться, а мелкие досады, ежели они и есть, считать за вздор. Может, нам лучше бы встретиться, чтобы объясниться? Так ты напиши, я живо прискачу, и все порешим по чести, по-братски. Теперь мне, отставному, времени не жалко и спрашиваться не у кого.

Позволь по-прежнему обнять тебя, твоей

Пряхин.

С.-Петербург, 16 мая 1827

Милостивый государь Тимофей Михайлович!

Нынче у меня не осталось сомнений в том, что Вы все-таки порвали со мной всяческие отношения всерьез, несмотря на Ваши горячие заверения. Сожалея об том, прошу Вас елико возможно скорее вернуть мне обратно мои сочинения, которыми я поделился с Вами однажды по искреннему расположению.

К сему Пряхин.

Его высокоблагородию
господину полковнику Пряхину
в Санкт-Петербурге на Сергиевской
в доме Пузырева

10 июня 1827

Милостивый государь!

20 июля минувшего года в своем имени Липеньки знакомый Ваш, Тимофей Михайлович Игнатьев, 29-ти лет от роду, навсегда покончил счеты с жизнью.

***Что** на самом деле толкнуло его на столь невероятное и ужасное решение своей судьбы, за **чьи** грехи расплатился он, мы, так любившие его, теперь уже никогда, никогда не узнаем, как никогда не дано нам будет понять, **отчего** волей Провидения эта кровоточащая в наших сердцах рана навеки отныне связана с Вашим (уверена, к сему совершенно непричастным) именем.*

В. Волкова.